

П34

Р 183414

Д.И. ПИСАРЕВ

ИЗВРАННЫЕ  
ФИЛОСОФСКИЕ  
и  
ОБЩЕСТВЕННО-  
ПОЛИТИЧЕСКИЕ  
СТАТЬИ







D. Kupareby

ДИ. ПИСАРЕВ



ИЗБРАННЫЕ  
ФИЛОСОФСКИЕ  
и  
ОБЩЕСТВЕННО-  
ПОЛИТИЧЕСКИЕ  
СТАТЬИ

---

*Под редакцией и с предисловием  
проф. В. С. КРУЖКОВА*

ОГИЗ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1944

## СОДЕРЖАНИЕ

<i>Предисловие проф. В. С. Кружков</i> . . . . .	5
ИДЕАЛИЗМ ПЛАТОНА . . . . .	33
СХОЛАСТИКА XIX ВЕКА . . . . .	58
ПЧЁЛЫ . . . . .	78
РУССКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОД ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ ШЕДО-ФЕРРОТИ . . . . .	102
РУССКИЙ ДОН-КИХОТ . . . . .	110
ОЧЕРКИ ИЗ ИСТОРИИ ТРУДА . . . . .	132
ПРОГРЕСС В МИРЕ ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ . . . . .	249
ПОПУЛЯРИЗАТОРЫ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ДОКТРИН . . . . .	268
ГЕНРИХ ГЕЙНЕ . . . . .	330
* МЫСЛЯЩИЙ ПРОЛЕТАРИАТ . . . . .	386
<i>Примечания</i> . . . . .	435

---

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Дмитрий Иванович Писарев принадлежит к числу выдающихся представителей русской литературной критики и публицистики 60-х годов прошлого столетия, защищавших идеи революционной демократии в борьбе против самодержавно-крепостнического строя и царизма. В истории русской философии Писарев известен также как материалист, страстный пропагандист естественно-научного материализма.

Некоторые буржуазные литературоведы искажали мировоззрение Писарева. Обычно Писарева зачисляли в лагерь так называемых нигилистов, разрушителей эстетики и т. п. Известный идеолог народничества Михайловский, а также некоторые историки русской литературы дореволюционного времени, говоря о политических взглядах Писарева, называли его «кающимся дворянином». Что касается философских воззрений Писарева, то о них или вовсе не писали, или зачисляли его в число представителей вульгарного материализма.

Ошибочно судил о Писареве и такой выдающийся марксистский критик, как Г. В. Плеханов, который пренебрежительно назвал литературно-политическое и философское наследство Писарева «писаревщиной».

Такого рода попытки принизить и умалить значение мировоззрения Писарева не отражают действительного содержания значения того наследства, которое он оставил как литературный критик, публицист, философ-материалист и революционный демократ. При оценке наследства Писарева следует иметь в виду воспоминания Н. К. Крупской, в которых она говорит об отношении Ленина к Писареву. Надежда Константиновна писала: «Меня привлекла резкая критика крепостного уклада Писаревым, его революционная настроенность, богатство мыслей. Всё это было далеко от марксизма, мысли были парадоксальны, часто очень неправильны, но нельзя было читать

его спокойно. Потом в Шуше я рассказала Ильичу свои впечатления от чтения Писарева, а он мне заявил, что сам зачитывался Писаревым, расхваливая смелость его мысли. В шушинском альбоме Владимира Ильича среди карточек любимых им революционных деятелей и писателей была фотография и Писарева\*. В сочинениях В. И. Ленина содержатся высказывания, дающие более ясное и празильное представление о политическом и философском облике Д. И. Писарева.

Писарев дорог русскому народу тем, что он как революционный демократ любил народ, свою родину, был её верным сыном и честным патриотом и во имя любви к родине был непримиримым борцом против самодержавия, крепостничества, реакции. Все мысли и чувства Писарева были устремлены к русскому народу, к России, которую он мечтал видеть могучей, свободной и культурной страной.

---

Жизненный путь Д. И. Писарева был короток. Он родился в 1840 г. и трагически погиб, купаясь на рижском взморье, в 1868 г. Семья Писарева представляла типичную помещиче-дворянскую семью дореформенной, крепостнической России. До 1851 г. будущий публицист воспитывался дома. Родители окружили мальчика комфортом, повседневной заботой, надеясь, что из него выйдет «благовоспитанный юноша». В конце 1851 г. одиннадцатилетний Писарев поступил сразу в третий класс петербургской гимназии и в 1856 г. закончил её с медалью за отличную успеваемость. В этом же году он поступил в Петербургский университет. В студенческие годы Писареву пришлось самому заботиться о своём материальном благополучии и зарабатывать средства на жизнь, так как семья Писарева разорилась и их родовое имение было продано. В это время материальные условия жизни Писарева мало чем отличались от условий жизни Чернышевского, Добролюбова и других разночинцев. В поисках заработка Писарев работает в либеральном женском журнале «Рассвет», заведя там библиографическим отделом.

В мае 1861 г. Писарев окончил университет, в сентябре того же года написал сочинение на тему из истории античной Греции «Аполлоний Тианский». Вскоре он становится постоянным сотрудником и помощником редактора, а фактически руководителем и идейным вдохновителем журнала «Русское слово». Этот журнал был вторым после «Современника» наи-

---

\* Крупская, Своевременные цитаты, «Правда» от 3 октября 1935 г.

более передовым, прогрессивным журналом того времени. Репрессии царизма и свирепость царской цензуры в одинаковой мере распространялись на оба журнала. Любопытна следующая оценка журнала «Русское слово», данная цензором Никитенко. Этот журнал, по его мнению, «разрушает все авторитеты власти, нравственности, верований, науки; да и сами принципы власти, нравственности, верований, науки для него не существуют. Материализм — его главная, единственная доктрина. Из этого само собой уже проистекает такое прекрасное, отрадное явление, как анархия, или лучше сказать, проистекает всевозможная анархия — политическая, нравственная, умственная, эстетическая». Статьи Писарева признавались цензурой вредными «по заключающимся в них социалистическим тенденциям».

1861 год можно считать первым годом плодотворной литературной деятельности Писарева, показавшей, что в его лице русское общество имеет талантливого публициста. В течение года Писаревым были написаны различные статьи на литературно-критические, философские, исторические темы: «Идеализм Платона», «Физиологические эскизы Молешотта», «Процесс жизни» (по К. Фогту), «Меттерних» и др. Но имя Писарева получило широкую известность после опубликования им в 1861 г. статьи «Схоластика XIX века». С этих пор он становится популярным и любимым писателем для широких кругов русской интеллигенции. Весной 1862 г. оба журнала — «Современник» и «Русское слово» — по настоянию царской цензуры были запрещены.

Писарев отказывается работать в других журналах, называя их «дрянью», и ждёт возобновления издания «Современника» или «Русского слова», или «чего-нибудь им подобного». Но дождаться этого ему не пришлось. 2 июля 1862 г. Писарев был арестован царскими властями и заключён в Петропавловскую крепость за революционную по своему содержанию статью «Русское правительство под покровительством Шедо-Ферроти», напечатанную нелегально, но так и не увидевшую свет. Только 18 ноября 1866 г., после четырёх с половиной лет одиночного заключения, молодой публицист-революционер, смело выступавший против самодержавия, был выпущен на свободу.

Писарев не прекращал литературной деятельности и во время своего пребывания в тюрьме. Напротив, именно в этот период он написал много статей и среди них — знаменитую большую статью «Реалисты», «Очерки по истории труда», «Исторические идеи Огюста Конта», «Пушкин и Белинский» и др.

Выйдя из крепости, Писарев стал сотрудничать в сборнике «Луч», в журнале «Дело» и затем в «Отечественных записках», возглавлявшихся в то время великим русским поэтом Некрасовым. Литературная деятельность Писарева в этот период была несколько менее интенсивной. Однако и за это время он написал до десятка больших статей и среди них такие, как «Генрих Гейне», «Взгляды английских мыслителей на умственные потребности современного общества», «Борьба за жизнь», «Образованная толпа», «Старое барство» и др. Накануне своей трагической гибели Писарев начал большую монографию «Дидро и его время» \*, но успел написать только часть задуманного произведения.

---

Литературная деятельность Писарева охватывает период с 1856 по 1868 г. В это время, известное под названием «60-е годы», внимание русского общества было приковано к крестьянскому вопросу. Ликвидация крепостнического строя стала центральным вопросом общественной жизни России того времени. Особенно это стало ясно после поражения царской России в Крымской войне.

Революционные демократы во главе с Чернышевским и Добролюбовым смело выступали против самодержавия и крепостников-помещиков. Они подвергали резкой критике и либералов, у которых разногласия с крепостниками сводились лишь к мере и форме уступок, но не затрагивали основ поместичьей собственности. Революционные разночинцы 60-х годов, возглавляемые Чернышевским и Добролюбовым, поддерживали борьбу крестьян против помещиков и требовали полного уничтожения крепостничества и свержения самодержавия.

Крестьянская реформа 1861 г. привела в восторг либералов, но вызвала негодование со стороны революционных демократов. «Были и тогда уже в России, — писал Ленин, — революционеры, стоявшие на стороне крестьянства и понимавшие всю узость, всё убожество пресловутой «крестьянской реформы», весь её крепостнический характер. Во главе этих, крайне немногочисленных тогда, революционеров стоял Н. Г. Чернышевский» \*\*.

Как и следовало ожидать, в ответ на такого рода реформу, обрекавшую крестьян на голод и кабалу, поднялась волна крестьянского движения. Царизм свирепоправлялся с кре-

\* Впервые была опубликована в сборнике «Звенья» № 6, 1936.

\*\* Ленин, Соч., т. XV, стр. 143.

стянями и с революционерами, поднимавшими их на борьбу. «Многочисленные аресты и драконовские наказания «политических» преступников...» \* — таков был ответ царизма. Литературная критика и публицистика приобрели в это время огромное значение в общественной жизни России, способствовали пропаганде революционных идей и оказывали сильное влияние на русскую интеллигенцию. В этом отношении журналы «Современник» и «Русское слово» играли выдающуюся роль. Ревниво охранявшая устои крепостничества и самодержавия реакционная печать — «Домашняя беседа» Аскоченского, «Русский вестник» Каткова, — а также либеральные журналы, как, например, «Отечественные записки», редактировавшиеся в то время Краевским и Дудышкиным, повели ожесточённую борьбу против революционно-демократического лагеря в лице Чернышевского, Добролюбова, Салтыкова-Щедрина, Некрасова и др. Жестоким нападкам подвергался и Писарев, смело и резко критиковавший царских охранителей и либералов.

До 1861 г. Писарев занимал довольно умеренную политическую позицию. Главное внимание он уделял вопросам эмансипации личности, гуманности, семейно-бытовым проблемам, развивал теорию разумного эгоизма, сетовал на тяжёлое положение женщины в обществе, требовал более мягкого и заботливого отношения к крестьянину и т. п. Но эта умеренность в политических взглядах Писарева быстро уступила место революционным воззрениям. Уже в первой своей крупной работе, «Схоластика XIX века», Писарев открыто защищает политические взгляды Чернышевского и обрупливается на реакционеров и либералов. Он убеждается в непримиримости двух враждебных лагерей, в правоте Чернышевского и других революционных демократов.

Молодой революционер становится на путь смелой борьбы против внутренних врагов своей родины, которую он хотел видеть освобождённой от сковывающих её уз царизма, крепостного строя и мракобесия. Для Писарева стало ясно, что в непримиримой борьбе революционной демократии против самодержавия нельзя быть нейтральным. Писарев тогда уже видел борьбу двух партий — партии реакции и партии прогресса. Он писал в 1862 г.:

«Мы переживаем мудрёное и тяжёлое время. У нас зарождаются противоположные партии, и это зарождение — процесс совершенно естественный, законный и необходимый» \*\*.

\* Ленин, Соч., т. IV, стр. 125.

\*\* Писарев, Дополнительный выпуск, 1913, стр. 219.

В ходе борьбы против самодержавия процесс революционирования взглядов Писарева развивался довольно быстро. Об этом свидетельствуют две статьи, написанные им в 1862 г. и помещаемые в данном сборнике,— «Пчёлы» и «Русское правительство под покровительством Шедо-Ферроти». Читатель легко обнаружит, что первая статья в аллегорической форме рисует тяжёлую, полную труда и лишений жизнь народа («рабочих пчёл»), с одной стороны, и паразитический образ жизни эксплуататоров во главе с династией Романовых (пчёл-трутней во главе с пчелой-царицей) — с другой. «Пчёлы» Писарева проникнуты непримиримой ненавистью к угнетателям и глубокой тревогой за судьбу угнетённых, а в последних строках автор выражает надежду на близость революции. Революционный характер статьи очевиден. Но ещё более революционным было содержание статьи Писарева «Русское правительство под покровительством Шедо-Ферроти», ставившей молодому революционеру длительного тюремного заключения. Страстно призывая русский народ к свержению самодержавия и беспощадно разоблачая «царствующее зло», Писарев заявлял:

«Династия Романовых и петербургская бюрократия должны погибнуть...

То, что мертвое и гнилое, должно само собой свалиться в могилу. Нам остаётся только дать им последний толчок и забросать грязью их смердящие трупы» \*.

Писарев критиковал не только крепостнический строй и царское самодержавие. Не менее резкой критике он подвергал и западноевропейский капитализм. Указывая на недолговечность капитализма, Писарев в «Очерках из истории труда» писал:

«Теперь всеми сделанными открытиями пользуется ничтожное меньшинство. Но только очень близорукие мыслители могут воображать себе, что так будет всегда. Средневековая теократия упала, феодализм упал, абсолютизм упал; упадёт когда-нибудь и тираническое господство капитала» \*\*.

Разоблачая эксплуататорскую сущность капитализма, Писарев был твёрдо убеждён в неизбежности наступления нового общественного строя — социализма. Он был уверен в том, что в будущем возможен новый общественный порядок, при котором будет разрешён «вековой спор между трудом и капиталом», при котором ни один человек не будет иметь никакой возможности «эксплоатировать труд сотни других людей» \*\*\*.

\* Писарев, Избр. соч., т. I, 1934, стр. 326.

\*\* Там же, стр. 479—480.

\*\*\* Писарев, Соч., т. II 1897, стр. 474.

Под благотворным влиянием русских революционных демократов, Герцена и Чернышевского в первую очередь, а также утопических социалистов — Сен-Симона, Шарля Фурье, Роберта Оуэна — внимание Писарева всё больше и больше привлекают вопросы социализма. Наиболее полно он пишет об этом в статьях «Очерки из истории труда», «Мыслящий пролетарий» (посвящена разбору романа Чернышевского «Что делать?») и «Генрих Гейне». Революционного демократа Писарева мучил вопрос о социально-экономическом неравенстве людей. Он не мог примириться с такой системой общества, в условиях которой народные массы живут в нищете, а ничтожная кучка паразитов наслаждается роскошью и богатством. Главное зло он видел в присвоении чужого труда, в господстве капитала над человеческим трудом, в пропасти, отделяющей труд физический от труда умственного. Не имея возможности открыто высказывать своё негодование по поводу условий жизни в России, Писарев говорит об этом иносказательно, обращаясь к примерам из жизни Западной Европы.

До последнего времени часть литературоведов утверждала, что Писарев был сторонником революции и утопического социализма только до тюремного заключения, в годы же пребывания в крепости и по выходе оттуда он в своих политических воззрениях пошёл якобы вправо. Писарева обвиняли в том, что он изменил своим революционным взглядам, стал на позиции реформизма и превратился в сторонника «культурного капитализма». Такая точка зрения не соответствует действительности. Конечно, политические взгляды Писарева после его заключения в крепость, т. е. примерно с 1863 г., претерпели некоторые изменения. Но изменения эти больше относятся к вопросам тактики, принципиальное же отношение его к революции, к социализму не изменилось. Правда, такие статьи Писарева, как «Реалисты», «Мотивы русской драмы», «Цветы невинного юмора» и др., написанные после 1863 г., давали повод считать, что Писарев изменил прежним своим революционно-политическим взглядам. Однако дело обстоит не так просто, как это представлялось некоторым литературоведам. Следует иметь в виду ту обстановку, в которой оказался Писарев, заключённый в Петропавловскую крепость. В стране свирепствовала реакция; Герцен, Чернышевский и многие другие революционеры находились в изгнании или на далёкой сибирской каторге. Малейшая попытка протеста против самодержавия безжалостно душилась царизмом. Волна революционного движения спала. Изолированный от жизни, сидя в душной камере Петропавловской крепости, Писарев много перечувствовал, передумал, у него возникли сомнения в воз-

можности революционного переворота в ближайшее время. Перед молодым революционером встал вопрос: что делать, как исправить существующее положение? Его неотвзяно преследовал мучительный вопрос: как накормить и одеть голодных и раздетых людей, как помочь народным массам, изнывающим в каторжном труде? Именно в этот период Писарев становится страстным пропагандистом естественных наук. В естествознании, в просвещении народных масс, в подготовке мыслящих образованных людей — пропагандистов естествознания — он видел тогда альфу и омегу русского общественного развития.

Какой путь избрать в этой тяжёлой обстановке? По мнению Писарева, было два пути. Один — «механический», т. е. революционный; другой — «химический», т. е. путь мелких, постепенных реформ. Так как первый путь в то время казался Писареву пока невозможным, то в ожидании лучших времён оставалось, по его мнению, выбрать второй — путь реформ. Принимая второй путь, Писарев проявил большую заботу о людях «чернорабочего» класса, стоящих в самом низу общественной лестницы. Писареву казалось в то время, что они, эти люди, представляют собой пассивный материал, который надо просвещать, «стуманное пятно», по выражению Писарева, из которого только впоследствии вырабатываются «новые миры». У Писарева сложилось представление, что трудящиеся, народ был пока ещё инертной, забитой массой, не созревшей ещё в данный момент для того, чтобы совершить революционный переворот. Очевидно, под впечатлением поражений крестьянских восстаний Писарев писал тогда, что современная жизнь «в самых глубоких своих недрах не заключает решительно никаких задатков самостоятельного обновления; в ней лежат только сырье материалы, которые должны быть оплодотворены и переработаны влиянием общечеловеческих идей»\*. По мнению Писарева, распространением этих общечеловеческих идей должны были заняться представители городской демократической интеллигенции — «мыслящие работники, с любовью занимающиеся трудом», «реалисты», — как их называл Писарев. Они-то, по мнению Писарева, и должны были играть тогда главную роль в развитии общественной жизни. Само собой разумеется, что, переоценивая роль естествознания и его пропагандистов и недооценивая, хотя бы на время, роль и значение народных масс, Писарев совершал серьёзную ошибку и отступал в этом вопросе от последовательных революционно-демократических взглядов своих современников —

\* Писарев, Избр. соч., т. I, 1934, стр. 551.

Чернышевского и Добролюбова. Однако в принципе Писарев не отрицал, как это мы увидим ниже, роли и инициативы народных масс в общественном развитии. Он считал только, что временно у них отсутствует инициатива к революционным действиям.

Писарев, будучи истинным патриотом своей родины, настойчиво пропагандировал идею европеизации русского капитализма, ратовал за прогресс и культуру. Он требовал применения естественных наук в промышленности и сельском хозяйстве для усовершенствования орудий производства. В успехах естествознания Писарев видел и успехи общественного развития. Только на этом пути, заявлял он, можно добиться увеличения богатств страны, роста благосостояния всей нации и освободить широкие народные массы из «грязных подвалов» катаржного труда. Представляя себе так ближайшую задачу общественной жизни России, Писарев ошибочно допускал, что наиболее честные и прогрессивные капиталисты и землевладельцы могут сочетать свою собственную пользу с пользой работающих на них людей. Хотя в данном вопросе Писарев уходил назад от Чернышевского и Добролюбова, тем не менее в целом его взгляды на экономическое развитие страны по пути капитализма отвечали задаче того времени и носили прогрессивный характер. Отстаивая точку зрения развития России по пути «культурного капитализма», Писарев не отказывался от своих основных принципов и отход от «механического», т. е. революционного, пути рассматривал лишь как временное явление, только как вопрос тактики, обусловленной исторической обстановкой. Его твёрдое убеждение в необходимости коренной ломки общественных отношений в России, в неизбежности радикального разрешения «рабочего вопроса» путём революции, а не реформ ясно обнаруживается в статьях «Исторические эскизы» (1864), «Школа и жизнь» (1865), «Генрих Гейне» (1867) и др. Так, в статье «Исторические эскизы» мы читаем:

«Кто сколько-нибудь имеет понятие о смысле событий, совершающихся во всемирной истории, тот знает, что каждый голодный день пролетария, каждая прореха на его рубище, каждая болячка на его истомлённом теле составляют общественные явления колоссальной важности и ведут за собой такие последствия, которых «ни в сказке сказать, ни пером написать»\*.

Ясно, что, говоря об «общественных явлениях колоссальной важности», Писарев имел в виду революцию.

---

\* Писарев, Соч., т. III, 1897, стр. 131—132.

Статья «Генрих Гейне», написанная Писаревым за год до смерти \*, даёт достаточное представление о том, что её автор оставался сторонником революционного развития общественной жизни и утопического социализма. В этой статье, высоко оценивая Гейне как поэта, Писарев подвергал критике его политические взгляды, усматривая в них типичное немецкое бюргерское филистёрство. Обращает на себя внимание замечание Писарева и по адресу Гёте и Шиллера. Последние, говорится в статье, украсили на вечные времена «свинью голову немецкого филистёрства лазоревыми листьями бессмертной поэзии. Благодаря этим двум поэтам немецкий филистёр имеет возможность мирить высшие эстетические наслаждения с самой бесцветной пошлостью бюргерского прозябания. Он читает своих великих поэтов, и вздыхает над ними, и умиляется, и заводит глаза, как откормленный кот, и остаётся безнадёжным пошляком, и твёрдо уверен при этом, что он человек, и что ничто человеческое ему не чуждо» \*\*.

По справедливому мнению Писарева, Гейне смотрел на революцию лишь с эстетической точки зрения и тем самым оскорблял величие народных масс, профанировал идеи, во имя которых совершается революционный переворот. Для русского демократа-революционера было ясно, что коль скоро назрела необходимость революции, её надо совершать. «Тот народ, — писал Писарев, — который готов переносить всевозможные унижения и терять все свои человеческие права, лишь бы только не браться за оружие и не рисковать жизнью, находится при последнем издыхании» \*\*\*.

Писарев явно отрицательно относился к реформам, правильно замечая, что никакая реформа не производит «благодетельных превращений». Трудно, по его мнению, бороться с укоренившимся злом путём реформ на основе теории постепенности. В статье «Исторические эскизы» об этом сказано достаточно убедительно.

Таковы в общих чертах политические воззрения революционного демократа и утопического социалиста Д. И. Писарева. Эти воззрения нашли полностью своё отражение и в его эстетических взглядах. Нельзя согласиться с теми буржуазными критиками, да и с некоторыми советскими литературоведами, которые относят Писарева к числу «разрушителей эстетики». Верный своему революционному демократизму, Писарев требовал от художественной литературы правдивого

\* До последнего времени существовало ошибочное мнение, что эта статья относится к 1862 г.

\*\* Писарев, Избр. соч., т. I, 1934, стр. 286.

\*\*\* Там же, стр. 290.

и честного служения народу. Он высоко ценил те художественные произведения, которые говорят о жизни народных масс, их горе и страданиях и побуждают народ к активным действиям в борьбе за улучшение условий жизни. Поэтому Писарев настойчиво требовал, чтобы русские литераторы не преклонялись перед последним модным словом Западной Европы, а прежде всего знали свою родину — Россию, свой великий народ, свою богатую национальную культуру.

По мнению Писарева, «поэт — или титан, потрясающий горы векового зла, или же козявка, копающаяся в цветочной пыли» \*.

Вслед за Чернышевским Писарев утверждал, что жизнь выше искусства. Так же как Белинский, Герцен, Чернышевский и Добролюбов, Писарев являлся защитником демократического реализма в литературе. Однако в своих взглядах на эстетику он делал шаг назад, допуская некоторую вульгаризацию эстетических оценок. Этим объясняются в частности его ошибки в оценке поэзии Пушкина и отдельных произведений других русских писателей.

---

Русская классическая философия богата солидными материалистическими традициями. Наиболее прогрессивным мировоззрением в России в XIX веке, да и не только в России, до проникновения идей марксизма был материализм великих русских демократов и утопических социалистов Белинского, Герцена, Чернышевского и Добролюбова. Особенность их материализма заключалась в том, что они сумели отбросить из наследства передовых мыслителей Западной Европы всё реакционное, всё то, что мешало прогрессу науки, и восприняли самое положительное, революционное, что двигало науку вперёд.

Колоссальная заслуга Белинского, Герцена, Чернышевского, Добролюбова перед Россией состоит в том, что они органически связали свои философские материалистические взгляды не только с естествознанием, но и с политической жизнью своей родины. Их материализм носил действенный, воинственный характер. Великие русские материалисты-демократы, в отличие, например, от немецких передовых философов, были непримиримыми противниками консерватизма, филистёрства в политике и горячими сторонниками политического и экономического прогресса своей родины. Их мировоззрение было проникнуто пламенным патриотизмом, беззаветной любовью к

---

\* Писарев, Избр. соч., т. II, 1935, стр. 80.

родине и к русскому народу. Патриотизм — одна из характернейших черт в развитии русской классической философии.

Изучая передовые философские и политические идеи Западной Европы, русские материалисты-революционеры никогда не оказывались в роли рабских последователей западноевропейских мыслителей. Они сумели подняться выше многих своих современников, развивали дальше науку и философию в интересах своей родины, своего народа. В процессе творческого формирования своих взглядов, разрабатывая вопросы философского материализма и истории, русские материалисты-революционеры выдвигали новые, самостоятельные, оригинальные идеи. Никто из них — ни Герцен, ни Чернышевский, ни Добролюбов — не поднялся и не мог подняться до уровня диалектического материализма в силу отсталости России того времени в экономическом, политическом и культурном отношениях. Но достойно оценив и правильно восприняв диалектический метод, они сумели вплотную подойти к диалектическому материализму. Они поняли, что диалектика — это «алгебра революции».

Философское мировоззрение Д. И. Писарева по своему уровню значительно отстаёт от мировоззрения его современников — Герцена, Чернышевского и Добролюбова. Его философское развитие шло иным путём. Но, тем не менее, лучшие материалистические традиции русской философской мысли присущи и Писареву, и источи его философских взглядов нужно искать прежде всего в развитии русской материалистической философии. Белинский, Герцен и Чернышевский — вот кто оказал основное влияние на формирование философских взглядов Писарева. Что касается западноевропейской философии, то Писарев положительно относился к философии французского материализма XVIII века, к материализму Фейербаха и к представителям немецкого вульгарного материализма Бюхнеру, Фогту и Молешотту. Недостаточно критическое отношение к последним отличает философские взгляды Писарева от взглядов Белинского, Герцена, Чернышевского и Добролюбова. В этом заключалась одна из слабых сторон мировоззрения Писарева.

Мировоззрение немецких вульгарных материалистов в целом было реакционным. Оно означало движение назад от Гегеля и Фейербаха, поскольку они принижали значение теоретического мышления и абсолютно игнорировали диалектический метод. Поэтому Энгельс говорил по их адресу, что эти «вульгаризаторы, взявшись на себя в пятидесятых годах в Германии роль разносчиков материализма, не вышли ни в чём за пределы учений своих учителей». Но в вульгарных немецких

материалистах Писарева привлекали их выступления против религии, усиленное подчёркивание ими значения естественных наук, выдвижение на первый план естественно-научных опытов, изучение фактов и наблюдений над явлениями природы. Писарев был твёрдо убеждён, что распространение естественно-научных знаний в России окажет существенную помощь в «умственной эманципации масс», в развитии науки и культуры. В то же время революционный демократ Писарев решительно отвергал реакционные политические взгляды немецких вульгарных материалистов. Во всей своей деятельности он руководствовался самыми благородными патриотическими побуждениями — дать своему народу всё, что может пойти ему на пользу.

Вместе с тем следует подчеркнуть, что интерес Писарева к естествознанию был навеян прежде всего «Письмами об изучении природы» Герцена и трудами Дарвина.

Писарев отнюдь не был, как это утверждали некоторые его исследователи, послушным учеником и рабским последователем учения немецких вульгарных материалистов. Во всех вопросах мировоззрения он стоял на целую голову выше Бюхнера, Фогта, Молешотта и им подобных. Писарев занял прочное место в истории русской материалистической философии как представитель естественно-научного материализма. Характерно, что произведения Бюхнера, Фогта и Молешотта были использованы Писаревым лишь в начальной стадии его философского развития. В дальнейшем же он больше не возвращался к «разносчикам материализма». С материалистических позиций он самостоятельно, по-своему, давал объяснения явлениям, происходящим в природе и в человеческом обществе.

В дальнейшем Писарев обращает своё внимание на эволюционную теорию Дарвина и посвящает ей специальную статью «Прогресс в мире животных и растений» (1864). Из этой статьи мы помещаем в сборнике лишь введение и заключение, показывающие, какое большое значение придавал Писарев эволюционной теории Дарвина, замечательные открытия которого были использованы Писаревым для пропаганды в России естественно-научного материализма.

Писарев стал одним из блестящих популяризаторов дарвинизма в России. Его заслуги в этом отношении высоко оценивал великий русский учёный Тимирязев.

После того как Писарев ознакомился с учением Дарвина, для него стали абсолютно неприемлемы идеи вульгарных немецких материалистов о неизменности неорганической природы и органических видов, а также утверждения об отсутствии связей и взаимодействия между явлениями природы.

Писарев внимательно следил за развитием русской науки, чрезвычайно высоко оценивая её; он гордился достижениями русских учёных и очень огорчался тем, что русская наука, в частности естествознание, не получала должной оценки в России. Писарева возмущало рабское преклонение перед зарубежными авторитетами со стороны аристократической верхушки русского общества, в то время как труды русских учёных, издававшиеся на русском языке, оставались на родине малоизвестными. В своей статье «Реалисты» Писарев справедливо заметил:

«Положим, например, что доктор Боткин произвёл какие-нибудь новые исследования над лечением нервных болезней. Напечатай он эти исследования на русском языке, они точно в воду канут. Но как только они попадутся в руки европейских учёных, то тотчас сотни деятельных умов дополнят и переработают их своими собственными наблюдениями, и открытие нашего доктора вернётся к нам в Россию в усовершенствованном виде... Если бы умственная жизнь нашего общества отличалась силой и энергией, тогда специалисты наши писали бы по-русски, тогда у нас было бы много специалистов и тогда европейские учёные находили бы для себя полезным учиться русскому языку, подобно тому, как они в настоящее время учатся английскому, французскому и немецкому» \*.

Поэтому Писарев настойчиво призывал русскую интеллигенцию тщательно изучать труды русских учёных, хорошо знать достижения русской науки и, воспринимая вместе с тем то положительное, что давала западноевропейская наука, использовать это для развития отечественной науки, но ни в коем случае не преклоняться рабски перед зарубежными авторитетами.

---

Одна из характерных особенностей русской классической философии заключается в том, что русские материалисты отрицательно относились к отвлечённым философским идеям, не связанным с реальной жизнью. Великие русские материалисты-революционеры и демократы отбросили идеалистическую шелуху в учении Гегеля, подвергали критике его политический консерватизм, узость и реакционность его практических выводов, отвлечённость и абстрактность его идей. Писарев последовал этой традиции великих русских материалистов. «Нам надоели фразы гегелистов, — писал он, — у нас закру-

---

\* Писарев, Издр. соч., т. II, 1935, стр. 65.

жилась голова от витания в заоблачных высиях...» \* Писарев жестоко критиковал идеалистическую диалектику Гегеля, которую он называл «переливанием из пустого в порожнее», «вороцанием форм без содержания». Но в отличие от Белинского, Герцена, Чернышевского и Добролюбова, сумевших с пользой для отечественной философии воспринять положительные моменты из гегелевской диалектики, Писарев своё отрицательное отношение к последней склонен был распространить на диалектику вообще.

Однако заслуживает внимания одно чрезвычайно важное высказывание Писарева, свидетельствующее, что и он, хотя и смутно, понимал положительное значение диалектики, очищенной от мистики идеализма.

В статье «Московские мыслители» он писал:

«Мы с удовольствием готовы пользоваться философской диалектикой как орудием борьбы, как средством разрушать предрассудки, но когда такая диалектика уходит в область слов, когда она, теряя из виду действительность, забывая условия места и времени», не приводит к «осознательно-практическому жизненному результату», то «заниматься ею скучно» и «бесполезно» \*\*.

Писарев был твёрдо убеждён, что пора господства идеализма в философии кончилась. Идеалистическая философия, по его мнению, больше уже не имеет права на существование. Поэтому в статье «Схоластика XIX века» Писарев предлагает «сдать в архив стройные, красивые, величественные системы идеализма, внутри которых темно, сыро и холодно, как в старом готическом соборе» \*\*\*. Мотивы такой оценки Писаревым умозрительной идеалистической философии можно видеть в следующих высказываниях из его статьи «Русский Дон-Кихот»:

«Умозрительная философия—пустая трата умственных сил, бесцельная роскошь, которая всегда останется непонятной для толпы, нуждающейся в насущном хлебе. Этого не понимали ни Гегель, ни Шеллинг, этого, конечно, не понял и Киреевский».

«Когда же эта умозрительная философия ограничивается построением формул, тогда она оставляется на долю досужим людям, которых не помяла железная рука вседневной заботы и которым приятно носиться в отвлечённых пространствах, вместо того, чтобы смотреть на горе окружающих людей и помогать им делом и советом» \*\*\*\*.

\* Писарев, Избр. соч., т. I, 1934, стр. 239.

\*\* Там же, стр. 208.

\*\*\* Там же, стр. 64.

\*\*\*\* Писарев, Соч., т. II, 1916, стр. 223.

Опровергая рассуждения о якобы мистическом и религиозном складе «русской души», Писарев заявляет, что ныне «ни одна философия в мире не привыкнётся к русскому уму такочно и так легко, как современный здоровый и свежий материализм»\*. Теперь настала пора, говорит он, когда можно выйти в область действительно живых идей и интересов. И это можно сделать только на пути материализма. Прошло безвозвратно время фантазий и мистических взглядов на природу и человека. Пришла пора расцвета естественных наук и изучения реальной жизни.

В статье «Идеализм Платона» Писарев даёт совершенно правильную критику идеалистических позиций:

«Богатая полнота жизни, рельефность материи, переливы линий и красок, пёстрое разнообразие явлений, всё, чем красна и полна наша жизнь, стало казаться Платону злом, ширмой, за которой насилино скрыта, как красавица в заколдованным тереме, истина мира, нетленная, неизменная вечная красота. Пылкая фантазия усилила эти мечты; галлюцинация Платона дошла до того, что он верил в действительное существование идеи отдельно от явления; идеализм сразу поднялся на такую поэтическую высоту вымысла и вместе с тем сразу дошёл до такого полного отрицания самых элементарных свидетельств опыта, какого, вероятно, он не достигал никогда ни прежде, ни после Платона»\*\*.

Из этих, да и других им подобных высказываний явствует, что Писарев решает основной философский вопрос об отношении мышления к материи с позиций материализма. Но материализм Писарева носит метафизический характер. Это означает, что ему присущи те ошибки во взглядах на процесс развития природы, которые характеризуют метафизический материализм. Излагая учение Дарвина, Писарев стихийно, вопреки его отрицательному в общем отношению к диалектике, рассказывает читателю о диалектических процессах в жизни органической природы. Но всё же развитие природы в целом представляется Писареву как механический процесс движения, что не давало ему возможности сделать такие выводы из научных открытий XIX века, которые бы позволили развивать дальше материалистическое воззрение на природу.

С точки зрения метафизического материализма процесс развития в природе рассматривается как чисто механический процесс медленного, постепенного развития путём количе-

\* Писарев, Соч., т. I, 1897, стр. 356.

\*\* Там же, стр. 262.

ственного накопления и различных комбинаций сил; согласно господствующей в природе строгой и слепой необходимости происходит переход материальных сил из одной формы в другие. В замкнутом кругу вечного, неустанного движения происходят изменения, разрушение и возникновение. Все сложные формы движения материи в конечном счёте сводятся к простым механическим движениям материальных частиц. Законы физики и механики господствуют и в органической природе. Психические процессы, мышление отождествляются с физическими и химическими явлениями. Нет качественного различия между материальным и психическим, между материей и мыслью. Эти общие характерные черты механического материализма были восприняты и Писаревым.

В вопросе об источниках, содержании и границах познания Писарев стоит на материалистических позициях и придерживается материалистической теории познания. Он правильно исходит из основного положения философского материализма, что материя существует независимо от чувственных восприятий, что материя является первичным, а мышление, сознание — вторичным. Писарев считал, что источник человеческого познания таится в действительных явлениях природы; в ощущениях человека отражается то, что происходит в самой природе. Познание явлений природы и общественной жизни, по мнению Писарева, возможно только тогда, когда человек опирается на свидетельства чувств. Поэтому исключительное значение придаёт он непосредственной чувственной достоверности: достоверность наших знаний о явлениях природы он считал следствием непограничимости человеческих ощущений; только то знание достоверно, которое непосредственно связано с ощущением, действительностью отражений в ощущениях; отправляясь от ощущений, как от истинного отражения явлений внешнего мира, человек в процессе познания постепенно поднимается до понимания общих истин и вечных законов природы.

Нетрудно заметить, что Писарев в вопросах теории познания стоит на позициях сенсуализма, преувеличивая роль чувственного познания в ущерб роли и значению разума. Он допускает упрощённый, эмпирический подход к исследованию явлений природы, чувственная достоверность для него является критерием истинности наших знаний. Эмпирический-индуктивный метод познания в духе английского материалиста Бэкона является для Писарева основным методом познания. Исследуя природу путём наблюдений и опыта, надо итти, указывал Писарев, от факта к факту, от эксперимента к эксперименту, всячески избегать умозрительных хитросплетений.

Только анализ и индукция могут спасти от химер и бесплодных фантазий.

В этом утверждении, конечно, нет ничего плохого, неправильного. Но Писарев, излишне подчёркивая роль индукции, чувственного познания, недооценивал роли дедукции, роли логического мышления в процессе познания. В рационалистической философии XVII века Писарев спротивился видел отрицательные стороны, но не заметил её положительного содержания. Само собой разумеется, что Писарев не мог тогда понять — в этом не его вина — диалектического перехода от ощущения к мысли и того, что критерий истины заключается не в чувственной достоверности, а в общественно-практической деятельности человека. Этого не могли понять ни эмпирики, ни рационалисты. Это было понято лишь тогда, когда Маркс и Энгельс создали диалектический материализм.

Поставив перед собой главной задачей в борьбе за прогресс науки разгром идеализма и отвлечённой умозрительной диалектики, Писарев допускал в пылу полемики с врагами материализма и естествознания ошибочные формулировки. Это давало повод некоторым исследователям Писарева заявлять, что в его теории познания есть агностicism, т. е. утверждение о непознаваемости мира. Конкретно это вызывалось утверждениями Писарева о том, что нельзя познать явлений природы и жизни, если человек не имеет возможности их непосредственно ощущать органами чувств, и что нет необходимости познавать причины, законы и сущность явлений.

Однако Писарев не был агностиком. Он был твёрдо убеждён в том, что человеческое познание беспредельно, что нет ничего в природе, что не могло бы быть познано могучим и вытлывым разумом человека. Надо заметить, что такие понятия, как сущность, закон, причина, отпугивали Писарева своей абстрактностью, отвлечённостью. Ему казалось, что здесь-то и таятся всякого рода «диалектические» тонкости и фантазии, уводившие человека от чувственной достоверности явлений природы и живых интересов в область бесполезных умозрительных идей.

Писарев отнюдь не был так называемым «ползучим эмпириком» в теории познания, хотя некоторыми теоретическими формулировками он давал повод так думать. Несмотря на излишнее преувеличение роли ощущений в ущерб роли логического мышления, Писарев нередко подвергал критике труды историков и естествоиспытателей именно за то, что они, подобно муравьям накапливая огромный материал в виде бессвязного нагромождения сырых фактов, не умеют обрабатывать его, не умеют отличать важное от неважного. Такого рода

учёные, по мнению Писарева, не в состоянии познавать законы и связи между явлениями. Только те учёные суть «итаны мысли», которые «подмечают связь между явлениями, из множества отдельных наблюдений они выводят общие законы; они вырывают у природы одну тайну за другой; они прокладывают человеческой мысли новые дороги; они делают те открытия, от которых перевернётся вверх дном всё наше мироозерцание...»

Для материалиста Писарева не было никакого сомнения в безграничной способности человека познавать природу и объективную реальность. В его представлении наука о природе, или достоверная истина, — это «снимок с природы, сама природа, разоблачённая, разгаданная, открывшая свои законы пытливому разуму человека». Писарев был твёрдо убеждён как в неисчерпаемости сил природы, так и в неисчерпаемости человеческого познания, для которого нет никаких преград. «Знание есть сила, — писал он, — и против этой силы не устоят самые окаменелые заблуждения, как не устояла против неё инерция окружающей нас природы»\*\*. Для Писарева ясно было, что путь познания природы сложен и извилист, что немало преград на этом пути встречает человеческое познание, что могут быть и заблуждения, ошибки в процессе исследования. Но они лишь ступеньки «длинной и кругой лестницы», по которой всё-таки человечество доберётся вверх, «к познанию настоящей истины»\*\*\*. Писарев настойчиво требовал строго различать знание и понимание от полузнания и полупонимания, уметь вскрывать за красивой внешней оболочкой, маскирующей явления, действительную сущность явлений, связь между отдельными явлениями, уметь находить истину, скрытую в частных, единичных явлениях природы.

Писарев резко осуждал в связи с этим сторонников консерватизма и рутины в науке. Выступая против догматизма, Писарев справедливо полагал, что абсолютные, вечные истины «существуют только для народов неисторических». В связи с этим заслуживают внимания высказывания Писарева по вопросу о скептицизме в науке. Он безоговорочно осуждал тот скептицизм, который посредством разных «диалектических тонкостей» приводит к сомнению в существовании внешнего мира и мыслящего субъекта. Такой идеалистический скептицизм Писарев справедливо считал бесплодным в науке. Вместе с тем, будучи противником догматизма, он правильно утверждал, что учёный, исследующий явления природы, должен

\* Писарев, Избр. соч., т. I, 1934, стр. 274—275.

\*\* Там же, стр. 447.

\*\*\* Писарев, Избр. соч., т. II, 1935, стр. 131.

обладать известной дозой скептицизма, не преклоняться слепо перед фактами, не впадать в фатализм. «Полезен в науке только тот благоразумный скептицизм, который не позволяет исследователю успокаиваться на неполном или неточном объяснении изучаемых явлений» \*, — писал Писарев в статье «Педагогические софизмы».

Убедительным свидетельством отрицательного отношения Писарева к ползучему эмпиризму, к «муравьям» в науке, могут служить известные его высказывания по вопросу об отношении мечты к действительности, изложенные в статье «Промахи мозрелой мысли». Эти высказывания Писарева обратили на себя внимание В. И. Ленина и цитируются им в его гениальной работе «Что делать?» \*\*. Напомним эти высказывания. Писарев утверждает там, что человеческому разуму и воображению свойственно смелое проникновение в сферу будущего за пределы накопленных фактов. Человеку свойственно мечтать, но мечта его должна быть связана с жизнью, с наукой, с работой. «Если бы человек был совершенно лишён способности мечтать таким образом, если бы он не мог изредка забегать вперед и созерцать воображением своим в цельной и законченной красоте то самое творение, которое только что начинает складываться под его руками, — тогда я решительно не могу себе представить, какая побудительная причина заставляла бы человека предпринимать и доводить до конца обширные и утомительные работы в области искусства, науки и практической жизни... Сам мечтатель видит в своей мечте святую и великую истину, и он работает, сильно и добросовестно работает, чтобы мечта его перестала быть мечтой. Вся жизнь расположена по одной руководящей идее и наполнена самой напряжённой деятельностью... Если такой мечтатель, или, вернее, теоретик, действительно открыл великую и новую истину, тогда уже сама собой разумеется, что разлад между его мечтой и нашей практикой не может принести нам, то есть людям вообще, ничего, кроме существенной пользы» \*\*\*.

Вместе с тем Писарев справедливо осуждал пустые, бесплодные мечтания в духе помещика Манилова из «Мёртвых душ» Гоголя. Писарев презирал и третировал пустых мыслителей и гробокопателей в области науки и философии. Он призывал русскую интеллигенцию к тому, чтобы она дерзала в науке, пытаясь открывать новые истины и соединяла бы

\* Писарев, Соч., т. VI, 1897, стр. 489.

\*\* Ленин, Соч., т. IV, стр. 492.

\*\*\* Писарев, Избр. соч., т. II, 1935, стр. 124—125.

науку с жизнью, теорию — с практикой. Таким образом, ясно, что Писарев, высказывая верный, оптимистический взгляд на силу человеческого разума и творческую деятельность человека, отнюдь не отрицал и роли фантазии, если она, эта фантазия, полезна в науке и общественной жизни. Вспомним высказывание Ленина в его «Философских тетрадях»: «Нелепо отрицать роль фантазии и в самой строгой науке: ср. Писарев о мечте полезной, как толчке к работе, и о мечтательности пустой»\*.

Таким образом, при всех своих недостатках философский материализм Писарева был в условиях того времени несомненно прогрессивным мировоззрением.

---

Материализм Писарева был ограниченным, не до конца последовательным. Будучи материалистом «внизу», т. е. в области природы, он оставался идеалистом «вверху», т. е. в области истории. Такая непоследовательность, ограниченность материализма присуща всем представителям материализма до Маркса и Энгельса, создавших диалектический материализм и распространявших материализм на область истории. Великие русские революционеры-материалисты Белинский, Герцен, Чернышевский и Добролюбов придавали пропаганде материализма и освобождению людей от пут идеализма революционное значение, но всё же в понимании исторических явлений они оставались идеалистами. Это объясняется тем, что для переворота во взглядах на явления общественной жизни социально-экономическая почва в России 60-х годов ещё не была подготовлена.

Следует заметить при этом, что для великих русских философов XIX века характерны материалистические тенденции и в понимании исторических явлений и что они в отличие от материалистов Западной Европы сделали значительные шаги в сторону исторического материализма.

Взгляды Писарева на явления общественной жизни менее отчётливы, определённы и уступают по своему теоретическому уровню взглядам Чернышевского и Добролюбова. Но и в его исторических воззрениях также ярко выражены материалистические тенденции, и он во многих случаях отходит здесь от идеалистической точки зрения. Это объясняется тем, что философский материализм великих русских материалистов, в том числе и Писарева, не носил абстрактный, отвлечённый характер, а был связан с пониманием реальных жизненных задач

---

\* Ленин, Философские тетради, Госполитиздат, 1938, стр. 336.

России того времени. Действенный, революционный характер мировоззрения великих русских философов, попытки связать теорию с практикой, стремление к тому, чтобы не только мир объяснить, но и изменить его, т. е. изменить российскую действительность того времени, способствовали проникновению материалистических тенденций в толкование явлений общественной жизни.

Писареву представлялось, что все изменения общественных отношений определяются в конечном счёте общественным сознанием, или, как он говорил, «совокупностью идей», степенью «умственного прогресса» общества, «запасом знаний», которыми обладает общество в данный момент. В статье «Бедная русская мысль» Писаревым дана наиболее определённая формулировка его идеалистического понимания истории: «Не факт, не случайное событие действует на изменение человеческого сознания; на него действует целая цепь однозначащих фактов, на него действует смысл и направление фактов. А откуда же берётся смысл и направление фактов? Опять-таки из того же сознания. Стало быть, сознание видоизменяется само собою и зависит только от самого себя»\*. И в других своих статьях, например в «Исторических идеях Огюста Конта», в «Очерках из истории труда» и т. д., Писарев приходит к выводу, что «знание составляет ключ к решению общественной задачи не в одной России, а во всём мире»\*\*.

Как уже указывалось, говоря о распространении знаний, Писарев прежде всего имел в виду пропаганду естественных наук. Переоценивая роль и значение естественных наук, Писарев ошибочно полагал, что законы общества находятся в прямой зависимости от законов природы. Ему думалось, что дарвиновский принцип естественного отбора может быть применён и к общественной жизни. В данном случае он стоял на той глубоко ошибочной точке зрения, которую в своё время раскритиковал Энгельс, разоблачая буржуазных учёных реакционеров\*\*\*. Однако следует иметь в виду, что если у таких буржуазных социологов, как Спенсер или Огюст Конт, теория борьбы за существование в общественной жизни служила идеологическим оружием реакции, то Писарев подходил к этому вопросу совершенно иначе: применяя учение Дарвина к явлениям общественной жизни, он руководствовался не реакционными, а демократическими мотивами. Ука-

\* Писарев, Дополнительный выпуск, 1913, стр. 147—148.

\*\* Писарев, Избр. соч., т. II, 1935, стр. 351.

\*\*\* См. Энгельс, Диалектика природы, Госполитиздат, 1941, стр. 251.

зыва, например, на различие в количестве и качестве пищи, употребляемой «высшими» и «низшими» слоями общества, Писарев обращает внимание на несправедливость материального неравенства людей. Он апеллирует к законам природы, чтобы высказать своё возмущение против угнетателей, живущих в роскоши, отстаивающих свои привилегии и обрекающих на голод и лишения «чернорабочие» массы. У Писарева неоднократно встречаются высказывания, свидетельствующие о его попытках более правильного решения вопроса о соотношении между природой и обществом. Так, в статье «Исторические эскизы» он пишет: «...отношения человека к явлениям природы подчинены тем отношениям, которые установились в течение веков между человеком и человеком. Можно сказать без преувеличения, что счастье человека зависит исключительно от особенностей его общественной жизни. Когда каждый человек будет относиться к каждому другому человеку совершенно разумно, тогда из этих разумных отношений вырабатывается такая сила, которая победит навсегда всякие враждебные влияния природы»\*.

Некоторые историографы и литературоведы утверждают, что Писарев был прямым последователем французского социолога Огюста Конта. Действительно, некоторые следы позитивизма в мировоззрении Писарева имеют место. Как видно из статьи «Исторические идеи Огюста Конта», Писарев соглашался с некоторыми положениями французского социолога, но вместе с тем он и подвергал резкой критике реакционные черты мировоззрения Конта. Например, в той же статье русский демократ-просветитель Писарев высмеивает Конта за то, что тот пытался выступать в качестве «первоосновенника», начертавшего правила «новой религии» для человека. В этой контовской религии Писарев справедливо видит политический консерватизм, католицизм, средневековую мораль, оправдывающие эксплуатацию, господство феодалов, пауперизм масс и неравнoprавие женщин. Он справедливо указывает, что симпатии Конта направлены к тому «политическому организму, который по мере сил своих поддерживал и упрочивал... низкоту и тупоумие»\*\*. Писарев категорически отмечает контовские бредни о том, что какая-то «теоретическая власть», существующая независимо от политической, может оказывать нравственное воздействие на жизнь народа, что нравственность якобы имеет самостоятельную силу. Уж если говорить о воздействии, то прежде всего, по мнению Писарева, нужно иметь

\* Писарев, Соч., т. III, 1897, стр. 193.

\*\* Писарев, Соч., т. V, 1897, стр. 389.

в виду наряду с умственным развитием общества также и улучшения в экономической жизни общества. Без этого, заключает он, все рассуждения о нравственности — лишь химера, апология нищеты и богаделен.

Писарев выступает противником Канта и по многим другим существенным вопросам. В частности он указывает, что Конт не имел никакого понятия о простейших законах, обусловливающих общественное движение и накопление общественного богатства. В данном случае Писарев имеет в виду человеческий труд. Он обращает внимание на важнейшую роль труда в человеческой жизни, заявляя, что на труд надо смотреть не как на печальную необходимость, а как на внутреннюю потребность и отдельного человека и общества в целом. Только в процессе труда человек становится человеком в подлинном смысле слова, в труде надо видеть «высокое наслаждение». Физический труд, по мнению Писарева, заключает в себе основы цивилизации, это «насущный двигатель всемирной истории». В статье «Школа и жизнь» Писарев заявляет: «Кто смотрит на физический труд издали и со стороны, кто не имеет никакого понятия о том, что значит собственно ручно побеждать сопротивление неодушевлённой материи, тот по всей вероятности останется навсегда в отношении к самым важным вопросам общественной жизни поверхностным теоретиком...» \*

В своей статье «Мыслящий пролетариат» Писарев справедливо утверждает, что счастье человечества может быть достигнуто только целесообразной организацией труда. В этой связи он критикует экономические условия жизни в России и в Западной Европе, где труд и вознаграждение находятся в обратном соотношении. Никакая филантропия, никакое нравственное воздействие не помогут устраниТЬ общественное зло. Только изменение в системе производства может изменить общественную жизнь. Здесь мы замечаем у Писарева правильный материалистический подход к решению важнейших вопросов общественной жизни. Так, например, в статье «Посмотрим!» он пишет: «Производство может быть достаточно сильно, и, несмотря на то, большинство может всё-таки терпеть нужду, если производимые продукты будут распределяться в обществе неравномерно» \*\*.

Говоря о роли труда, Писарев устанавливает связь происхождения государства с присвоением результатов чужого труда. Он пишет, что «государственные формы, политический

\* Писарев, Соч., т. IV, 1897, стр. 577.

\*\* Писарев, Избр. соч., т. II, 1935, стр. 373.

смысл и даже национальное чувство составляют прямое следствие элемента присвоения, т. е. все эти вещи или произошли от присвоения, или возникли как отпор присвоению. Государства, все без исключения, порождены элементом присвоения...»\* Падение Римской империи Писарев также объясняет уродливым социальным устройством, при котором производительный труд считался позором для всякого свободного человека.

Во многих своих исторических работах Писарев пытается выйти за пределы идеалистического понимания истории, особенно подчёркивая роль экономических условий жизни масс и системы организации труда. Писарев понимал, что такие крупные явления общественной жизни, как революции, тесно связаны с экономическими условиями жизни народа, с системой организации труда. Так, в «Исторических эскизах» он усматривает первую причину революции не в чём ином, как в *экономическом истощении народа и государства*. Французская революция была произведена не философами XVIII века. Её «действующая сила лежала и лежит всегда и везде не в единицах, не в кружках, не в литературных произведениях, а в общих и преимущественно в экономических условиях существования народных масс» \*\*. Объяснение возникновение и ход Французской революции, Писарев указывает, что, «пока революция была чистой идеей, отвлечённым приговором мыслителей над существующими бытовыми формами, до тех пор её можно было задержать, отсрочить или повернуть назад; но когда она проложила себе дорогу в мир материальных интересов, когда она переделала по-своему весь строй экономических отношений, тогда возвращение старого порядка вещей сделалось совершенно невозможным. Тогда дело революции стали защищать не одни мыслители, писатели, ораторы и утописты; вместе с идеологами поднялись за общее дело и городские собственники, и крестьяне, и солдаты, и ремесленники» \*\*\*. Высмеивая либералов—сторонников реформ, но противников революции,—Писарев иронически замечает: «Революция может изменить законы и учреждения, но если она посягнёт на священную собственность, тогда это будет уже не революция, а одно безобразие» \*\*\*\*.

Заслуживает внимания высказывание Писарева о роли личности и народных масс в истории. Признавая, что обще-

\* Писарев, Избр. соч., т. I, 1934, стр. 57.

\*\* Писарев, Соч., т. III, 1897, стр. 171.

\*\*\* Там же, стр. 232.

\*\*\*\* Там же, стр. 190.

ство постоянно совершенствуется и прогрессирует, что все политические учреждения могут иметь только временное и местное значение, так как они, порождённые силой известных обстоятельств, вместе с этими обстоятельствами живут, расцветут, видоизменяются, дряхлеют и умирают, Писарев справедливо утверждает, что все эти исторические изменения отнюдь не совершаются по произволу отдельных личностей. «Отдельная личность, — заявляет он, — какими бы громадными силами она ни была одарена, может сделать какое-нибудь прочное дело только тогда, когда она действует заодно с великими общими причинами, то-есть с характером, образом мыслей и насущными потребностями данной нации»\*. Если же эта личность, продолжает Писарев, действует наперекор общим задачам, её дело неизбежно погибнет и сама личность будет раздавлена ходом событий. Но в том случае, если действия этой личности согласуются с задачей времени, тогда она выполняет большое полезное дело и тем самым влияет на общественное развитие.

Утверждение о зависимости деятельности какого-нибудь правителя от конкретных исторических обстоятельств Писарев наглядно иллюстрирует на примере исторической деятельности Петра I. В своей статье «Бедная русская мысль» он доказывает, что если бы Пётр I решил по собственному произволу уничтожить крепостное право, то попытка его была бы бесполезной, так как в его время общественная жизнь и не выдвигала задачи уничтожения крепостного права. «Чтоб напасть на мысль об уничтожении крепостного права, — заявляет Писарев, — мало быть гениальным человеком, надо ещё жить в такое время, когда... важность этого очередного вопроса бросается в глаза даже такому человеку, который ещё не знает, на чьей стороне логика и справедливость»\*\*. По мнению Писарева (и совершенно правильному мнению), исторический деятель только тогда и может быть признан гением, когда его дела и вся его жизнь дают совершенно удовлетворительные ответы на жизненные вопросы.

Писарев не делил общество на «гениев» и «толпу». Гениальные люди, по его мнению, вовсе не являются людьми, «освобождёнными» от законов истории. Гениальная личность решает исторические задачи своего времени и содействует удовлетворению потребностей народных масс, выдвигаемых самим ходом истории.

В своих исторических статьях Писарев особо подчёркивает

---

\* Писарев, Избр. соч., т. II, 1935, стр. 525—526.

\*\* Писарев, Дополнительный выпуск, 1913, стр. 140.

важную роль и значение масс в истории. «Частная жизнь только тогда интересна для историка, когда она выражает в себе особенности той коллективной жизни масс, которая составляет единственный предмет, вполне достойный исторического изучения\*». Поэтому Писарев всегда требовал от каждого историка «осмысленного и правдивого» рассказа о жизни масс. История, по его мнению, обязана знакомить читателей с опытом, интересами, чувствами и мыслями народных масс, так как во всех исторических событиях народные массы являются важнейшей общественной силой.

В силу отсталости условий современной ему русской жизни Писарев, конечно, не мог рассматривать классовую борьбу как движущую силу истории, и винить его в этом нельзя. В понимании классов и классовой борьбы он, как и другие великие русские мыслители, мог исходить лишь из русской действительности того времени. На примерах общественной жизни в Западной Европе Писарев отчётливо представлял себе, что там происходит борьба между кучкой эксплоататоров и громадным большинством эксплоатируемых народных масс. Что касается России, то здесь в то время рабочий класс на авансцену общественной жизни ещё не вышел. Писарев, как и его современники, был лишь свидетелем происходивших крестьянских восстаний, борьбы крестьянских масс против помещиков. Пролетариат как класс ещё находился в стадии формирования. Естественно, что чёткого понимания факта дифференциации общества на классы, роли классовой борьбы как движущей силы общественного развития у Писарева и не могло сложиться. По для него уже ясно было, что есть в обществе два противоположных полюса: «высшие классы» и «низшие классы». Вот как представлял себе Писарев классовую структуру русского общества. «Высшие классы» — это помещики, фабриканты, разжиревшая кучка, живущая трудом народных масс; сюда примыкают «паразиты», т. е. купцы и та группа ремесленников, художников и «сочинителей стихов», которая живёт при «барских гостиных» «по милости барской прихоти». «Низший слой» составляют народные массы, живущие собственным трудом: крестьяне, трудящиеся города и города, интеллигенция, «мыслящий пролетариат», по выражению Писарева, труд которых присваивает себе «высший класс» эксплоататоров. Выражаясь языком Добролюбова, внизу — демократия, трудовые люди, а вверху — аристократия, дармоеды. Заслуживает внимания тот факт, что Писарев выделял внутри крестьянства «крестьян-собственников» и «крестьян-пролетариев».

\* Писарев, Соч., т. III, 1897, стр. 114.

Для Писарева было ясно, что деление общества на различные общественные группы находится в непосредственной связи с различным отношением к труду и что между общественными группами, стоящими на противоположных полюсах, происходит непрерывная борьба. Люди, живущие эксплуатацией ближних или присвоением чужого труда, находятся в постоянной наступательной войне со всем окружающим их миром» \*, — пишет он в статье «Мыслящий пролетариат».

Материалистические тенденции, догадки, ясно обнаруживающиеся в исторической концепции Писарева, придают ей глубину и содержательность. На его исторические воззрения большое влияние оказало учение великих русских просветителей-революционеров, в особенности Герцена и Чернышевского. В оценке Писаревым исторических событий красной нитью проходит демократическая направленность, горячая любовь к своему народу и жгучая ненависть ко всем его поработителям.

B. C. Кружков.

---

\* Писарев, Избр. соч., т. II, 1935, стр. 395.

---

## ИДЕАЛИЗМ ПЛАТОНА

*(Обозрение философской деятельности Сократа и Платона, по Целлеру<sup>1</sup>; составил Клеванов<sup>2</sup>)*

Есть такие привилегированные личности, которых имена пользуются особенной, часто незаслуженной и не всегда лестной популярностью. Вы встретите имя такой личности и в учебнике, и в собрании анекдотов для детей, и, пожалуй, даже в прописях. Действительная физиономия этой личности от частого употребления её имени как-то стирается и заменяется каким-то условным понятием: личность делается представителем целого типа или воплощает в себе какое-нибудь отдельное качество и доводит его в себе до небывалых и невозможных размеров. Кто, например, в дни детства или юношества не воображал себе Баярда<sup>3</sup> представителем рыцарства, хотя Баярд жил в такое время, когда рыцарство, особенно во Франции, превращалось уже в анахронизм? Кто не видел в Генрихе IV<sup>4</sup>, короле французском, воплощения кротости и какого-то простоватого добродушия? Кто не смотрел на Платона, Сократа и Сенеку как на светила мира, воплотившие в себе всю мудрость греков и римлян? Эти светила мира, эти фокусы добродетели прославляются в учебниках, в которых, конечно, вы не найдёте о них ничего, кроме возгласов, более или менее бесцветных и риторичных.

Не подражая голословности учебников, многие серьёзные исследования разделяют с ними подобострастное отношение к этим избранным личностям. Ослеплённые блеском имени, имеющего за себя двухтысячелетний авторитет, исследователи, особенно немцы, проходя перед этими личностями, обезоруживают свою критику, скромно потупляют взоры и ограничиваются в отношении к ним ролью почтительного и аккуратного передатчика. Видно, что над ними тяготеет авторитет предания и школы. Излагая историю греческой философии, принято как-то относиться покровительственно к элеатской школе, к Гераклиту и Демокриту, к Пифагору и

Анаксагору<sup>5</sup>, потом с негодованием упомянуть о софистах, потом умилиться над личностью и судьбою Сократа, поклониться в пояс Платону, его Димиургу и Идеям, назвать Аристотеля великим учеником его, часто несправедливым к великому учителю, потом разругать Эпикура, посмеяться над скептиками и выразить добродетельное сочувствие возвышенным доблестям стоиков.

Это принято, этого требуют интересы *нравственности*, которую так ревниво берегут многие псевдохудожники и многие действительные труженики на обширном и так часто неблагодарном поле науки. Эти нравственные воззрения, которые чуть ли не две тысячи лет проводятся в книгах и рукописях, часто не имеющих ни малейшего отношения к вопросам практической нравственности, поставили Сократа и Платона на тот несокрушимый пьедестал, с которого я, конечно, не попытаюсь свести почтенных стариков. Пусть они остаются на этих пьедесталах, но только повыше, подальше от нас; пусть их идеи почитаются святыней, непонятной и непригодной для нашего ветреного и безнравственного века и поколения. Пусть их возвышенный идеализм служит предметом благоговения для немногих избранных, и пусть эти избранные гонят прочь непосвящённую чернь, которую так не любит фешенебельный Гораций<sup>6</sup> и в ряды которой охотно вмешаемся мы и охотно вмешали бы нашего читателя.

Но мы не шутим: мне кажется, что книга г. Клеванова уже по выбору предмета может быть признана высоко-бесполезной и бесполезно-высокой попыткой популяризировать то, что не может и не должно быть популярно; кто хочет писать для всей читающей публики, тот должен обработать предмет живой, самородной критикой, взяться за дело с смелыми литературными приёмами, произнести своё суждение, сказать живое, задушевное слово, хотя бы о мёртвом и застывшем предмете. Что же касается до пионеров общества, до специалистов, то вряд ли извлечение из Целлера будет для них особенно драгоценным приобретением. Специалисты — народ упрямый и склонный к сомнению; они любят добираться до источников и не загребают жара чужими руками.

Диалектические тонкости, наполняющие собой большую часть книги г. Клеванова, для публики слишком тонки, бесцветны и бесцельны, слишком недоступны здравому смыслу, а для специалиста они слишком не новы. В одном только пункте г. Клеванов мог придать своему труду свежий колорит и живое биение: он мог бы показать отношение Сократа и Платона к практической действительности, к вопросам общественной жизни, к интересам народа, отдельной личности

и государства. Он мог бы остановиться на практических следствиях идеализма и взвесить трезвой критикой особенности того влияния, которое этот идеализм мог оказать на человеческую личность и на отношения между людьми в семействе и государстве. Г-н Клеванов этого не сделал; не сделал он этого потому, что над ним тяготеют два авторитета, Платон и Целлер; чтобы обсудить как следует, с современной или просто с человеческой точки зрения поставленные выше вопросы, надо решиться думать своим умом, а это такая смелость, до которой и теперь не всякий охотник.

Перед тенями Платона и Сократа благоговеет г. Клеванов; от печатной буквы Целлера он отступить не решается; при таких условиях мудрено сказать живое слово об идеализме; мудрено, во-первых, потому, что мысли, взятые у другого, в чужих руках всегда отзываются холодной сухостью, а во-вторых, потому, что Целлер как немецкий теоретик рассматривает Платона, любяясь красотой и стройностью системы и не обращая внимания на степень её внутренней состоятельности и практической пригодности. У немецких мыслителей и критиков есть один очень честный, но часто дон-кихотский приём—становиться на точку зрения противника и сражаться с ним его же оружием. Таким путём вы можете уличить его в непоследовательности, но не уличите в непрактичности, потому что практическая жизнь представляется каждому различно, смотря по его темпераменту, по его положению, по степени и по условиям его развития. Мне кажется, критик может идти по другому пути: он может не требовать от себя полной и бесстрастной объективности, не переноситься искусственно в чужое воззрение и оставаться полным человеком с живыми убеждениями, с ясно обозначенными и ни мало не скрываемыми симпатиями и антипатиями. Он может представить читателю сущность разбираемых им мыслей, потом развить свои идеи, показать между теми и другими точки соприкосновения и разногласия, защитить свои положения от нападок и возражений, могущих притти на ум читателю, и, наконец, представить самому читателю выбор между ним и предметом его рецензии.

«*«Du choc des opinions jaillit la vérité»* \*», говорит известная поговорка, и если это изречение справедливо, то объективность не всегда может быть признана в критике великим достоинством. Трудно быть субъективнее Маколея<sup>7</sup>, а между тем никто не упрекнёт знаменитого историка ни в пристрастии, ни в узкой односторонности. Личности оживают под

\* Из столкновения мнений рождается истина.—Ред.

Его пером и отдают полный отчёт в своих поступках, в своих мыслях и побуждениях; перед глазами читателя происходит величавый процесс, в котором живой и умный англичанин, оратор и парламентский боец являлся то обвинителем, то адвокатом выводимой личности, смотря по тому, куда влечёт его голос совести и личного убеждения. Кроме описываемой и разбираемой исторической личности, читатель видит перед собой образ критика, видит, как меняется выражение этого умного и подвижного лица, слышит в его дикции то сочувствие, то негодование, то иронию, то одушевление, которые возбудили бы во всяком энергическом человеке те или другие явления жизни и человеческой мысли. Излишнее увлечение может, конечно, повредить ясности взгляда, но с даровитым критиком этого случиться не может.

У кого деятельность анализирующей мысли преобладает над потребностью самостоятельного творчества, кто по темпераменту более критик, чем художник, тот даже в минуту энтузиазма не вдаётся в фантазёрство. В эти минуты, когда полнее дышит грудь, когда живее бьётся сердце, в эти минуты быстрее работает мозг, смелее и оригинальнее льются мысли, и кропотливый контроль над этой ускоренной деятельностью анализирующего ума оказывается так же бесполезен, как бесполезно труженическое шлифование лирических стихов, вылившихся из души истинного поэта в минуты искреннего волнения. Талант всегда имеет свою оригинальную физиономию, и ему трудно отрешиться от этой физиономии, чтобы бы он ни писал, художественное ли произведение или критическое исследование, он положит на него свою печать и не погонится за искусственным спокойствием тона и за умышленной объективностью.

Когда говорят о Платоне, то всякий развитой человек понимает, что от него нельзя требовать того, чего мы теперь потребовали бы от любого студента; никто не думает сравнивать его даже с каким-нибудь современным обскурантом, никто не ставит ему в вину ребячество многих его политических воззрений и тенденций; но, воля ваша, признавая его сыном своего народа и своей эпохи, мы не можем относиться с почтительной и бесстрастной вежливостью к его чравственным и политическим теориям. Предмет близок к сердцу, потому что Платон захватывает в свои исследования такие вопросы, которые постоянно на очереди и которые человечество в каждом поколении решает и перерешает по-своему.

К таким вопросам остаётся совершенно равнодушной только кабинетная учёность почтенного Целлера и похвальная скромность его усердного последователя г. Клеванова..

В благоговении к Платону, выражаящемся в книге г. Клеванова, не слышино горячего сочувствия; г. Клеванов на каждой странице свидетельствует Платону своё почтение, но ни разу, излагая его мысли, не обнаруживает того воодушевления, с которым живой человек всегда выскажет свою задушевную мысль, своё заветное убеждение. Язык г. Клеванова везде остаётся гладок, ровен, методичен; мысли медленно развиваются одна из другой; изложение ясно, правильно, вяло и утомительно. С этой минуты я могу устраниТЬ личность г. Клеванова из моей критической статьи; он верно следует Целлеру и передаёт мысли Платона, не разбирая их и не обнаруживая к ним действительного сочувствия. По общему тону изложения можно предположить, что г. Клеванов — идеалист, но дальнейшее разъяснение этого вопроса представляет так мало общего интереса, что мы предпочитаем перейти к самому Платону.

В личности этого греческого философа можно видеть на первом плане сильное поэтическое дарование, т. е. богатую фантазию и огромное стремление к творчеству. С отзывчивостью, свойственной поэту, Платон откликнулся всей своей жизнью, всей деятельностью на самый животрепещущий интерес эпохи, воплотившийся в личности Сократа. Дело Сократа было, действительно, так красиво и величественно на взгляд, что им не мудрено было увлечься. Человек незнатный, небогатый, неучёный, невзрачный берётся быть учителем нравственности для целого народа, старается влить живые соки и истопчённое национальное сознание, побеждает одной непосредственной искренностью убеждений знаменитейших диалектиков своего времени, перетягивает на свою сторону всю даровитую молодёжь и, наконец, падает жертвой реакции и до конца жизни сохраняет непоколебимую твёрдость и спокойное присутствие духа.

Смерть Сократа часто обезоруживает даже новейшую критику, готовую приступить с анатомическим ножом к диссекции его философской системы. Философия Сократа, говорят многие, хороша уже потому, что поддержала его в минуту смерти; он своей мученической кончиной, говорят многие, запечатлел своё учение. Этот аргумент будет иметь свою силу, если мы безусловно примем положение Сократа о том, что знать истину и делать добро — одно и то же; но мы этой ошибки не сделаем и сумеем, конечно, отделить область воли от области знания. Сократ умер, как мужчина, потому что был мужчиной, а не потому, что его поддерживали в минуту смерти положения его философии. Одна и та же мысль производит на различных людей различное впечатление;

из одной и той же школы выходят люди с различными наклонностями и стремлениями; человек — не пустая бутылка, в которую можно влить какую угодно жидкость. Смерть Сократа рисует только личность этого человека, не говоря ничего ни *pro*, ни *contra* его учения. Смерть Сократа доказывает, что Сократ был не фразёр, но не говорит нам, что он не мог ошибиться в теории или в жизни. Факты подтверждают моё мнение о том, что честность и стойкость Сократа принадлежали его личности, а не его учению.

В числе учеников и друзей Сократа мы находим Алкивиада и Крития<sup>8</sup>, главного предводителя олигархии, одного из 30-ти тиранов, — человека, которого имя по справедливости было ненавистно его современникам и согражданам. Ни Алкивиад, ни Критий не отличались ни политической честностью, ни стойкостью убеждений, стало быть, учение Сократа оказалось несостоительным, когда нужно было исправлять нравственность и переделывать природу человека. Но тем не менее личность Сократа не могла не зарекомендовать в глазах Платона проповедуемого им учения: Платон увлёкся личностью и сделался её ревностным прозелитом тем более, что философия Сократа открывала широкий простор фантазии и творчеству мысли.

Поэтический гений Платона получил решительный толчок и стал творить в том направлении, которое было ему указано любимым наставником. Во всём этом ещё не было большой беды, хотя, быть может, позволительно пожалеть о том, что поэт оставил светлый мир образов и картин и переселился в возвышенные, но холодные сферы отвлечённой мысли. Красота, к которой Платон стремился как художник, стала являться ему отрешённая от всякой внешней формы или, вернее, он сам старался отрешить её от формы, проникнуть в её общую сущность, уловить её в полной отвлечённости. Началось стремление к идеалу, т. е. к призраку, к галлюцинации. Богатая полнота жизни, рельефность материи, переливы линий и красок, пёстрое разнообразие явлений — всё, чем красна и полна наша жизнь, стало казаться Платону злом, ширмой, за которой насилино скрыта, как красавица в заколдованным тереме, истина мира, нетленная, неизменная, вечная красота.

Пылкая фантазия усилила эти мечты: галлюцинация Платона дошла до того, что он верил в действительное существование идеи отдельно от явления; идеализм сразу поднялся на такую поэтическую высоту вымысла и вместе с тем сразу дошёл до такого полного отрицания самых элементарных свидетельств опыта, какого, вероятно, он не достигал

никогда ни прежде, ни после Платона. Под творческой, размашистой кистью его создалась целостная, фантастически величественная картина мира. Димиург, Идеи, мировая душа, масса материи с её тупой инерцией, звёзды и светила, живущие своей жизнью и мыслящие в бесконечном пространстве, — всё это создаётся под пером Платона, начинает жить и дышать, всё это производит такое впечатление, как будто бы оно действительно существовало, и всё это только потому, что Платон крепко верит в своё создание, да ещё потому, что Платон — великий художник, подобный Гомеру, Данту или Мильтону.

Вся физика Платона есть чистое создание фантазии, не допускающее в слушателе тени сомнения, не опирающееся ни на одно свидетельство опыта, развивающееся само из себя и основанное на одной диалектической разработке идеи, положенной в основание. Платонизм есть религия, а не философия, и вот почему он имел такой громадный успех в мистическую эпоху падения язычества, вот почему он сохранён и взлелеян византийскими учёными, передан Италии и Европе в эпоху Возрождения, поставлен на незыблемый ньедестал и под разными именами живёт и теперь.

У кого нет самостоятельного творчества, тот примыкает к чужой фантазии и делается её адептом. Из многих подобных фантазий фантазия Платона отличается высоким полётом мысли и смелой концепцией общей картины. Немудрено, что к его идеям примыкают с полным сочувствием многие мистики, отличающиеся развитым умом и тонким эстетическим чувством. Платон верил в создания своей фантазии; он считал их за безусловную истину и ни разу не становился к ним в критические отношения; одна секунда сомнения, один трезвый взгляд могли разрушить всё очарование и рассяять всю яркую и великолепную галлюцинацию. Но этой роковой секунды в его жизни не было, и на всех сочинениях Платона легла печать самой фантастической и в то же время спокойной веры в непогрешимость своей мысли и в действительность вызванных ею призраков. Вера в самого себя тесно связана с умственной нетерпимостью, а умственная нетерпимость ждёт только удобного случая, чтобы воздвигнуть действительное гонение на диссидентов. Пока Платон остаётся в сферах отвлечённой мысли или, вернее, свободного вымысла, до тех пор он является чистым поэтом. Когда он входит в область существующего, он становится доктриниром.

Как вам понравится, например, понятие Платона о любви! Он в беседе «Пиршество» определяет любовь как стремле-

ние конечных существ обессмертить и увековечить себя в постоянно новых порождениях. Первая степень любви, по мнению Платона, есть любовь к прекрасным чувственным формам; вторая — любовь к прекрасным душам; третья и высшая степень любви — к прекрасным наукам и, наконец, как результат и венец дела — любовь к идее, которая порождает истинное познание и истинную добродетель (стр. 128). Очень понятно, что у человека, дошедшего до этой высшей квинтэссенции любви, не должно быть места для любви к женщине, стало быть, нравственное оскопление человечества во имя идеи должно быть конечной целью нормального развития. Вот к каким красивым результатам приводит доктринерское желание внести общую искусственно созданную идею во все живые явления и отправления жизни.

Доктринерство Платона идёт вразрез с действительностью и даже с его собственным жизненным опытом. Как художник Платон был очень восприимчив к пластической красоте; как здоровый и сильный мужчина, развившийся под небом цветущей Греции, он не думал останавливать своих эротических стремлений, и любовь к идее не мешала ему любить направо и налево... отдавая дань эпохе и народу... По злу было сделано: зерно аскетизма и вражды к материи было брошено; в эпоху Римской империи оно разрослось в учение новопифагорейцев и новоплатоников и, опираясь на Платона, принесло человечеству обильный плод добровольных заблуждений и бессмысленных самоистязаний. Кто не был поэтом подобно Платону, тот требовал от себя последовательности и страдал от разлада, существовавшего между идеей и жизнью, не понимая того, что идея берётся из жизни, а не жизнь располагается по данной программе. Для такого человека являлась необходимость бороться с самим собою, и лучшие силы несчастного идеалиста уходили на бесплодную нравственную гимнастику, на отчаянную ломку, на искоренение страстей, на сглаживание самых своеобразных и жизненных черт своей физиономии. Такого рода идеализм тяготел над Рудиными и Чулкатуринами прошлого поколения; он породил наших грызунов и гамлетиков, людей с ограниченными умственными средствами и с бесконечными стремлениями. Смешно выводить этих господ от Платона, но можно заметить, что эти дряблые и хилые личности страдают именно той болезнью, которую Платон воспел в своих философских творениях как лучшую принадлежность человечества и как единственное отличие человека от животного.

Доктринерство Платона проходит через всё его нравственное учение. Платон здесь, как и в своей физике, не смотрит

на то, что даёт жизнь; он не изучает естественных стремлений человеческой природы, да и к чему изучать? Абсолютная истина, в существование которой всей душой верит поэт-мыслитель, находится не в явлении, а где-то вне его, высоко и далёко, в таких сферах, куда может залететь пылкое воображение, но куда не поведёт критическое исследование, основанное на изучении фактов. Платон считает себя полным обладателем этой драгоценной, хотя и невесомой истины; он утверждает, правда, что «душе в здешней жизни невозмож но достигнуть вполне чистого воззрения на истину» (стр. 141); но это положение вовсе не ведёт к тем следствиям, каких можно было от него ожидать; видно, что оно не проникает особенно глубоко в сознание Платона. Платон допускает то обстоятельство, что смерть может открыть его духу более обширный мир знаний, но не видно, чтобы он сознавал неудовлетворительность своего наличного капитала, не видно, чтобы он сомневался в верности своих идей; то, что он знает или создаёт творческой фантазией, кажется ему безусловно верным и не допускает над собой никакого контроля. Вследствие этого Платон говорит в своей нравственной философии: должно думать так-то, поступать так-то, стремиться к тому-то. Эти приказания отдаются человечеству с высоты философской мысли, не допускают ни комментариев, ни возражений и требуют себе безусловного повиновения. Черты народного характера, коренные свойства человеческой природы возмущаются против этих указов Платона, но это несколько не смущает гордого мыслителя, упоённого созерцанием своих творений.

Всё, что не согласно с его инструкциями, признаётся ложным, случайным, незаконным, препятствующим общему благу всего человечества. А кто же, спросите вы, создал это понятие общего блага? Генерал-от-философии Платон, отвечу я, и бедное человечество, опекаемое его неусыпными трудами, лишено даже права голоса в таком деле, которое называется его общим благом. Добро, по словам Платона, должно быть предметом всякой человеческой деятельности; к добру должен стремиться каждый человек, потому что обладание добром составляет собою благополучие (стр. 209).

Добро или благо — понятие чрезвычайно широкое и способное расширяться до бесконечности; для голодного кусок хлеба есть высшее благо, для влюблённого — благосклонный взгляд любимой женщины, для служащего человека — внимание начальника, повышение в чине и орден в петличку, для поэта — минута творчества и т. д. и т. д. И все эти господа правы с своей точки зрения; и если мы отнесёмся иронически

ко многим людским стремлениям и в то же время с уважением упомянем о других, то мы сделаем это только потому, что сами стоим ближе к одним и можем их лучше понимать и полнее им сочувствовать. Если один гастроном любит пить за обедом херес, а другой портвейн, то, вероятно, в целом мире не найдётся такого критика, который мог бы доказать ясно и объективно, что один из двух любителей прав, а другой ошибается. По логическому закону надо допустить, что предпочтение г. А. к хересу, а г. Б. к портвейну происходит или от физиологической причины, т. е. от особенностей нёба, гортани или желудка, или от исторической причины, т. е. от приобретённой привычки. Пристрастие г. А. к хересу, а г. Б. к портвейну может подвергнуть того и другого разным неприятностям и испытаниям. Если г. А. попадёт в общество любителей портвейна, то при неумении нашего общества уважать чужое мнение вкус его найдут странным, быть может даже испорченным, вокруг него будут пожимать плечами, на него будут смотреть удивлёнными глазами; далее, если г. А. попадёт в какой-нибудь маленький уездный городок, в котором нет порядочного хереса, то ему будет предстоять печальная альтернатива отказаться от любимого напитка и приняться за другое вино или остаться верным самому себе и с несокрушимой твёрдостью переносить лишение. Находясь в положении г. А., одни пошли бы по одному пути, другие по другому, и, мне кажется, можно выразить предположение, что ни тех, ни других не осудило и не прославило бы общественное мнение. Но вот в чём беда: когда надо судить о хересе и портвейне, мы остаёмся спокойными, хладнокровными, мы рассуждаем просто, здраво и довольно искусно, хотя часто бессознательно владеем диалектическим оружием; но когда заходит речь о высоких предметах, тогда мы сейчас же принимаем постную физиономию, становимся на ходули и начинаем говорить высоким слогом, согласно с эстетическими требованиями прошлого столетия. Мы позволяем нашему ближнему иметь свой вкус в отношении к закуске и десерту, но беда ему будет, если он выразит самостоятельное мнение о нравственности, и ещё более беда, чуть не побиение камнями, или *Камнем*<sup>9</sup>, если он проведёт свои идеи в жизнь, даже в своём домашнем быту. Если взвесить дело простым здравым смыслом, то мы имеем право требовать от нашего соседа только того, чтобы он не вредил нашей особе материальным насилием, чтобы он не портил умышленно нашей собственности и чтобы он не присвоивал её себе мошенническими проделками.

Рассуждать о его новедении вне этих трёх случаев мы,

конечно, имеем полное право, потому что, сколько мне кажется, нет той вещи в мире, которую нельзя было бы взять предметом разговора или критического анализа. Но, рассуждая таким образом о личности и поведении нашего соседа, мы должны помнить, если желаем быть логичны, что наши суждения о его нравственности настолько же имеют безусловное значение, насколько имеет его, например, мнение о том, что брюнетки красивее блондинок или наоборот. Ведь пора же, наконец, понять, господа, что общий идеал так же мало может предъявить прав на существование, как общие очки или общие сапоги, сшитые по одной мерке и на одну колодку. Если вы станете носить чужие очки, вы испортите глаза; если пройдёте вёрст пять в чужих сапогах, вы в кровь изотрёте ноги; если вы навяжете себе на спину котомку чужих убеждений, вы изнеможете под этой неестественной обузой, вы выбьетесь из сил, поправляя и привязывая её к себе покрепче, а кончится всё-таки тем, что котомка отвалится и пропадёт где-нибудь на пыльной дороге, но воротить потраченные силы часто бывает очень мудрено, воротить потерянное время всегда невозможно, и свежесть первой молодости, доверие к самому себе почти всегда отрывается вместе с котомкой идеала и вместе с ней заваливается в дорожной пыли.

Надо же, наконец, понять, что идеал не есть даже отвлечённое понятие, а просто сколок с другой личности; всякий идеал имеет своего автора, как всякая народная песня имеет не только родину, но даже и составителя. Добраться до имени того и другого всегда бывает очень трудно и в большей части случаев совершенно невозможно; но, составляя нравственный портрет одного лица — портрет иногда польщённый, иногда просто обесцвеченный, — идеал годится только для того, с кого он снят, или для тех людей, которые совершенно подходят к нему по темпераменту, по внешнему положению и по внутренним силам. Но трудно найти двух людей, совершенно сходных лицом; полное же нравственное сходство двух самостоятельно развившихся личностей составляет такое редкое явление, какого, кажется, и не встретишь во всей истории человечества; есть много бесцветных и безличных субъектов, задавленных какими-нибудь внешними обстоятельствами, пригнанных на одну колодку общественной дисциплиной или отшлифованных на один образец тираническими законами моды и этикета; посмотришь на них — они все покажутся похожими между собой и лицом, и голосом, и манерами; всякая оригинальность, выражаяющаяся в образе жизни, в причёске, в одежде, кажется в подобном обществе

дерзостью, нарушением закона, оскорблением нравственности. Живой человек с сожалением посмотрит на такое общество; зачем, подумает он, эти господа добровольно поддерживают придуманные законы, от которых каждому отдельному лицу приходится терпеть лишения? Этот вопрос, вероятно, кажется вам здравым, а между тем все эти господа, стесняющие свою личную свободу во имя придуманных или наследованных законов, все до последнего — идеалисты, хотя, конечно, многие из них и не слыхали никогда этого слова.

Наше светское общество, наш *beau monde*, битком набито идеалистами, сознательно и бессознательно стремящимися к отвлечённому совершенству. *Un jeune homme comme il faut, une jeune personne charmante*\* — эти два почётных титула, которыми награждает общество за усердное исполнение его устава, составляют в то же время заглавие двух идеалов, к которым, смотря по различию полов, стремится множество молодых людей, одарённых свежими силами и задатками развития. Эти молодые люди гибнут в нравственном отношении, сохнут и мельчают, оттого что стараются во имя идеала уничтожить свою личность или те зародыши, из которых при благоприятных условиях могла бы развиться самостоятельная индивидуальность. Множество браков по расчёту, множество проделок сомнительного свойства, множество дуэлей делаются не для удовлетворения той или другой страсти, а во имя идеала или из страха перед общественным мнением, стоящим у подножия воздвигнутого им кумира. «Это принято», «это не принято» — вот те слова, которыми в большей части случаев решаются житейские вопросы; редко случается слышать энергическое и честное слово: «я так хочу» или «не хочу», а между тем каждый имеет разумное право произнести это слово, когда дело идёт о нём и об его личных интересах. Принято и не принято значит другими словами согласно и не согласно с модным идеалом; следовательно, идеализм тяготеет над обществом и, сковывая индивидуальные силы, препятствует разумному и всестороннему развитию.

Отвергая общий идеал, я не думаю отвергать необходимость и законность самосовершенствования. Я не считаю стремление к совершенству обязанностью человека. Сказать, что это обязанность, так же смешно, как сказать, что человек обязан дышать и принимать пищу, расти кверху и толстеть в ширину. Самосовершенствование делается так же естественно и непроизвольно, как совершаются процессы дыхания, кровообращения и пищеварения. Чем бы вы ни зани-

\* Приличный молодой человек, прекрасная молодая особа. — Ред.

мались, вы с каждым днём приобретаете большую техническую ловкость, больший навык и опытность. Это делается совершенно бессознательно и помимо вашего желания, и это правило может быть применено не только к какому-нибудь ремеслу, но и к жизни. Все мы, несмотря на различие состояния, образования и положения в обществе, живём мыслью и чувствами, хотя деятельность нашей мысли тратится на самые разнородные интересы и хотя деятельность наших чувств возбуждается самыми разнокалиберными предметами. Все мы воспринимаем и перерабатываем впечатления, и чем больше мы живём, тем большую техническую ловкость мы приобретаем в этом занятии. Существование житейской опытности не подлежит сомнению; её признают и уважают грамотный и неграмотный, образованный европеец и австралийский дикарь; эта опытность есть результат само-совершенствования; процесс её приобретения есть процесс бессознательного, чисто растительного умственного развития; этот процесс может встретить себе случайное содействие или случайное препятствие в окружающей обстановке, точно так же как процесс пищеварения может быть нарушен нездоровой пищей или восстановлен моторикой и воздержанием.

Наблюдения над природой человека, приведённые в систему и составившие собою собирательную науку, медицину, указывают на те предметы и на те отправления, которые вредят человеческому организму или приносят ему пользу. Сообразуясь с предписаниями науки, человек может вести правильный образ жизни, сберегающий его силы и содействующий его физическому благосостоянию. Но ни один порядочный медик не предпишет всем своим пациентам общую гигиену; он непременно изучит сначала темперамент каждого и потом расположит свои предписания, сообразуясь с собранными материалами. В образованном обществе люди вообще больше думают о себе, нежели в простом народе, отчасти потому, что на это представляется больше средств и досуга, отчасти потому, что образование развивает и укрепляет самосознание.

Образованный класс более простого народа заботится о своём здоровье, поддерживает его искусственными средствами и разными предосторожностями старается предотвратить могущее произойти расстройство. Точно такие же гигиенические меры по отношению к своему умственному развитию и нравственному совершенствованию принимает человек, сознавший в себе умственную личность и заботящийся о нормальности своих интеллектуальных отправлений. Положим, я сознал в себе стремление и способность к научным занятиям и, следуя внутреннему побуждению, принимаюсь читать и изучать исто-

риков и мыслителей. Не поставлю же я себе, подобно Берсеневу, идеалом Т. Н. Грановского или П. Н. Кудрявцева. Не стану же я подражать ни Маколею, ни Нибуру, ни Тьери, ни Гизо, как бы велико ни было мое уважение к этим передовым представителям человеческой мысли. Я себе не поставлю впереди никакой цели, не задамся никакой предвзятой идеей; я не знаю, к каким результатам я приду, и меня вовсе не занимает вопрос о том, что я сделаю в жизни; меня занимает самый процесс делания; я вижу, что никому не мешаю своей деятельностью, и на этом основании считаю себя правым перед собой и перед целым миром; я работаю и стараюсь облегчить себе труд или (что то же самое) вынести из каждого своего усилия возможно большее количество наслаждения; это, по моему мнению, альфа и омега всякой разумной человеческой деятельности. Процесс умственного развития и нравственного совершенствования допускает некоторые гигиенические приёмы, но, конечно, одни и те же приёмы не могут быть применены даже к двум неделимым. Эти приёмы состоят, конечно, не в том, чтобы пригонять личность к известному образцу; основанные на изучении самого неделимого, эти приёмы клонятся только к тому, чтобы дать больше простора и разгула индивидуальным силам и стремлениям.

Эмансирировать свою личность не так просто и легко, как кажется; в нас много умственных предубеждений, много нравственной робости, мешающей нам свободно желать, мыслить и действовать; мы сами добровольно стесняем себя собственным влиянием на свою личность; чтобы избегнуть такого влияния, чтобы жить своим умом в своё удовольствие, надо значительное количество естественной или выработанной силы, а чтобы выработать эту силу, надо, может быть, пройти целый курс нравственной гигиены, который кончится не тем, что человек приблизится к идеалу, а тем, что он сделается личностью, получит разумное право и сознает блаженную необходимость быть самим собою. Я стану избегать вредного для меня общества пустых людей по тому же побуждению, по которому с простуженными зубами не подойду к открытому окну, но я нисколько не возведу этого себе в добродетель и не найду нужным, чтобы другие подражали моему примеру. Надеюсь, что я достаточно оттенил различие, существующее между стремлением к идеалу и процессом самосовершенствования. Вероятно, я не сказал ничего нового, но полагаю, что всякое самостоятельное убеждение имеет право выразиться в слове, хотя бы сотни людей исповедывали его в продолжение десятков и сотен лет. Кроме того, вопрос об идеализме живёт и будет жить до тех пор,

пока будут существовать мистические теории и неосуществимые стремления; стало быть, разъяснение этого вопроса, как бы ни было оно слабо и поверхностно, теперь ещё не может быть излишним и несвоевременным.

Возвращаюсь к нравственной философии Платона. Как я уже говорил выше, добро, по мнению Платона, должно быть для человечества предметом деятельности и источником высших наслаждений. Понятие добра существует у него как абсолютная идея и не приводится ни в малейшую зависимость от личности и положения *понимающего* субъекта. Что это самостоятельное, абсолютное понятие добра на самом деле есть произведение мозга Платона, это, кажется, не требует доказательства; человек мыслит только своим мозгом, точно так же как он варит пищу только своим желудком и дышит только своими лёгкими. Любопытно заметить, что Платон, ставящий служение добру в непременную обязанность всему человечеству, сам не вполне выяснил себе свои собственные представления о сущности и физиономии этого добра. В своих беседах «Теэтет» и «Федон» и в трактате о «Государстве» Платон смотрит на все чувственные явления — как на зло, на наше тело — как на враждебное начало, на нашу жизнь — как на время заточения в глубоком и мрачном вертепе. Смерть представляется минутой освобождения, так что при этом воззрении остается только непонятным, почему Платон не ускорил для себя этой вожделенной минуты, почему он в теории не оправдал самоубийства и почему он воспел благость Димиурга, виновника нашего заточения и всех связанных с ним зол и страданий.

В других беседах Платона, например в «Филебе», высшее добро определяется как полное примирение чувственного начала с духовным, как гармоническое слияние того и другого, и средствами произвести это слияние почитаются изящные искусства и в особенности музыка. В враждебном отношении Платона к чувственному миру видно усилие могучего ума оторваться от родимой почвы, которая его воскормила и возрастила. Поэт-мыслитель хочет отрешиться от народного характера, от колорита окружающей действительности, от своей собственной плоти и крови. Грек, гражданин свободного города, здоровый и красивый мужчина, к которому по первому призыву соберутся на роскошный пир друзья и гетеры, старается во что бы то ни стало доказать себе, что в этом мире всё — зло: и полная чаша вина, и жгучая ласка красивой женщины, и аромат цветов, и звуки лиры, и звучный гекзаметр, и даже дружба, которая, по мнению греков, была выше и чище любви. Эти усилия доказать себе и другим

то, против чего говорит свидетельство пяти чувств, не вызваны никакой действительной причиной и потому решительно не носят на себе печати искреннего воодушевления.

Романтизм возникает обыкновенно в эпоху бедствий и страданий, когда человеку нужно где-нибудь забыться, на чём-нибудь отвести душу; я несчастлив здесь, мне здесь душно, тяжело, больно дышать, так я успокоюсь, по крайней мере, в той вечно-светлой, вечно-тихой и тёплой атмосфере, которую создаёт моё воображение и куда не проникнут ни горе, ни заботы, ни стоны страдальцев. Романтизм искренний, вызванный самой почвой, зарождается в эпоху Римской империи и развивается с особенной силой в средние века; отрицание доходит до ужасающих размеров; пропадает всякая вера в благородные стороны и побуждения человеческой природы, и вместо этой здоровой веры в действительность доходит до степени галлюцинации вера в действительное существование и недостижимое совершение призрачного, заоблачного мира фантазии.

Сенека, Тацит, Марк Аврелий<sup>10</sup> в своих сочинениях выражают с полной искренностью и с замечательной силой момент грусти, негодования против настоящего и полного сомнения в будущем. Новоплатоники, эссеяне и египетские терапевты<sup>11</sup>, средневековые рыцари, монахи и отчасти трубадуры воплощают в себе момент романтического стремления оторваться от действительности и унастись в лучший, сверхчувственный мир. У всех этих господ романтизм был потребностью души; в Риме после Августа порядочному человеку невозможно было жить полной жизнью; каждый день совершались самые отвратительные злодеяния: предательства, доносы, пытки, казни, игры гладиаторов, истязания рабов, апофеозы разных нравственных уродов и кретинов — всё это поневоле должно было ожесточить самого добродушного оптимиста. Мыслящим людям того времени оставались только две дороги: или удариться в самый широкий разгул чувственности, или дать полную свободу своему воображению, утешаться его светлыми созданиями и во имя этих созданий вступить в открытую вражду со всей действительностью, начиная с собственного тела. По первому пути пошли эпикурейцы, по второму между прочими — новоплатоники. Люди с трезвым критическим умом не могли верить в создания собственной фантазии и предпочитали, за неимением лучшего, грубые, но действительные наслаждения более тонким, но совершенно призрачным утешениям. Эпикуреизм и новоплатонизм, разгул чувственности и умерщвление плоти вызваны одною историческою причиною.

Идти путём средины, т. е. проводить в жизнь теоретические убеждения и черпать свои идеи из житейского опыта, сделалось невозможным, потому что жизнь располагалась по воле немногих личностей и делалась жертвой случайности и произвола; тогда явились две крайности: одни совершенно отказались от идеи и стали искать наслаждения в физических отправлениях жизненного процесса; другие совершенно отказались от жизни и стали любоваться построениями своего мозга. Оба направления должны быть оправданы как непроизвольные и естественные отклонения от обыкновенного порядка вещей. Но если мы перенесёмся к эпохе Платона, то трудно будет себе представить, что могло вызвать с его стороны враждебные отношения к физическому миру явлений. Ни нравственное, ни политическое состояние Греции во время Пелопоннесской войны<sup>12</sup> и после её окончания не было до такой степени плохо, чтобы привести мыслителя в отчаяние и вызвать с его стороны безусловное осуждение. Многие стороны греческого быта, например рабство и *известного рода разврат*, могли бы возмутить человека нашей эпохи, но Платон не относился к ним строго и не понимал их отвратительности. Рабы остаются рабами в его идеальном государстве, а разврат он идеализирует, видя в нём эстетическое стремление и набрасывая покрывало на физические последствия...

Платон, как известно, составил проект идеального государственного устройства и, кажется, старался даже осуществить свой политический идеал в Сиракузах, в Сицилии. Из этого следует заключение, что он верил в возможность земного счастья и что существующие в наличии материалы не казались ему настолько негодными, чтобы из них было невозможно построить прочное и красивое здание. Как же после этого понимать враждебное отношение Платона к чувственному миру? Мне кажется, его должно понимать только как теоретический вывод платоновой мысли, которому не сочувствовала и на который даже не обращала внимания живая человеческая природа поэта-мыслителя. Всё скверно в материальной жизни, говорит доктрина Платона; напротив, всё прекрасно и способно сделаться ещё лучше, возражает его поэтическое чувство, и этот голос непосредственного чувства поддерживается примером его собственной жизни, светлым колоритом его фантазий и чувственной яркостью самых, по-видимому, отвлечённых его представлений. Поэт-мыслитель постоянно ищет образа и воплощает свои идеи в формы, заимствованные из мира материи; этим самым он показывает, что этот мир вовсе не внушиает ему отвращения и что вели-

кая идея не оскверняется от соприкосновения с чувственным явлением. Но Платону было необходимо указать на источник и возможность зла; это такой вопрос, которого не обойдёшь ни в какой философской системе, ни в каком поэтическом миросозерцании. Приписать зло воле Димиурга было мудрено; против подобной мысли возмущались и здравая логика, и эстетическое чувство Платона.

Навязать добруму и мудрому существу все гадости и несовершенства человеческой жизни значило уничтожить возможность его существования и перевернуть вверх дном всю красивую систему платонова мироздания. Олицетворить зло в отдельном понятии, создать идею зла и противопоставить её идее добра было также невозможно. Это подало бы по-возд к неисчислимым и неразрешимым вопросам и противоречиям. Если зло вечно, то, стало быть, оно естественно, а если оно естественно, то оно не есть зло. Если Димиург воплощает в себе идею могущества и отличается самыми благими стремлениями, то он хочет и должен истребить зло, а если он не истребляет его, то, стало быть, он не в силах сделать этого. Чтобы избежать подобных противоречий, Платон обращается к материю и путём диалектических доводов доказывает, что она-то есть невольная и бессознательная причина зла. Принуждённый признать инертное могущество и вечность материи, существующей помимо воли Димиурга и только получающей от него свою форму, Платон доходит до теоретического убеждения, что зло есть свойство материи. Создавая какое-нибудь существо, Димиург кладёт на материю печать известной идеи, но материя слишком груба, чтобы воспринять этот отпечаток в полной ясности и чистоте; материал сопротивляется руке художника, и это невольное сопротивление даже олицетворяется у Платона под именем неразумной мировой души; в этом сопротивлении и лежит начало зла.

Из этого видно, что пессимизм Платона не вытек живою струёю из его непосредственного чувства и не был вызван обстоятельствами и обстановкой его жизни, а выработан путём умозаключений и никогда не проникал глубоко в его личность. Противоречие, в которое впадает Платон, развивая почти рядом два, чуть не диаметрально противоположных, миросозерцания, открывает нам одну из симпатичнейших сторон его личности. Это противоречие ясно показывает, что доктринёр не мог победить в Платоне поэта и человека и что живые инстинкты и живые симпатии его души вылились наружу, не стесняясь мёртвою буквою писанной системы. Но, между тем, доктрина развивается своим чередом; Платон как мыслитель выводит крайние следствия своей философии.

ской системы, а Платон как человек и жизнью и словом протестует против порождений своей собственной мысли. Впечатлительный, изменчивый и подвижный, как истинный поэт, он противоречит самому себе и сам того не замечает, сам не думает о том, чтобы как-нибудь сблизить и примирить два противоположных воззрения.

Обращаясь так нецеремонно с собственными теориями, Платон не допускает подобной свободы для других; его возмущают существующие непоследовательности и уклонения от разумности в сфере частной и государственной жизни. Не будучи в состоянии внести строгое единство даже в мир собственной мысли, он хочет подчинить неизменным законам все явления человеческой жизни, водворить строгую правильность и разумность во все отношения между людьми в семействе и в государстве. На место живого развития жизни он хочет поставить неизменное и неподвижное создание своей творческой мысли. Трактат Платона о государстве не есть произведение свободной фантазии, не есть красивая игрушка, которой житейскую бесполезность и неприменимость сознавал бы сам творец. Это почти проект, и любимой мыслью Платона было привести его в исполнение. Перестроить общество на новый лад, заставить целый народ жить не так, как он привык и как ему хочется, а так, как, по моему убеждению, ему должно быть полезно, — это, конечно, такая задача, за которую теперь не взялся бы ни один здравомыслящий человек. Во время Платона такая задача была, вероятно, так же неисполнима, как и теперь, но на вид она должна была казаться гораздо легче уже потому, что греческая народность была разбита на множество мелких государств и что оратор, стоя на площади в Афинах, мог говорить чуть не с целой национальностью.

Сословие свободных и полноправных граждан было очень ограничено в сравнении с целым народонаселением; это сословие одно имело возможность изменять по своему благоусмотрению физиономию государства, а умами этого сословия действительно мог управлять любимый оратор или писатель. Это обстоятельство, конечно, не могло повести к тому, чтобы законы и учреждения, придуманные одним лицом и не воспитанные самой почвой, могли остановить поток исторической жизни или дать ему произвольное направление; но оно могло, по крайней мере, внушить Платону обманчивые надежды; оно могло уверить его в возможности составлять и прикладывать к делу проекты государственного устройства.

Мы до сих пор видели Платона как поэта, как доктрина; не разделяя его фантастических бредней, мы принуждены

были признавать в его созданиях много искреннего воодушевления, много смелости и силы воображения; не сочувствуя его нравственным принципам, мы не могли отказать им во внутренней стройности и последовательности. Этой последовательности не повредила даже двойственность его взоров на материю и её отношения к человеческому духу; как мыслитель, задавшийся известной идеей, Платон смело дошёл до крайних выводов; как живой человек он пошёл совершенно другой дорогой и доказал, таким образом, в одно и то же время силу своей творческой мысли, крепость своей физической природы и невозможность втиснуть жизнь в узкие рамки теории.

Словом, в конце концов можно вывести заключение, что Платон имеет несомненные права на наше уважение как сильный ум и замечательный талант. Колossalные ошибки этого таланта в области отвлечённой мысли происходят не от слабости мысли, не от близорукости, не от робости ума, а от преобладания поэтического элемента, от сознательного презрения к свидетельствам опыта, от самонадеянного, свойственного сильным умам стремления вынести истину из глубины творческого духа, вместо того чтобы рассмотреть и изучить её в единичных явлениях. Несмотря на свои ошибки, несмотря на полную несостоительность своей системы, Платон может быть назван по всей справедливости родоначальником идеалистов.

Составляет ли это обстоятельство важную заслугу пред лицом человечества — это, конечно, такой вопрос, на который ответят различно представители различных направлений в области отвлечённой мысли; но как бы ни был решён этот вопрос, всё-таки никто не откажет Платону в почётном месте в истории науки. Есть такие гениальные ошибки, которые оказывают возбудительное влияние на умы целых поколений; сначала увлекаются ими, потом к ним становятся в критические отношения; это увлечение и эта критика долгое время служат школой для человечества, причиной умственной борьбы, поводом к развитию сил, руководящим и окрашивающим началом в исторических движениях и переворотах. Но Платон не остановился в области чистого мышления и не понял того, что, пренебрегая опытом и единичными явлениями, нельзя понимать истинного смысла исторической и государственной жизни. Он взялся за решение практических вопросов, не умея их даже поставить, как следует; его попытки в этом роде до такой степени слабы и несостоительны, что они распадаются в прах от самого лёгкого прикосновения критики; в этих попытках нет ни разумной любви к челове-

честву, ни уважения к отдельной личности, ни художественной стройности, ни единства цели, ни нравственной высоты идеала.

Представьте себе причудливое и некрасивое здание, с арками, фронтонами, портиками, бельведерами и колоннадами, не имеющими никакого практического назначения, и вы получите понятие о том впечатлении, которое производят на читателя трактаты Платона о *государстве* и о *законах*. «Первая цель государства, — по мнению Платона, — сделать граждан добродетельными, обеспечить вещественное и нравственное благосостояние всех и каждого» (стр. 223). Новые исследователи, например Вильгельм Гумбольдт («Ideen zu einem Versuch die Grenzen der Wirksamkeit des Staats zu bestimmen»)<sup>13</sup>, смотрят на дело иначе и определяют государство как охранительное учреждение, избавляющее отдельную личность от оскорблений и нападков со стороны внешних и внутренних врагов. Этим определением они избавляют взрослого гражданина от своеобразной и непрошенной опеки, которая в продолжение всей жизни тяготеет над ним в государстве Платона. Оставляя в стороне неверность основного взгляда, мы увидим, что даже та цель, которою задаётся Платон, не может быть достигнута теми средствами и приёмами, которые предлагаются в его трактатах. Граждане должны быть добродетельны, а между тем Платон предписывает им такие оскорбительные стеснения, против которых возмущается нравственное и эстетическое чувство; уму читателя представляется такая дилемма: или граждане как порядочные люди не вынесут этого стеснения, и тогда все учреждения Платона пойдут прахом; или они подчинятся этим стеснениям и, систематически развращённые ими, потеряют способность быть добродетельными. Добродетель, даже как понимает её Платон, и соблюдение законов в его идеальном государстве составляют два несовместимых начала. Мудрость, мужество, самообладание и справедливость представляются четырьмя главными добродетелями в нравственной философии Платона. Спрашивается, которая из этих четырёх добродетелей отнимает у человека право свободной критики и приводит к безусловному повиновению? Если же ни одна из этих добродетелей не пригодна для послушных граждан идеального государства, то это значит, что Платон отделяет идеал человека от идеала гражданина.

Многие мыслители древности, между прочими и Аристотель в своей «Политике», говорят, что добродетель доступна только полноправным гражданам и не существует ни для раба, ни для ремесленника, ни для женщины. Но Платон,

подчиняя *всех* граждан своего государства неестественным и оскорбительным стеснениям, идёт гораздо дальше. Он даёт обществу такое устройство, которое самым фактом своего существования делает невозможным не только осуществление идеала, но даже стремление к нему. Со стороны мыслителя, по понятиям которого вне идеала нет спасения, такого рода распоряжения должны показаться чрезвычайно оригинальными. Если идеал человека неосуществим даже теоретически в гражданском обществе, то из этого следует заключение, что человеку следует жить и развиваться вне общества, или же что пресловутый идеал есть бесполезная игрушка праздного воображения. Ни то, ни другое заключение не понравилось бы Платону, но устраниТЬ оба заключения можно, только отказавшись от утопической теории или перестроив идеал.

В государстве Платона есть чиновники, воины, ремесленники, торговцы, рабы и самки, но людей нет и не должно быть. Каждая отдельная личность есть известной формы и величины винт, шестерня или колесо в государственном механизме; кроме этой служебной должности, он ни в каком кругу не имеет никакого значения; он не сын, не брат, не муж, не отец, не друг и не любовник. С минуты рождения его отрывают от груди матери и помещают в воспитательный дом; его не показывают родителям в продолжение нескольких лет, и его происхождение умышленно забывается; его воспитывают наравне со всеми детьми его возраста, и он, как только начинает помнить и сознавать себя, чувствует, что он — казённая собственность, не связанная ни с кем и ни с чем в окружающем его мире. Он вырастает и получает известную должность; его делают воином, и военные упражнения становятся главным его занятием и развлечением; в эти упражнения он, как хороший гражданин, обязан влагать те остатки энергии и души, которых не успело засушить школьное воспитание. Когда у него появляется борода и развивается мужская сила, его осматривает и свидетельствует *особый сановник* (стр. 265) и потом приводит к нему молодую девушку, которая, по его убеждению, годится ему в жёны. Приплод идёт на пользу общества, и с ним поступают точно так же, как поступали с его родителями. Когда мужчина становится стариком, его делают гражданским чиновником и определяют в одно из существующих ведомств; он становится судьёю, казначеем или воспитателем юношества, смотря по тому, на что его найдут годным. Занятие торговлей или ремеслом считается унизительным для полноправного гражданина и запрещено законами.

Внешние формы, в которые должны воплотиться эти политические убеждения, едва набросаны в сочинениях Платона. Он считает нужным, чтобы во главе государства стояли достойнейшие и мудрейшие, но ему решительно всё равно, будет ли там один мудрейший или несколько мудрейших.

Демократическая форма правления ему противна как аристократу по рождению и как человеку, считающему себя неизмеримо выше массы по умственным силам и по нравственному достоинству. Вот несколько выписок из книги г. Клеванова, в которых эта сторона теории Платона очерчена довольно ясно. «Относительно вопроса: правительство должно ли быть основано на согласии народа или действовать на него силой, Платон прямо высказывает убеждение, что если нужно согласие масс народа, то никакие самые благоразумные учреждения не могут быть никогда приведены в действие. Сознавший свои обязанности правитель должен поступать с зависящими от него людьми, как благоразумный врач; не спрашиваясь их согласия, волей-неволей должен давать им горькое, но полезное лекарство» (стр. 225).

«Далее Платон говорит, что неблагоразумно было бы мудрого правителя стеснять законами» (стр. 225). «Вообще Платон приходит к решительному убеждению, что массы народа неспособны управлять сами собою и что невозможно требовать, чтобы им когда-нибудь было доступно и понятно истинное искусство управления» (стр. 226). «Но Платон, имея самое несъгодное понятие о степени нравственного развития масс народных, не мог допустить, чтобы большинство людей подвластных терпеливо и с покорностью сносило власть мудрецов; а потому Платон должен был вооружить своих правителей-философов такой властью, которой было бы достаточно для приведения, в исполнение их распоряжений; вследствие этого они должны были иметь всегда под руками достаточное число деятельных и способных исполнителей. Таким образом уяснилась для Платона потребность в отдельном сословии воинов, которое должно иметь целью своей деятельности не столько защиту государства извне, сколько поддержание внутри него порядка и общественного спокойствия» (стр. 229). «А потому Платон в своём трактате о государстве, запрещая ложь частному человеку, допускает обман как средство управления в руках властителей» (стр. 218).

Эти выписки прямо показывают, что, по понятиям Платона, со стороны правителей не существует обязанности в отношении к управляемым личностям; обман, насилие, произвол допускаются как средства управления. Законы нравственности, существующие для частных лиц, теряют обязательную

силу для государственных деятелей. Они должны быть мудрыми, но право судить о степени их мудрости отнимается у наиболее заинтересованных личностей и предоставляется, кажется, одному Димиургу. С одной стороны, произвол имеет только те границы, на которых он сам заблагорассудит остановиться. С другой стороны, покорность не имеет никаких пределов. Если она начинает ослабевать, её следует подкреплять искусственными средствами, нравственными или физическими, слабыми или сильными, смотря по комплекции пациента и по благоусмотрению врача. Устранение вредных влияний должно играть важную роль в курсе воспитания или лечения, которому должны подвергаться граждане идеального государства. Гомер изгоняется как безнравственный сказочник. Мифы пересочиняются и пропитываются высокими идеями. Статуи Аполлона и Афродиты в интересах приличия прикрываются костюмом. Чтобы соседние народы не могли вводить в соблазн граждан идеального государства, сношения с иностранными землями должны быть по возможности затруднены и ограничены: «Путешествия за границу дозволены только людям зрелого возраста, и при том не иначе, как или для собственного образования, или для государственных целей. По возвращении граждане должны подвергаться испытанию, не принесли ли они с собою вредных убеждений» (стр. 267). Разбирать подобные положения бесполезно; они сами говорят за себя очень громко и красноречиво.

Позволю себе заметить, что, к чести человечества, дух политических идей Платона никогда не пытался завоевать себе место в действительности. Сумасброднейшие деспоты — Ксеркс персидский, Калигула и Домициан<sup>14</sup> — никогда не пробовали почерком пера уничтожить семейство и поставить свой народ на степень конского завода. К счастью для своих подданных, эти господа не были философами; они казнили людей для препровождения времени, но по крайней мере они не реформировали человечества и не старались систематически развратить своих сограждан. Просвещённые и умные деспоты вроде Людовика XI, Тиверия и Фердинанда Католического<sup>15</sup> оказывали на своих подданных сознательное влияние, но их проекты и отдалённейшие мечты никогда не достигали того величия и той смелости, которыми отличаются идеи Платона. Стремления у них были общие; но, увлекаясь поэтическим гением, Платон проводит эти стремления с беспримерной силой; злейшим врагом этих стремлений был могучий дух критики и сомнения, элемент свободного мышления и личной оригинальности, и этот элемент ненавистен Платону; нрав-

ственной опорой им служила вывеска народного блага, и этой же вывеской пользуется Платон; материальной поддержкой их было войско, и эта же самая сила имеет важное место в государстве Платона. Эти правители подобно мудрецам идеального государства считали себя достойнейшими и лучшими из своих сограждан — людьми, призванными быть воспитателями и врачами неразвившегося и нравственно больного человечества. Римские пытки и казни, испанская инквизиция, походы против альбигойцев, клетка кардинала La Balue, костёр Гусса, Варфоломеевская ночь<sup>16</sup>, Бастилия и проч., и проч. могут быть названы *горькими, но полезными* лекарствами, которые в разные времена и в разных дозах врачи человечества давали своим пациентам *волей неволей, не спрашиваясь их согласия*. Принцип, проведённый Платоном в его трактатах о государстве и о законах, небезызвестен новейшей европейской цивилизации.

1861 г.  
10 апреля

---

# СХОЛАСТИКА XIX ВЕКА

## VII

Стремление к серьёзности, господство теорий, переходящих порою в рутину, отвлечённость и вследствие этого безжизненность содержания и неясность внешней формы составляют неотъемлемое достояние нашей современной критики. Она гордится этими свойствами и держит в запасе несколько казённых фраз, которыми эти слабости и недостатки возводятся в высшие достоинства: отворачиваться от явлений действительности значит служить вечным интересам мысли; туманные отвлечённости называются философией; даже самый осязательный недостаток — неясность формы — не встретил себе до сих пор определённо выраженного протеста в печати. Словом, средневековая схоластика и египетская символистика живут в нашей периодической литературе, несмотря на изобретение Гуттенберга<sup>17</sup>, которое, как мы знаем по самым элементарным учебникам, должно было разбить замкнутость учёного сословия и сделать науку достоянием массы. Схоластика оправдывается условиями своего времени; египетская символистика вытекла из религии и поддерживалась народным характером, любившим таинственность и мистический мрак; но в наше время схоластическое отчуждение от жизни и символическая загадочность выражения составляют печальный архаизм. Попытки некоторых критиков построить эстетическую теорию и уяснить вечные законы изящного решительно не удались и не удались именно потому, что наш век уже не ловится на теории и не повинуется слепо вымыщенным законам. Прошли те времена, когда Буало и Батте<sup>18</sup>, законодатели ложного классицизма, могли произвольно обрезывать область творчества и выбрасывать из неё всё низкое (т. е. невысокое) и пошлое (т. е. обыдённое). У нас в журнальной критике был момент, когда теория сразилась с интересами жизни и употребила все усилия, чтобы повернуть движение мысли туда, куда требовалось, согласно с буквою эстетиче-

ского закона; схватка, происшедшая между теоретиками и практиками, была жаркая, и, как того следовало ожидать, теоретики не остановили течения жизни и отошли в сторону, пожимая плечами. Дело шло об обличительной литературе. Надо было решить, законное ли оно явление или нет. Собственно говоря, в решении этого вопроса никто не нуждался; публика с наслаждением читала «Губернские очерки» Щедрина<sup>19</sup>, нисколько не заботясь о том, осудит или оправдает его наша критика; но рьяные систематики, любящие систему для системы, не могли быть спокойны, пока не нашли той категории, в которую можно было включить произведения нового беллетриста. Эти систематики восстали против обличительной литературы и с фанатическим жаром вступились за отвлечённое понятие искусства. Г-н Ахшарумов<sup>20</sup> поместил даже в «Отечественных записках» 1858 года статью под громким заглавием «Порабощение искусства». Словом, господа теоретики так горячо вступились за отвлечённое понятие, как вступаются только за живого человека, когда ему ~~ханосят~~ тяжёлое оскорбление. Слушая их, можно было подумать, что не повести и романы пишутся для того, чтобы удовлетворить творческому стремлению авторов и доставить публике эстетическое наслаждение, а, наоборот, писатели и публика существуют — первые для того, чтобы писать, а последняя для того, чтобы читать художественные произведения. Теория здесь, как и везде, посягала на свободу писателей и читателей; здесь, как и везде, она обнаруживала крайнюю близорукость и крайнее незнание жизни. Она хотела переделать жизнь по-своему и подчинить своим приговорам творчество художника и вкус ценителя. Она не поняла того, что протест был насущной потребностью русского общества в лице наиболее развитых его представителей; она не захотела вникнуть в то, что протест мог выразиться только в изящной словесности и что на этом основании наши протестанты с жадностью ухватились за эту форму. Критика отстала от общества и от изящной словесности и, толкуя об истории, сама забыла приложить историческую оценку к невиданному явлению. Она заговорила об абсолютных законах творчества и не сообразила того, что абсолютной красоты нет и что вообще понятие красоты лежит в личности ценителя, а не в самом предмете. Что на мои глаза прекрасно, то вам может не нравиться; что приходилось по вкусу нашим отцам, то может наводить на нас сон и дремоту. Негритянка, которая своему соотечественнику покажется воплощением красоты, наверное не понравится европейцу. Красота чувствуется, а не меряется аршином; требовать, чтобы худо-

жественное произведение приводило зрителей или слушателей в одинаковое настроение, значит желать, чтобы у всех этих господ равномерно бился пульс, а сделать это очень трудно; нам известно из истории, что Карл V во время своего пребывания в монастыре св. Юста<sup>21</sup> при всех усилиях не успел привести к равномерному ходу двух стенных часов. Человеческий организм будет посложнее стенных часов; к тому же он образуется и развивается помимо нашей воли; из этого следует заключение, что законодатели-эстетики напрасно стараются добраться до таких законов, которые на практике признало бы всё человечество. Вы можете рядом силлогизмов доказать мне, что такое-то произведение художественно, но если это произведение не действовало на мою нервную систему, то, прочитавши вашу рецензию, я останусь к нему так же холоден, как и прежде. Если, стоя перед картиною, вы предварительно отдаёте себе отчёт в правильности рисунка, в верности выражения и в живости колорита, а уже потом начинаете наслаждаться общим впечатлением, то это доказывает, что картина писана не художником, а трудолюбивым и учёным техником, или что вы, ценитель, до такой степени пропитаны теоретическими знаниями, что научный элемент задушит в вас живое чувство и непосредственную восприимчивость к явлению красоты. Это значит, что вы заучились и что ваши мыслительные силы развились в ущерб остальным направлениям вашего организма. Мы, обыкновенные люди, идём обратным путём, от синтеза к анализу, т. е. сначала чувствуем впечатление, а потом отдаём себе отчёт в причинах этого впечатления. Если я не почувствовал красоты, то не стану справляться с мнением знатоков, а подожду, пока большое количество жизненного опыта не даст мне средств самостоятельно насладиться данным произведением или пока тот же жизненный опыт не покажет мне, что я был прав перед собственной личностью, пройдя совершенно равнодушно мимо этого произведения.

Личное впечатление, и только личное впечатление, может быть мерилом красоты. Пусть всякий критик передаёт нам только то, как на него действовало то или другое поэтическое произведение; пусть он даёт публике отчёт в своём личном впечатлении, и тогда каждая критическая статья будет так же искренна и жива, как лирическое стихотворение истинного поэта, тогда рецензия будет создаваться, вытекать из души критика, а не строиться механически, как строится она теперь. Тогда критика будет делом таланта, и бездарность не будет в состоянии укрыться за чужую теорию, пре-

вратно понятую и превратно передаваемую. Это, конечно, *pia desideria* \*. Бездарность никогда не откажется от критической деятельности уже потому, что не сознаёт себя бездарностью. Бездарность никогда не откажется от теории потому, что ей необходим критериум, на котором можно было бы строить свои приговоры, необходима надёжная стена, к которой можно было бы прислониться. Ведь высказывается же в нашей журналистке мнение о том, что литература наша *страдает* отсутствием авторитетов («Отечественные записки», 1861, февраль, «Русская литература», стр. 76), точно будто вера в авторитет или в теорию составляет необходимое условие жизни. Если такое мнение до сих пор высказывается даже в догматической форме, то, очевидно, оно будет жить очень долго, может быть даже никогда не умрёт, потому что, вероятно, не переведутся в обществе такие люди, которые по вялости и робости мысли не решаются стать на свои ноги и постоянно напрашиваются к кому-нибудь под умственную опеку. Тем не менее было бы очень хорошо, если бы вера в необходимость теории была подорвана в массе читающего общества. Строго проведённая теория непременно ведёт к стеснению личности, а верить в необходимость стеснения значит смотреть на весь мир глазами аскета и истязать самого себя из любви к искусству.

В вопросе об обличительной литературе теория эстетики выказала всю свою несостоятельность. Дело было так просто, что возвести его в теоретический вопрос и толковать о нём больше трёх лет могли только метафизик Хемницера<sup>22</sup> да пани заучившаяся критика. Дело состояло в том, что в журналах рядом с некоторыми замечательными очерками Щедрина стали появляться посредственные рассказы и сцены с обличительными стремленьцами и с худо скрытой нравоучительной целью. Посредственные беллетристические произведения ни в какой литературе не составляют редкости, а у нас ими хоть пруд пруди; каждый журнал ежемесячноносит на алтарь отечества свою посильную лепту, в течение года возникает от 60 до 80 повестей, и, конечно, в этом числе по крайней мере 9/10 никуда не годятся. Литературные посредственности обладают обыкновенно значительной гибкостью, потому что они делают, а не творят свои произведения. Увидя успех щедринских рассказов, эти господа пустились в подражание, и можно сказать положительно, что они хорошо сделали. Их повести не могли иметь художественного значения ни в каком случае; когда они взялись

\* Добрые пожелания. — Ред.

за обличение, их очерки получили житейский интерес. Пушкин в своём стихотворении «Поэт и чернь» спрашивает:

Жрецы ль у вас метлу берут?

и, как известно, выражает ту мысль, что поэты созданы для песнопений, для звуков сладких и молитв. Я совершенно согласен с мнением Пушкина, но позволю себе один нескромный вопрос: неужели можно назвать жрецами искусства гг. Колбасина, Карновича, С. Фёдорова, Основского, г-жу Вахновскую, Нарскую, г. Кугушева <sup>23</sup> etc. etc.? Мне кажется, эти господа могут смело взять метлу в руки, нисколько не роняя своего достоинства. Красота формы им недоступна; пускай же они рассказывают интересные житейские случаи, это будет гораздо занимательнее для читателя, чем те сентиментально-бледные романы, которые производят г-жи Нарская и Вахновская. Но наша критика увидала в наплыве обличительных очерков новое направление, опасное для искусства, точно будто сфера искусства доступна для людей без дарования и точно будто истинное дарование может сбиться с пути каким-нибудь господствующим направлением. Явились также защитники обличительной литературы, доказывавшие, что гражданский протест есть прямая обязанность искусства. Спорящие стороны были достойны друг друга и одинаково смешны для беспристрастного наблюдателя. Я бы им посоветовал проехать мимо Академии художеств, прочитать на фронтоне надпись «Свободным художествам» и подумать о смысле этих слов. Спорящие стороны вспомнили бы, может быть, что свобода в выборе и обработке сюжета так же необходима для художника, как для нас с вами воздух и пища, что ни наталкивать художника на какую-нибудь задачу, ни насилино оттаскивать его от неё нельзя; они поняли бы тогда, может быть, что искренний крик негодования, вырвавшийся у художника при виде общественных гадостей, составляет такой же драгоценный момент его творческой деятельности, как спокойное созерцание прекрасного образа; другая сторона поняла бы, что этот крик негодования только тогда действительно силен, когда он не подделан, а вырывается невольно из груди действительно раздражённого человека; она поняла бы, следовательно, что сердиться на художника за отсутствие подобных криков значит посягать на его личную свободу и заставлять человека плакать или смеяться, когда ему не грустно или не смешно. Что же касается до обличительного мусора <sup>24</sup>, завалившего наши журналы 1857 и 1858 годов, то обе стороны хорошо бы сделали, если бы совершенно не спорили о нём.

Мусор — явление неизбежное, и никакое направление литературы его не уничтожит; если же выбирать из двух зол лучшее, то, конечно, можно выбрать обличительный род, который хоть не изображает жизни, но по крайней мере рассказывает о ней. Замечательно, что до сих пор состязание двух направлений нашей критики не прекратилось или не забыто. Г. — бов<sup>25</sup> до наших времён в начале каждой статьи прохаживается насчёт эстетической критики, а Григорьев<sup>26</sup> оплакивает падение истинной поэзии, видит в Тургеневе последнего могикана чистого искусства и даже в последней, очень туманной, статье своей, «Об идеализме и реализме» («Светоч», 1861, апрель), является робким ходатаем идеализма, который, по его мнению, воплотился в Тургеневе. Обе стороны, т. е. критики, старающиеся запрячь поэзию в воз, и критики, стремящиеся к беспредельности и к вечной красоте, спорят между собою, делают друг на друга колкие намёки, обижаются ими, отвечают на них упрёками,— и хоть бы один раз на досуге они подумали: «Из чего мы хлопочем? Кого интересуют наши кровавые споры? Зачем и на что мы тратим энергию? На кого наши слова будут иметь влияние?» Да, господа, Крылов не умрёт, и его басня «Муха и дорожные» не раз найдёт себе приложение.

## VIII

Наше время ренительно не благоприятствует развитию теорий. Народ хигре стал, как выражаются наши мужики, и ни на какую штуку не ловится. Ум наш требует фактов, доказательств; фраза нас не отуманит, и в самом блестящем и стройном создании фантазии мы подметим слабость основания и произвольность выводов. Фанатическое увлечение идеей и принципом вообще, сколько мне кажется, не в характере русского народа. Здравый смысл и значительная доля юмора и скептицизма составляют, мне кажется, самое заметное свойство чисто русского ума; мы более склоняемся к Гамлету, чем к Дон-Кихоту, нам мало понятны энтузиазм и мистицизм страстного адепта. На этом основании мне кажется, что ни одна философия в мире не привьётся к русскому уму так прочно и так легко, как современный здоровый и свежий материализм. Диалектика, фразёрство, споры на словах и из-за слов совершенно чужды этому простому учению. До фраз мы, конечно, большие охотники, но нас в этом случае занимает процесс фразёрства, а не сущность той мысли, которая составляет предмет рассуждения или

споря. Русские люди способны спорить о какой-нибудь высокой материи битых шесть часов и потом, когда пересохнет горло и охрипнет голос, отнесись к предмету спора с самой добродушной улыбкой, которая покажет ясно, что, в сущности, горячившемуся господину было очень мало дела до того, о чём он кричал. Эта черта нашего характера привела бы в отчаяние добросовестного немца, а в сущности, это пресимпатичная черта. Фанатизм подчас бывает хорош как исторический двигатель, но в повседневной жизни он может повести к значительным неудобствам. Хорошая доза скептицизма всегда вернее пронесёт вас между разными подводными камнями жизни и литературы. Эгоистические убеждения, положенные на подкладку мягкой и добродушной натуры, сделают вас счастливым человеком, не тяжёлым для других и приятным для самого себя. Жизненные переделки достанутся легко; разочарование будет невозможно, потому что не будет очарования; падения будут лёгкие, потому что вы не будете взбираться на недосягаемую высоту идеала; жизнь будет не трудом, а наслаждением, занимательной книгой, в которой каждая страница отличается от предыдущей и представляет свой оригинальный интерес. Не стесняясь других непрошенными заботами, вы сами не будете требовать от них ни подвигов, ни жертв; вы будете давать им то, к чему влечёт живое чувство, и с благодарностью или, вернее, с добрым чувством будете принимать то, что они добровольно будут вам приносить. Если бы все в строгом смысле были эгоистами по убеждениям, т. е. заботились только о себе и повиновались бы одному влечению чувства, не создавая себе искусственных понятий идеала и долга и не вмешиваясь в чужие дела, то право, тогда привольнее было бы жить на белом свете, нежели теперь, когда о вас заботятся чуть не с колыбели сотни людей, которых вы почти не знаете и которые вас знают не как личность, а как единицу, как члена известного общества, как неделимое, носящее то или другое фамильное прозвище.

Возможность такого порядка вещей представляет, конечно, неосуществимую мечту, но почему же не отнесись добродушно к мечте, которая не ведёт за собою вредных последствий и не переходит в мономанию. Мир мечты может тоже сделаться обильным источником наслаждения, но этим источником надо воспользоваться с крайней осторожностью. Самый крайний материалист не отвергнет возможности наслаждаться игрою своей фантазии или следить за игрою фантазии другого человека. В первом случае на первом процессе основан процесс поэтического творчества; на втором —

процесс чтения поэтических произведений. Но, с другой стороны, самый необузданный идеализм происходил именно от того, что элемент фантазии получал слишком много простора и разыгрывался в чужой области, в области мысли, в сфере научного исследования. Пока я сознаю, что вызванные мною образы принадлежат только моему воображению, до тех пор я тешусь ими, я властвую над ними и волен избавиться от них, когда захочу. Но как только яркость вызванных образов ослепила меня, как только я забыл свою власть над ними, так эта власть и пропала; образы переходят в призраки и живут помимо моей воли, живут своей жизнью, давят, как кошмар, оказывают на меня влияние, господствуют надо мною, внушают мне страх, приводят меня в напряжённое состояние. Так, например, пелазг создавал свою первобытную религию и падал во прах перед созданием собственной мысли. Галлюцинация его была ослепительно ярка; критика была слишком слаба, чтобы разрушить мечту; борьба между призраком и человеком была неровная, и человек склонял голову и чувствовал себя подавленным, пригнутым к земле...

Шутить с мечтой опасно, разбитая мечта может составить несчастье жизни; гоняясь за мечтою, можно прозевать жизнь или в порыве безумного воодушевления принести её в жертву. У так называемых положительных людей мечта принимает формы более солидные и превращается в условный идеал, наследованный от предков и носящийся перед целым сословием или классом людей. Идеал человека соптим *il faut*\*, человека дальского, хорошего семьянина, хорошего чиновника — всё это мечты, которым многое приносится в жертву. Эти мечты более или менее отравляют жизнь и мешают беззаветному наслаждению. Да как же жить, спросите вы, неужели без цели? Цель жизни! Какое громкое слово и как часто оно оглушает и вводит в заблуждение, отуманивая слишком доверчивого слушателя. Посмотрим на него поближе. Если вы поставите себе целью такую деятельность, к которой стремится ваша природа, то вы дадите себе только лишний труд: вы бы сами пошли по тому пути, на который навело вас размышление; непосредственный инстинкт натолкнул бы вас на прямую дорогу, и натолкнул бы, может быть, скорее и вернее, нежели навёл тщательный анализ; если же, боже упаси, вы поставите себе цель, несовместную с вашими наклонностями, тогда вы себе испортите жизнь: вы потратите всю энергию на борьбу

\* Как следует, приличного. — Ред.

с собой; если не победите себя, то останетесь недовольны; если победите себя, то вы сделаетесь автоматом, чисто рас-  
судочным, сухим и вялым человеком. Страйтесь жить пол-  
ной жизнью, не дрессируйте, не ломайте себя, не давите ори-  
гинальности и самобытности в угоду заведённому порядку  
и вкусу толпы — и, живя таким образом, не спрашивайте о  
цели; цель сама найдётся, и жизнь решит вопросы прежде,  
нежели вы их предложите.

Вас затрудняет, может быть, один вопрос: как согласить эти эгоистические начала с любовью к человечеству? Об этом нечего заботиться. Человек от природы — существо  
очень доброе, и если не окислять его противоречиями и  
дрессировкой, если не требовать от него неестественных  
нравственных фокусов, то в нём, естественно, разовьются  
самые любовные чувства к окружающим людям, и он будет  
помогать им в беде ради собственного удовольствия, а не из  
сознания долга, т. е. по доброй воле, а не по нравственному  
принуждению. Вы подумаете, может быть, что я указываю  
вам на *état de la nature*\*, и обратите моё внимание на то,  
что дики, живущие в первобытной простоте нравов, да-  
леко не отличаются добродушием и доводят эгоизм до пол-  
нейшей животности. На это я отвечу, что дики живут при  
таких условиях, которые мешают свободному развитию ха-  
рактера: во-первых, они подчинены влиянию внешней при-  
роды, между тем как мы успели уже от него избавиться; во-вторых, они верят в те призраки, о которых я говорил  
выше; в-третьих, они более или менее стремятся к услов-  
ному идеалу, и идеал у них один, потому что вся их деятель-  
ность ограничивается охотой и войной; присутствие этого  
идеала оказывает самое стеснительное влияние на живые  
силы личности. Из всего этого следует заключение, что раз-  
витие неделимого можно сделать независимым от внешних  
стеснений только на высокой степени общественного разви-  
тия; эманципация личности и уважение к её самостоятель-  
ности являются последним продуктом позднейшей цивили-  
зации. Дальше этой цели мы ещё ничего не видим в про-  
цессе исторического развития, и эта цель ещё так далека,  
что говорить о ней значит почти мечтать. Набросанные  
мною мысли, вылившиеся из глубины души, составляют  
основу целого миросозерцания; вывести все последствия  
этих идей не трудно, и я надеюсь, что читатель, если захо-  
чет, будет в состоянии по начертанному плану воссоздать  
в воображении всё здание. К сожалению, наша критика не

\* Первобытное состояние. — Ред.

высказала до сих пор этих идей и относилась к эгоизму как к пороку, а в фокусах и подвигах самопожертвования видела высокую добродетель. До сих пор, касаясь философии жизни, она считает идеал совершенной необходимостью и в стремлении к идеалу, в сознании долга видит самые живые стороны человеческой личности и деятельности. Стремление к наслаждению она называет свойством чисто животным, но допускает, однако, что из этого же источника может развиться благородное и высокое стремление к само-совершенствованию. Система глубоко вкоренилась в нашу нравственную философию и хозяйствует в области человеческих мыслей и чувств, не обращая никакого внимания на самого хозяина. Теоретикам нет дела до того, что есть в наличии; они говорят: так должно быть, поворачивают всё вверх дном и утешаются тем, что внесли симметрию и систему в живой мир явлений. Кто хоть понаслышке знаком с философией истории Гегеля, тот знает, до каких поразительных крайностей может довести даже очень умного человека мания всюду соваться с законами и всюду вносить симметрию. Если вы читали в «Отечественных записках» прошлого года прекрасную статью Вагнера<sup>27</sup> «Природа и Мильн-Эдвардс», то вы могли убедиться в том, что в сфере естественных наук рьяное систематизирование ведёт к поразительным и осознательным нелепостям. Внесённая в область человеческой нравственности, система не ведёт к таким явным нелепостям только потому, что мы привыкли смотреть на вещи её глазами; мы живём и развиваемся под влиянием искусственной системы нравственности; эта система давит нас с колыбели, и потому мы совершенно привыкаем к этому давлению; мы разделяем этот гнёт системы со всем образованным миром и потому, не видя пределов своей клетки, считаем себя нравственно свободными.

Но, оставаясь для нас незаметным, это умственное и нравственное рабство медленным ядом отравляет нашу жизнь; мы умышленно раздваиваем своё существо, наблюдаем за собою, как за опасным врагом, хитrim перед собою и ловим себя в хитрости, боремся с собою, побеждаем себя, находим в себе животные инстинкты и ополчаемся на них силою мысли; вся эта глупая комедия кончается тем, что перед смертью мы, подобно римскому императору Августу, можем спросить у окружающих людей: «Хорошо ли я сыграл свою роль?» Нечего сказать! Приятное и достойное препровождение времени! Поневоле вспомнишь слова Нестора<sup>28</sup>: «Никто же их не биша, сами ся мучиху».

Материализм сражается только против теории; в практической жизни мы все материалисты и все идём в разлад с нашими теориями; вся разница между идеалистом и материалистом в практической жизни заключается в том, что первому идеал служит вечным упрёком и постоянным кошмаром, а последний чувствует себя свободным и правым, когда никому не делает фактического зла. Предположим, что вы в теории крайний идеалист, вы садитесь за письменный стол и ищете начатую вами работу; вы осматриваетесь кругом, шарите по разным углам, и если ваша тетрадь или книга не попадётся вам на глаза или под руки, то вы заключаете, что её нет, и отправляетесь искать в другое место, хотя бы ваше сознание говорило вам, что вы положили её именно на письменный стол. Если вы берёте в рот глоток чаю и он оказывается без сахара, то вы сейчас же исправите вашу оплошность, хотя бы вы были твёрдо уверены в том, что сделали дело как следует и положили столько сахара, сколько кладёте обыкновенно. Вы видите, таким образом, что самое твёрдое убеждение разрушается при столкновении с очевидностью и что свидетельству ваших чувств вы невольно придаёте гораздо больше значения, нежели соображениям вашего рассудка. Проведите это начало во все сферы мышления, начиная от низших до высших, и вы получите полнейший материализм: я знаю только то, что вижу или вообще в чём могу убедиться свидетельством моих чувств. Я сам могу поехать в Африку и увидеть её природу и потому принимаю на-веру рассказы путешественников о тропической растительности; я сам могу проверить труд историка, сличивши его с подлинными документами, и потому допускаю результаты его исследований; поэт не даёт мне никаких средств убедиться в вещественности выведенных им фигур и положений, и потому я говорю смело, что они не существуют, хотя и могли бы существовать. Когда я вижу предмет, то не нуждаюсь в диалектических доказательствах его существования: *очевидность есть лучшее ручательство действительности*. Когда мне говорят о предмете, которого я не вижу и не могу никогда увидеть или ощупать чувствами, то я говорю и думаю, что он для меня не существует. *Невозможность очевидного проявления исключает действительность существования*.

Вот каноника материализма, и философы всех времён и народов сберегли бы много труда и времени и во многих случаях избавили бы своих усердных почитателей от бес-

плодных усилий понять несуществующее, если бы не выходили в своих исследованиях из круга предметов, доступных непосредственному наблюдению.

В истории человечества было несколько светлых голов, указывавших на границы познания, но мечтательные стремления в несуществующую беспредельность обыкновенно одерживали верх над холодной критикой скептического ума и вели к новым надеждам и к новым разочарованиям и заблуждениям. За греческими атомистами следовали Сократ и Платон; рядом с эпикуреизмом жил новоплатонизм; за Бэконом и Локком, за энциклопедистами XVIII века последовали Фихте и Гегель; легко может быть, что после Фейербаха, Фохта и Молешотта возникнет опять какая-нибудь система идеализма, которая на мгновение удовлетворит массу больше, нежели может удовлетворить её трезвое миросозерцание материалистов. Но что касается до настоящей минуты, то нет сомнения, что одолевает материализм; все научные исследования основаны на наблюдении, и логическое развитие основной идеи, развитие, не опирающееся на факты, встречает себе упорное недоверие в учёном мире. Не последовательности выводов требуем мы теперь, а действительной верности, строгой точности, отсутствия личного произвола в группировке и выборе фактов. Естественные науки и история, опирающаяся на тщательную критику источников, решительно вытесняют умозрительную философию; мы хотим знать, что есть, а не догадываться о том, что может быть. Германия — отчество умозрительной философии, классическая страна новейшего идеализма — породила поколение современных эмпириков и выдвинула вперёд целую школу мыслителей, подобных Фейербаху и Молешотту. Филология стала сближаться в своих выводах с естественными науками и избавляется мало-помалу от мистического взгляда на человека вообще и на язык в особенности. Известный молодой учёный — Штейнтал<sup>29</sup>, комментировавший Вильгельма Гумбольдта в замечательной брошюре «Языкоzнание В. Гумбольдта и философия Гегеля», откровенно сознаётся в том, что умозрительная философия сама по себе существовать не может, что она должна слиться с опытом и из него черпать все свои силы; он понимает философию только как осмысление всякого знания и вне области видимых единичных явлений не видит возможности знания и мышления.

Не забудьте, что это голос из противоположного лагеря, голос со стороны гуманистов — людей, не привыкших обращаться с микроскопом и с анатомическим ножом и по са-

мому роду своих занятий расположенных искать высших причин и двигательных сил; если эти люди сходятся в своих идеях с натуралистами, то это доказывает, что доводы последних действительно имеют за себя неотразимую силу истины. Признание Штейнталя далеко не представляется нам единичным фактом, исключением из общего правила. Вот, например, что говорит Гайм<sup>30</sup> в своём предисловии к лекциям о философии Гегеля («Гегель и его время», стр. 9): «Есть души, которые никак не в состоянии обойтись без так называемых Бэконом *idola theatri*\* и потому постоянно будут страшиться скакка через широкий ров, отделяющий метафизическое от чисто исторически-человеческого. К числу таких людей принадлежат те, которые точку опоры ищут не в самих себе, но над собой и вне себя». Далее (стр. 11): «Господствующее в наше время удаление от занятий философией и всё более и более возрастающая самостоятельность исторической науки и естествоведения должны пользоваться, как всякий согласится, по крайней мере теми же правами, как и всякий другой факт».

Из этих слов Штейнталя и Гайма можно, кажется, вывести заключение, что умозрительная философия упала в общественном мнении учёного мира и что падение это признано даже теми людьми, которые ех *officio*, как ученики Гегеля и люди, занимающиеся философией, должны были отстаивать её права на существование. Посмотрим теперь в беглом очерке, как отнеслась к этим современным явлениям и вопросам наша критика и учёная литература.

## X

Прилично писать о философии для нас дело новое; семинарская философия существует уже давно, но она, к счастью, не находит себе читателей и ценителей вне пределов известной касты. Мёртвая доктрина г. Новицкого<sup>31</sup> и составителя «Философского лексикона»<sup>32</sup> ни для кого не может быть опасна. Она не от мира сего, и мир её не поймёт. Эти дряхлые явления могут быть смело пропущены критикой и оставлены без всякого внимания публикой. Можно сказать, что г. Антонович в своей рецензии «Философского лексикона» («Современник», 1861, февраль)<sup>33</sup> сражается с ветряными мельницами; было бы гораздо проще предложить читателям две-три выписки из этого произведения; читатели сразу поняли бы, в чём дело, и, вероятно, потеряли бы всякое желание

\* Буквально «иллюзии театра»; иллюзии, возникающие благодаря влиянию традиционных теорий. — Ред.

ние платить деньги за «Философский лексикон» такого сорта; бороться с идеями «Философского лексикона» недостойно развитого человека, да и просто не стоит, потому что эти идеи ни для кого не опасны уже по той допотопной форме, в которую они облечены; нужно было просто предохранить публику от бесполезных расходов, а эта цель могла быть достигнута с гораздо меньшей тратой труда и времени. Вполне сочувствуя свежему и здоровому направлению мысли, высказавшемуся в статье г. Антоновича, я позволяю себе выразить сожаление о том, что эти свежие силы потратились на опровержение чепухи, которая никого даже не введёт в заблуждение, которую наверное не возьмёт в руки ни один читатель «Современника».

В последние четыре года у нас стали появляться статьи философского содержания, до некоторой степени доступные читающей публике; в них толкуют, правда, об общем идеале, в них есть много туманных мест и бесполезной диалектики, но, по крайней мере, они не призывают небесных громов на головы не соглашающихся с ними мыслителей и спорят с ними умеренным тоном, не употребляя старославянских выражений, не приходя в священный ужас и не обнаруживая благочестивого негодования. Статьи г. Лаврова<sup>34</sup> о гегелизме, о механической теории мира, о современных германских теистах и др. обнаружили в авторе обширную начитанность и основательное знакомство с внешней историей философских систем. Эти два качества, довольно редкие в интеллигентных людях нашего времени, доставили г. Лаврову журнальную известность. Добраться до слабых сторон г. Лаврова наша критика не могла, потому что ей самой крепко приходится по душе неопределенность выводов и диалектические тонкости. Между тем слабая сторона этого писателя заключалась именно в отсутствии субъективности, в отсутствии определённых и цельных философских убеждений. Эта слабая сторона могла укрыться от глаз общества тогда, когда г. Лавров писал исторические очерки по философии и занимался изложением чужих систем; в подобном труде неопределенность личных убеждений автора может прослыть за историческое беспристрастие, за объективность и обратиться в положительное достоинство в глазах читателя. Но в нынешнем году в январской книжке «Отечественных записок» напечатаны три публичные лекции г. Лаврова под общим заглавием «Три беседы о современном значении философии». Уже это заглавие должно было подать надежду на то, что г. Лавров выскажет *свои* понятия о философии и открыто примкнёт к одной из двух партий, составляющих

великий раскол в современном философском мире, т. е. или заявит невозможность умозрительной философии или станет отстаивать её права на существование. Заглавия каждой отдельной беседы подавали ещё более заманчивые надежды; в них г. Лавров обещал объяснить, что такое философия в знании, что такое философия в искусстве и что такое философия в жизни. Читающее общество было вправе ожидать от этих бесед, что они уяснят ему современное движение в области философских наук и что они выдвинут вперёд целое миросозерцание, выработанное или по крайней мере переработанное самодеятельным умом современно развитого русского человека. Судя по предыдущим работам г. Лаврова, общество могло заключить, что у него в распоряжении находится много материалов и что в его беседах оно получит в популярной форме существенные результаты его долговременных и добросовестных занятий.

Вышло совсем не то. Беседы не коснулись современного значения философии, совершенно обошли вопросы, поднятые в этой области новейшей школой мыслителей, и не представили никакого определённого миросозерцания. Г-н Лавров с особым старанием скрыл свою личность так, что вы до неё решительно не доберётесь. Не решаясь высказать ни одного ясного и определённого суждения, г. Лавров не выходит из общих мест элементарной логики, психологии и эстетики, которую преподают в гимназиях под названием теории словесности. Мысли вытекают одна из другой; между ними есть связь, есть логическая последовательность, но для чего они текут, что вызвало их течение и к чему оно, наконец, приводит — это остаётся совершенно непонятным. Да что же такое, наконец, философия? Неужели это медицинская гимнастика мысли, шевеление «мозгами», — как говорит купец у Островского, которое начинается по нашей прихоти и прекращается по нашему благоусмотрению, не приведя ни к чему, не решив ни одного вопроса, не разбив ни одного заблуждения, не заронив в голову живой идеи, не отозвавшись в груди усиленным биением сердца? Да полно, философия ли это?.. Так разве же не философия двигала массы, разве не она разбивала дряхлые кумиры и расшатывала устарелые формы гражданской и общественной жизни? А XVIII век? А энциклопедисты?.. Нет, воля ваша, то, что г. Лавров называет философией, то отщено от почвы, лишено и плоти и крови, доведено до игры слов; это сколастика, праздная игра ума, в которую можно играть с одинаковым успехом в Англии и в Алжире, в Небесной империи и в современной Италии. Где

же современное значение подобной философии? Где её оправдание в действительности? Где её права на существование? Г-и Лавров предлагает вопрос: что такое я? Бьётся над этим вопросом в продолжение целой страницы и кончает тем, что находит вопрос о нашем я научно неразрешимым. Зачем же было его поднимать? Какая естественная, жизненная потребность влечёт к разрешению вопроса: что такое я? К каким результатам в области мысли, частной или гражданской жизни может привести решение этого вопроса? Искать разрешения подобного вопроса всё равно, что искать квадратуры круга. Философский камень, жизненный эликсир и *регретиум mobile*<sup>35</sup> — чрезвычайно полезные вещи в сравнении с этими гимнастическими фокусами мысли. Этих вещей никто не добудет, но по крайней мере, кто стремится к ним, тот стремится к осязательным благам и идёт к ним путём опыта, так что может на этом пути сделать случайно какое-нибудь неожиданное и полезное открытие. Самый вопрос о том, что такое я, и попытки г. Лаврова осветить этот вопрос с разных сторон останутся непонятными для человека, одарённого простым здравым смыслом и не посвящённого в мистерии философских школ; это обстоятельство, как мне кажется, служит самым разительным доказательством незаконности или, вернее, полнейшей бесполезности подобных умственных упражнений. Отгонять непросвещённую чернь (*profanum vulgus*) от храма науки — не в духе нашей эпохи; это негуманно, да и опасно. Г. Лавров этого, конечно, не желает, потому что сам открывает *публичные* лекции; если же все вообще, а не одни избранные, должны и желают учиться и размышлять, то не мешало бы выкинуть вон из науки то, что понимается немногими и не может никогда сделаться общедоступным. Ведь странно было бы называть гениальнейшим произведением Гёте вторую часть «Фауста», которую никто не понимает; точно так же странно называть мировою истиной или мировым вопросом такую идею или такой вопрос, которые смутно понимает незначительное меньшинство односторонне развитых людей. А как же не назвать односторонним и уродливым развитие таких умов, которые на всю жизнь погружаются в отвлечённость, ворочают формы, лишённые содержания, и умышленно отворачиваются от привлекательной пестроты живых явлений, от практической деятельности других людей, от интересов своей страны, от радостей и страданий окружающего мира? Деятельность этих людей указывает просто на какую-то несоразмерность в развитии отдельных частей организма; в голове сосредоточивается вся жизненная сила, и движение в мозгу,

удовлетворяющее самому себе и в себе самом находящее свою цель, заменяет этим неделимым тот разнообразный и сложный процесс, который называется жизнью. Давать такому явлению силу закона так же странно, как видеть в аскете или в скопце высшую fazu развития человека.

Отвлечённости могут быть интересны и понятны только для ненормально развитого, очень незначительного меньшинства. Поэтому ополчаться всеми силами против отвлечённости в науке мы имеем полное право по двум причинам: во-первых, во имя целостности человеческой личности, во-вторых, во имя того здорового принципа, который, постепенно проникая в общественное сознание, нечувствительно сглаживает грани сословий и разбивает кастическую замкнутость и исключительность. Умственный аристократизм — явление опасное именно потому, что он действует незаметно и не высказывается в резких формах. Монополия знаний и гуманного развития представляет, конечно, одну из самых вредных монополий. Что за наука, которая по самой сущности своей недоступна массе? Что за искусство, которого произведениями могут наслаждаться только немногие специалисты? Ведь надо же помнить, что не люди существуют для науки и искусства, а что наука и искусство вытекли из естественной потребности человека наслаждаться жизнью и украшать её всевозможными средствами. Если наука и искусство мешают жить, если они разъединяют людей, если они кладут основание кастам, так и бог с ними, мы их знать не хотим; но это неправда; истинная наука ведёт к осязательному знанию, а то, что осязательно, что можно рассмотреть глазами и ощутить руками, то поймёт и десятилетний ребёнок, и простой мужик, и светский человек, и учёный специалист.

Итак, с какой стороны ни посмотришь на диалектику и отвлечённую философию, она всячески покажется бесполезной тратой сил и переливанием из пустого в порожнее. Если разбирать публичные лекции г. Лаврова, то нужно, мне кажется, говоря о первых двух беседах, не следить шаг за шагом за автором, не опровергать его отдельные положения, не ловить его на частных противоречиях, а просто в нескольких крупных чертах показать полнейшую бесполезность всего предпринятого им труда. Г. Антонович («Современник», 1861, апрель) написал обширную рецензию первых двух лекций г. Лаврова<sup>36</sup>, провёл в этой рецензии свежий и современный взгляд на философию, но, сколько мне кажется, пустился в совершенно ненужные частности и тонкости. Восставая против диалектики, он сражается с нею диалектическим оружием; он доказывает логическую непоследова-

тельность тогда, когда следовало бы доказать практическую бесполезность. Дело не в том, верно ли решаются вопросы сущности вещей и о том, что такое я, а в том, нужно ли решать эти вопросы. Г. Антонович спорит с г. Лавровым как adept одной школы с adeptом другой; было бы, мне кажется, проще и полезнее для публики, если бы он стал на точку зрения совершенного профана и спросил бы: а какими знаниями и идеями обогатит меня ваша хвалёная философия? Один этот вопрос был бы, мне кажется, серьёзнее и радикальнее всего длинного ряда доказательств, которые г. Антонович выводит против г. Лаврова.

Обратив всё внимание своё на одну личность русского мыслителя, г. Антонович упускает из виду умозрительную философию вообще, между тем как её давно бы следовало отпеть и похоронить. Г. Лавров сделал попытку поговорить с нашим обществом об умозрительной философии; этот факт можно обсудить с двух сторон. Можно спросить, во-первых, уместна ли эта попытка и, во-вторых, удачно ли она выполнена? Первый вопрос имеет общий интерес; обсуждая его, мы толкуем о нуждах нашего общества и рассматриваем характер нашей эпохи. Второй вопрос относится чисто к личности г. Лаврова и имеет совершенно частный и, сравнительно с первым, узкий интерес. Между тем г. Антонович усиленно работает над вторым вопросом и не решает первого; мы узнаём от него, что г. Лавров — электик, и не узнаём того, годится ли на что-нибудь для нашего времени и для нашего общества умозрительная философия вообще. Словом, статья г. Антоновича наполнена прекрасными частностями, но этих частностей так много, что в них тонет общая идея, а именно эту общую идею и следовало выставить как можно резче. Замечу ещё, что г. Антонович напрасно ограничился разбором двух первых бесед г. Лаврова; третья беседа — о философии в жизни — отличается от двух первых большим количеством внутреннего содержания. Философские убеждения г. Лаврова высказываются, наконец, в более определённой форме и ведут к реальным выводам в сфере практической жизни. Об этой беседе стоит сказать несколько слов.

Г. Лавров говорит, во-первых, что цель жизни находится вне её процесса, который «в каждое мгновение есть только переходное, случайное выражение для того, что не может воплотиться вполне, что составляет высшее, существенное, относительно неизменное в человеке,— для его нравственного идеала».

Во-вторых, г. Лавров говорит, что самый грубый и элементарный взгляд на жизнь есть тот, при котором мы стре-

мимся только к наслаждению; «первое правило — ищи то, чем наслаждаемся,— доступно животному наравне с человеком, дикому наравне с образованным человеком, ребёнку наравне с мужем. Последнее — пренебрегай всем, кроме высшего блага, есть изречение, от которого не откажется самый строгий аскет; а, как известно, истинные аскеты — большая редкость между людьми».

Замечу мимоходом, что уроды тоже составляют большую редкость между людьми; их сохраняют даже в спирту!

В-третьих, г. Лавров говорит, что «человечность есть совокупление всех главных отраслей деятельности в жизни одной личности. Но она есть совокупление, а не смешение. Каждая деятельность, ставя свой вопрос, свою цель, свой идеал, резко отличается от другой, и одно из главных зол человечества заключается в недостаточном различении этих вопросов, в перенесении идеалов из одной области деятельности в другую».

А ведь если бы вовсе не было идеалов, тогда и переносить нечего было бы, и путаницы никакой не могло бы быть. Так зачем же ставить идеал необходимым условием развития?

Приведённые выписки показывают ясно, что г. Лавров склоняется к такому миросозерцанию, которое существенно отличается от мыслей, высказанных мною на предыдущих страницах. Я всё основываю на непосредственном чувстве; г. Лавров строит всё на размышлении и на системе; я требую от философии осязательных результатов; г. Лавров довольствуется бесцельным движением мысли в сфере формальной логики. Я считаю очевидность полнейшим и единственным ручательством действительности; г. Лавров придаёт важное значение диалектическим доказательствам, спрашивает о сущности вещей и говорит, что она непостижима, следовательно, предполагает, что она существует как-то независимо от явления. В области нравственной философии взгляды наши почти диаметрально противоположны. Г. Лавров требует идеала и цели жизни вне её процесса; я вижу в жизни только процесс и устраняю цель и идеал. Г. Лавров останавливается перед аскетом с особым уважением; я даю себе право пожалеть об аскете, как пожалел бы о слепом, о безруком или о сумасшедшем. Г-н Лавров видит в человечности какой-то сложный продукт разных нравственных специй и ингредиентов; я полагаю, что полнейшее проявление человечности возможно только в цельной личности, развившейся совершенно безыскусственно и самостоятельно, не сдавленной служением разным идеалам, не потратившей сил на борьбу с собой.

Я говорил, что, по моему мнению, критику лучше всего высказывать *свой* взгляд на вещи, делиться с читателями *своим* личным впечатлением; я так и сделал в отношении к г. Лаврову. Я поставил рядом с его воззрениями мои воззрения и предоставляю читателям полнейшую свободу выбрать те или другие или отвергнуть и те и другие. Я не старался убеждать в верности моих мыслей, не задавал себе задачи во что бы то ни стало поставить читателя на мою точку зрения. Умственная и нравственная пропаганда есть до некоторой степени посягательство на чужую свободу. Мне бы хотелось не заставить читателя согласиться со мною, а вызвать самодеятельность его мысли и подать ему повод к самостоятельному обсуждению затронутых мною вопросов. В моей статье наверное встретится много ошибок, много поверхностных взглядов; но это, в сущности, нисколько не мешает делу; если мои ошибки заметит сам читатель, это будет уже самодеятельное движение мысли; если они будут указаны ему каким-нибудь рецензентом, это опять-таки будет очень полезно: *du choc des opinions jaillit la vérité*\*, — говорят французы, и читатель, присутствуя при споре, будет сам рассуждать и вдумываться. Смею льстить себя одной надеждой: если бы статья моя вызвала какое-нибудь опровержение, то спор стал бы вертеться в кругу действительных и жизненных явлений и не перешёл бы в схоластическое *словопрение*. Я обсуживал явления нашей критики, руководствуясь голосом простого здравого смысла, и надеюсь, что если мне будут возражать, то возражения эти будут вытекать из того же источника и не будут сопровождаться непонятными для публики ссылками на авторитеты Канта, Гегеля и других.

Говоря о нашей философской литературе, я упомянул только о статьях г. Лаврова и считаю совершенно лишним обсуживать гг. Страхова и Эдельсона<sup>37</sup>; эти явления так бледны и чахлы, что об них не стоит упоминать, да и сказать-то нечего. Утомление и скука — вот всё, что можно вынести из чтения этих произведений; и возражать нечему и поспорить не с чем, так всё элементарно, утомительно ровно и невозмутимо спокойно. Г. Страхов считает нужным доказывать, что между человеком и камнем большая разница, а г. Эдельсон ни с того ни с сего начинает восторгаться идеей организма, а потом, также без видимой причины, начинает предостерегать учёных от излишнего увлечения этой идеей.

*Всю шатавшую языцы?*

---

\* Из столкновения мнений рождается истина. — Ред.

Историки, публицисты и политики говорили, говорят и ещё долго будут говорить чрезвычайно много вздора; все их теории будут разлетаться, как мыльные пузыри, до тех пор, пока они не будут чувствовать под ногами твёрдую почву осозательных фактов. Иной учёный муж пресерьёзно начнёт уверять вас, что он добрался в своих исследованиях до основных законов человеческого развития, до остова всемирной истории; спросите этого колосса учёности, знает ли он устройство человеческого организма, предложите ему элементарный вопрос из физиологии или анатомии, и вы увидите, что он опустит глаза и поневоле признается в своём неведении; все его выводы основаны на бумажных документах; он не знает ни живого человека, ни живых людей; он не знает ни того процесса, который совершается в каждом неделимом, ни тех отправлений, которые имеют место в живом обществе; он видит только своими ослабевшими глазами ту частичку жизни, которая прилипла к пергаментному свитку, завалившемуся в архивной пыли: по этой частичке он думает воссоздать живых личностей, составить себе понятие о человеке, изучить законы его развития; от этих бессмысленных стремлений определить по жалким отрывкам то, чего не знаешь и не хочешь изучить во всём разнообразии жизненной полноты, от этих бессильных попыток заменить наблюдение творчеством ума происходят ошибки, доктрины, политические убеждения, замысловатые теории, в которых недостаёт безделицы: знания дела и здравого смысла. Чтобы понимать событие, надо знать его деятелей; чтобы объяснить себе историческое развитие человечества, надо знать те силы, которые действуют в нём самом и вокруг него. Пусть гг. доктринёры, которых очень

много во всяком обществе, начинающем мыслить, посмотрят вокруг себя и скажут, положа руку на сердце: что они знают? Какое действительно существующее явление природы им известно и понятно? Они принуждены будут сознаться, что знают большую частью только то, что думали другие доктрины, жившие раньше их; над этими работами прежних доктринёров они проводят дни и годы, их они комментируют и критикуют, не добираясь до самой жизни и принимая свои слова и понятия за существующие явления. Эти доктрины — современное видоизменение средневековых монахов; у них есть трудолюбие, есть добросовестность, и при этом — ни малейшего понятия о жизни, а вследствие этого ни одной живой идеи в уме, ни одного энергического движения в мозгу. Самое простое, понятное слово *жизнь* благодаря им превратилось в какую-то риторическую фигуру, лишённую плоти и крови; они понимают по-своему жизнь идеи, жизнь общества, жизнь человечества, словом, всякую *воображаемую* жизнь, всякую жизнь, кроме *действительной* жизни отдельного живого человека; о жизни животных им некогда и подумать: это такие мелочи, на которые им и взглянуть не хочется, им, законодателям человечества, носящим в своём мозгу решения разных мировых вопросов. Мы не имеем счастья быть доктринёрами; у нас нехватает на это ни умения, ни желания; каемся чистосердечно в том, что мы имеем слабость интересоваться действительной жизнью, в каких бы крошечных размерах она ни проявлялась, и нисколько не интересоваться бесплодными порождениями доктринёрствующих умов, в какие бы полнозвучные фразы они ни облекались. На этом основании мы намерены толковать с читателями не о теории божественного права, не о законе исторической постепенности, а просто о домашней и общественной жизни пчёл.

Мы сильно нуждаемся в положительной почве для наших исследований, в фактическом материале, из которого можно было бы выковать себе воззрения и убеждения металлической твёрдости и незыблемой основательности. Будем же смотреть вокруг себя, на живую природу, вместо того чтобы зажмуривать глаза или с упорным вниманием устремлять их на буквы, слова и фразы.

## I

Пчела принадлежит к породе насекомых; у неё нет спинного хребта, и её тело разделяется на три ясно обозначенные части; эти части следуют друг за другом в таком порядке:

во-первых, голова, в которой находятся глаза, щупальцы и ротик; во-вторых, средняя часть тела, к которой прикреплено снизу три пары ног, а сверху две пары крыльев; в-третьих, задняя часть тела, заключающая в себе сердце, дыхательные органы, пищеварительный канал и половые части. По обеим сторонам головы у пчелы находятся два больших глаза, составленных из нескольких тысяч микроскопических глаз, выглядывающих из-за общей прозрачной, роговой оболочки. Этими двумя глазами пчела смотрит на мелкие предметы, находящиеся вблизи; эти два глаза заменяют ей наши микроскопы; для того чтобы смотреть в даль, чтобы направлять в даль свой полёт, пчела пользуется тремя крошечными глазками, прикреплёнными к верхней части головы. Сколько известно при теперешнем состоянии науки, человек лишён тех глаз, которые управляют полётом пчелы. Вероятно, это обстоятельство составляет единственную причину, по которой большая часть человеческих суждений и построений страдает от близорукости своих творцов.

Рот пчелы отличается сложным устройством; достаточно будет отметить две роговидные острые челюсти, закрывающиеся друг на друга, как две половинки ножниц, щёточки, служащие для сортирования цветочной пыли, и длинную нижнюю губу, покрытую волосами и заступающую место языка, конечно не для разговора. Останавливаться на нём я не буду; замечу только, что рабочие пчёлы на своих задних ногах приносят в улей мёд и цветочную пыль, а что трутни и матки лишены этой способности. Рабочие пчёлы приготовляют в своём теле воск, который просачивается между колечками задней части и потом употребляется в улье как строительный материал. Матка, или царица, и трутни не способны к приготовлению воска.

Рабочие пчёлы вооружены жалом, скрывающимся в задней части тела и связанным с пузырьком, из которого выделяется едкая, ядовитая жидкость. Трутни как привилегированное сословие избавлены от обязанности защищать общество от внешних врагов и лишены жала. Челюсти их особенно крепки и покрыты зазубринами, вследствие чего они отличаются прожорливостью. Жало царицы длиннее и ост्रее жала обычных рабочих, но она пользуется им только в единоборстве против соперников, когда дело идёт о господстве над ульем.

Мы видим, таким образом, что всё население улья распадается на три касты, отличающиеся друг от друга внешними признаками. Во главе всего улья стоит матка, или царица, единственная самка, одарённая способностью и правом класть

яйца; она буквально может сказать: *l'état c'est moi* \*, потому что сама производит на свет всё, что живёт и движется в улье. Задняя часть её тела значительно длиннее, чем у работниц; половые органы вполне развиты, зато крылья значительно короче; вследствие этого царица редко покидает улей и проводит всю жизнь в наслаждении готовою пищей и в удовлетворении сильно развитым половым влечением. Она вылетает только за тем, чтобы среди цветущей природы отдаваться любимому трутню или чтобы уступить место счастливой сопернице.

За царицею следуют трутни, или самцы, далеко превосходящие работниц величиною тела; эти трутни не работают, не носят при себе оружия, много едят, оплодотворяют по очереди царицу и кроме этого не знают ни забот, ни обязанностей.

Рабочие пчёлы — самки, не способные к деторождению; в их неспособности виновата не природа, а воспитание: недостаточная пища задерживает развитие их половой системы и обрекает их на трудовую жизнь, лишённую наслаждения. Не имея возможности жить для себя, рабочие обращают свою деятельность на воспитывание личинок, рождённых царицею; весь мёд, собранный ими на цветах, идёт на продовольствие личинкам, трутням и царице; всё на пользу общую, и ничего для себя; рабочая пчела с трогательным, но совершенно нелепым самоотвержением содействует поддержанию того уродливого порядка вещей, который лишает её возможности пользоваться жизнью и производить потомство. Она сама плохо кормит целые сотни личинок и откармливает десяток других, чтобы из первых вышли оскоплённые работницы, а из вторых — полные самки, царицы. Рабочие пчёлы — жалкие парии, не чувствующие своего унижения, неспособные из него выйти и поддерживающие в этом унижении следующее поколение, которое в свою очередь будет действовать в том же возмутительно консервативном духе, и так далее, до бесконечности. Это пролетарии, задавленные существующим порядком вещей, закабалённые в безвыходное рабство, кружасицеся в колесе и потерявшие всякое сознание лучшего положения. Яйца, которые кладёт королева, совершенно равны между собою по достоинству, червячки, выползающие из яичек, в первые три дня ничем не отличаются друг от друга: каждый из них может сделаться царицею. Но вот начинается различие воспитания: одного червячка сажают в просторную клетку, его кормят отборной

\* Государство — это я<sup>33</sup>. — Ред.

пищей, его чистят и обмывают прислужницы и кормилицы; из этой личинки выходит царица; другую личинку, напротив того, втискивают в тесную каморку, кормят чем попало, никогда не обчищают; из этой личинки развивается простая работница. Смотря по обстоятельствам, одна рабочая пчела бывает сильнее, другая слабее; кто посильнее, тот вылетает из улья и добывает мёд; кто послабее, тот сидит дома, ходит за личинками и куколками, чистит клеточки и исполняет разные домашние работы. Торопливо ползают эти заботливые кормилицы и экономки от ячейки к ячейке: там надо накормить голодного червячка; тут надо залепить воском запасный магазин, наполненный мёдом; в другом месте надо закрыть клеточку, в которой взрослый червяк превращается в куколку; ещё где-нибудь необходимо вычистить большую клетку, в которой сидела царственная куколка; дело всегда найдётся, и трудовая жизнь рабочих пчёл проходит в непрерывном ряде забот, которые не позволяют им задуматься о наслаждении или помечтать о лучшем будущем. Когда молодое поколение накормлено, являются новые работы: надо построить новую клеточку для мёда, надо облизать и обчистить возвращающихся с работы товарищёй или даже праздного трутня, гулявшего по собственной охоте за пределами улья; когда становится холодно, кормилицы и экономки собираются вокруг царицы, согревают её теплотою собственного тела, смотрят на неё, как на избранное, высшее существо. Словом, самоотвержению рабочих нет пределов, и если самоотвержение — добродетель, а не глупость, то добродетельнейшим существом в мире надо будет признать рабочую пчелу.

## II

Составленное из таких элементов, государство пчёл имеет свою историю, свои периодические волнения, свои гражданские события и перевороты. Вот вылетает из улья новый рой, как толпа отважных колонистов, решившихся искать за морем счастья и простора. Впереди летит царица; её окружают сильнейшие из рабочих, готовые защищать её от всякой опасности и положить живот за то, что они считают общим делом. За этой передовой группой следуют в некотором расстоянии ленивые трутни и слабые кормилицы-экономки. Впрочем, старинные писатели говорят, что царицу окружают при этом переселении трутни; по всей вероятности, это ошибка; если же действительно так было прежде, то такое изменение церемониала доказывает ясно, что привилегии, связанные

ные с званием трутня, постепенно уменьшаются, и что различие сословий в пчелином мире постепенно исчезает перед законом здравого смысла и перед фактическим правом личной материальной силы. Царица долго летать не любит, она садится на какой-нибудь сук, вокруг неё густыми кучами усаживается её народ, а между тем несколько сильных рабочих пчёл летят на рекогносцировку, чтобы высмотреть помещение для будущей колонии. Обыкновенно человек предупреждает эти поиски и предлагает готовое жилище, соединяющее в себе все требуемые удобства. Пчёлы принимают с благодарностью, не понимая того, что они закабляют себя в рабство и что человек присваивает себе неограниченное право распоряжаться их жизнью и собственностью, отнимать у них мёд и воск, выкуривать их дымом, оглушать их серой и водой, перегонять из одного помещения в другое и даже убивать их, если, по его соображениям, их не стоит кормить тем самым мёдом, который они же добыли. Пчёлы не предвидят всех этих неудобств своего нового положения, и весь рой с радостным жужжанием влетает в новый улей.

Занявши своё новоселье, пчёлы прежде всего замазывают и закатывают все отверстия, кроме одной маленькой дырочки, через которую поддерживается сообщение улья с внешним миром. На молодых побегах разных деревьев пчёлы находят клейкую массу, и этой-то массой они как можно плотнее законопачивают щели; если в улей вставлено стекло, то они замазывают его, стараясь таким образом сделать своё жилище недоступным не только для внешних врагов, но преимущественно для действия внешнего света. Темнота совершенно необходима для поддержания существующего порядка. Вылетая из улья, пчела является свободным, усердным работником; у себя дома она подавлена, принесена в жертву внешней стройности государственного тела, и потому, чтобы покоряться таким тягостным условиям, чтобы нести безропотно лишения и труды, не пользуясь своей долей наслаждений, ей необходимо *игнорировать* настоящее положение дел, не видать и не понимать того, как проводят время царица и трутни. Первый луч света пугает работницу, освещая грязь и бедность её повседневной жизни, ей становится тяжело и страшно; она приписывает своё неприятное ощущение не тому зрелицу, которое осветил ворвавшийся луч, а именно самому лучу; она старается устраниТЬ его, как мы, люди, стараемся порою устраниТЬ возникающее сомнение; если любопытный натуралист вставит в улей стеклянное оконечко, его замажут; если он для своих наблюдений вынет замазанное стекло, то в улье начнётся волнение; при первых

лучах света трутни толпами побегут к отверстию, стараясь закрыть его собственными телами; рабочие полетят за замазкой и начнут заклеивать; внутри улья послышится жужжение, и дела придут в прежнее положение только тогда, когда водворится прежняя темнота.

Но если наблюдатель будет постоянно прοчищать отверстие, заклеиваемое рабочими и загораживаемое трутнями, если освещение улья будет продолжаться, несмотря на сопротивление всех сословий пчелиного царства, то все дела мало-по-малу приходят в расстройство. Рабочие перестают работать и начинают понимать, что плодами их усилий пользуются привилегированные классы. Они перестают строить соты, не кормят личинок и не обращают внимания на королеву. Жужжение их усиливается; они собираются в кучки и как будто рассуждают о чём-то, к великому ужасу ториев-трутней и крайнему огорчению царицы, начинающей чувствовать голод и одиночество. Вылетающие рабочие возвращаются без мёда, каждая из них сама съедает благоприобретённое имущество; наконец, многие из рабочих совершенно покидают улей, начинают жить на просторе, среди цветущей природы, совершенно в своё удовольствие. Королева умирает с голоду, трутни рассеиваются, личинки погибают, и только стены опустелого улья свидетельствуют о недавнем существовании гражданственного или стадного элемента. Рабочие наслаждаются жизнью, насколько это возможно при изуродованном их положении, резвятся в тёплом воздушном пространстве, носятся над цветущими лугами и полянами, упиваются мёдом и свободою, досыта наедаются цветочною пылью и, наконец, натешившись вволю, умирают, как жили, свободными гражданами животного мира. Некоторые из этих анархистов раскаиваются, впрочем, в своих поступках и пытаются пристать к какому-нибудь другому государству, т. е. поселиться в другом улье и принять на себя те самые обязанности, которые им приходилось нести прежде.

Но в улей не принимают пришельцев; туземцы сейчас узнают иностранца и гонят его прочь, а в случае упорства убивают его и выбрасывают бездыханное тело за пределы своего царства. Основана ли эта китайская ненависть пчёл к инородцам на экономическом или на политическом расчёте, решить довольно трудно. Боятся ли они в новом пришельце лишнего потребителя или проповедника антиконституционных начал, это до сих пор не решено исследователями их гражданского быта. Как бы то ни было, два факта не подлежат ни малейшему сомнению: во-первых, то, что мрак необходим для спокойствия и коллективного благоденствия улья,

во-вторых, то, что пчёлы, отрёшившись от заветной нормы своего общественного устройства, не способны выработать себе другую норму и начинают жить совершенно индивидуальною жизнью, которая при многих хороших сторонах имеет свои несомненные чисто практические неудобства. Рабочие пчёлы умеют работать и защищать своё общество от внешних врагов; но импульс к этим работам и к этой обороне даётся им извне, такими существами, которые сами не способны ни работать, ни сражаться. В улье происходит самое оригинальное разделение труда: одни работают, другие едят и плодятся. Без этого разделения труда невозможно продолжение породы: кто работает, тот не способен к деторождению, а кто способен иметь детей, тот не может работать. Пчёлы, очевидно, испорчены своею уродливою гражданственностью; плебей — кастраты, и естественные половые отправления составляют привилегию одной личности. Ни древний Египет, ни древняя Индия не доходили до такого строгого проведения кастических особенностей; даже парии имели возможность брать себе жён и производить детей; разве только современная Англия при постоянно возрастающем населении дойдёт до того, что брак сделается привилегией некоторых лиц или сословий и что пролетарию, не имеющему ни кола, ни двора, ни обеспеченного куска хлеба, закон будет воспрещать сношения с женщинами и деторождение. Заметим мимоходом, что Джон-Стюарт Милль<sup>39</sup> обсуждает этот вопрос английской жизни в своей знаменитой книге *«On liberty»*; он, величайший индивидуалист нашего времени, почти решается признать за обществом право контролировать заключение браков и запрещать те брачные союзы, которые угрожают обществу приращением неимущих граждан и, следовательно, понижением задельной платы. От подобной мысли до оправдания общественных учреждений пчёл не слишком далеко, но, к чести человека, можно выразить надежду на то, что подобный закон никогда не примется и не укоренится; каждый нищий скорее согласится умереть, чем позволит превратить себя в рабочего-кастрата, живущего для того, чтобы служить бутом или фундаментом для общественного здания. Иные натуралисты приходят в полнейшее умиление, говоря об уме пчёл и о их завидной способности жить в обществе себе подобных существ; мне кажется, напротив того, надо подивиться их чудовищной забитости, доходящей до того, что они, изуродованные сами, систематически уродуют других и являются, таким образом, в одно и то же время бесчувственными жертвами и бессмысленными палачами.

Вот, наконец, щели замазаны, мрак водворился, и государственная машина начинает свою работу. Прежде всего рабочие пчёлы принимаются за построение сотов, шестиугольных восковых клеточек известной величины, определённого формата и неизменной архитектуры. Тут не нужно творчества, личной мысли, оригинального дарования. Каждая пчела умеет строить эти клеточки и знает, в каком отношении должны находиться между собою различные помещения. Для рабочих пчёл строятся самые крошечные клеточки, для трутней побольше, а для королевы тратится на построение клетки столько воску, сколько пойдёт на 150 рабочих келий. Архитекторы не спорят между собою о плане будущих построек; всё давно известно каждой пчеле; проектов представлять незачем, и лишь бы было темно и тихо, всё пойдёт, как по маслу, потому что идея конституции вошла в плоть и кровь рабочего класса с своими мельчайшими фактическими подробностями.

Трутни понимают свои сословные привилегии; они не помогают деятельным строителям и в жаркий полдень вылетают из улья не затем, чтобы принести мёду на пользу общую, а затем, чтобы в полном сознании своего превосходства набить себе желудок цветочною пылью. А в это время рабочие пчёлы раз по шести или по восьми в день вылетают из улья и всякий раз возвращаются домой с полным грузом мёда на ножках и в желудке; весь принесённый мёд или по крайней мере большая часть его идёт на прокормление королевы, трутней и личинок; себе рабочая пчела оставляет в обрез столько, сколько необходимо для поддержания жизни и рабочей силы.

Трутни как самцы окружают королеву, единственную самку всего улья, и стараются по возможности заслужить её расположение; они толпятся вокруг неё, лжут и обчищают её, оказывают ей самые почтительные любезности, наперерыв друг перед другом стремятся заявить свою глубокую преданность или, при случае, пылкую любовь, но при всём том живут между собою довольно мирно благодаря своему спокойному, ленивому характеру и отсутствию того смертоносного жала, которым вооружены рабочие пчёлы.

Королева не остаётся нечувствительною к этим чистосердечным изъявлениям чувства: сердце — не камень; к тому же ей предстоит важная задача — произвести из себя всё будущее поколение своего народа, и она с благородным усердием принимается за работу. Её сотрудниками в услуже-

нии обществу являются сотен шесть трутней, и благодаря их добросовестному содействию королева в день кладёт до 200 яиц, а в полтора или в два месяца успевает снести до 12 000 яиц. Утром, когда ленивые трутни ещё спят, а рабочие уже вылетели на работу, королева выходит из своей клетки в сопровождении десяти или двенадцати прислужниц из рабочих. «Важно,— говорит Окен<sup>40</sup>,— проходит она мимо наполненных ячеек и останавливается, как только её спутницы указывают ей на пустую клеточку; сперва она опускает в неё головку, чтобы убедиться в правильном её устройстве; потом она оборачивается задом, и в эту решительную минуту спутницы собираются вокруг неё сплошной массой, чтобы скрыть её от любопытных глаз. Если в это мгновение королева заметит, что на неё смотрит откуда-нибудь натуралист, она пройдёт мимо клеточки, не положивши яйца, и окажется глубоко оскорблённою в своей женской стыдливости; если же всё вокруг неё тихо и темно, она опускает в клеточку заднюю часть своего тела, и на дне клеточки появляется вслед затем белое продолговатое яичко». Королева кладёт таким образом яичек пять и потом несколько минут отдыхает; её окружают усердные прислужницы, облизывают ей всё тело, обчищают крылья и, наконец, подносят ей на кончике хоботка капельку отличнейшего мёда.

Через три дня из яичек выползают маленькие белые червячки, или личинки, с твёрдой продолговатой головкой, но без ног; эти новорождённые существа решительно неспособны заботиться о себе, и рабочие пчёлы совершенно принимают их на своё попечение, потому что ни королева, ни трутни не обращают на них никакого внимания. Кормилицы из рабочих пчёл готовят из цветочной пыли с мёдом кашицу и этой кашицей кормят личинок, соблюдая при этом значительное различие между той пищей, которую они подносят будущим пролетариям, и той, которую они предлагают будущим королевам и благородным трутням. Личинки рабочих пчёл кормятся в продолжение пяти дней, а личинки трутней немного дольше. По окончании этого срока кормилицы залепливают клеточки воском, и личинка начинает превращаться в куколку, т. е. строит себе кокон из тонких шелковидных нитей. Внутри кокона совершается развитие полного насекомого, и по окончании этого развития пчела выходит из своего заточения, разрывает кокон, прогрызает восковую крышечку и выходит на свет божий в виде пролетария, трутня или королевы.

Развитие трутня с той минуты, когда снесено яйцо, до того времени, как он выходит из кокона, продолжается

24 дня, развитие рабочей пчелы — 20 дней, а королева уже через 16 дней может принять на себя государственные заботы и считаться совершеннолетней и полноправною. Дело в том, что королева у пчёл нуждается в меньшей степени физического, а вместе с тем и умственного развития, чем рабочая пчела. Вся деятельность королевы сосредоточена в половых отправлениях; она не нуждается ни в силе мускулов, ни в мыслительных способностях; ей не надо строить сотов, ни летать в дальние экспедиции, ни выбирать из цветов частиц мёда и ароматной пыли; её дело любезничать с трутнями, не имея даже надобности отбивать их у соперницы, и потом класть яйца, не заботясь о дальнейшей части своих будущих потомков. Народ её сам отлично знает своё дело, и вся государственная машина идёт полным ходом, не нуждаясь в её вмешательстве и даже не допуская этого вмешательства. Чтобы занимать почётное место, не сопряжённое ни с какими обязанностями, чтобы наслаждаться жизнью, не зная, какой ценой покупаются эти наслаждения, не нужно большого ума, потому не удивительно, если развитие пчелиной матки, или королевы, совершается скорее, чем развитие рабочей пчелы. Личность этой королевы не имеет никакого влияния на дела улья; пчёлы уважают в королеве воплощение той идеи, которая удерживает их в гражданском обществе и не позволяет им рассеяться, но этим пчёлам нет никакого дела до того, будет ли их королева неподвижным яичком, лишённым сознания, или царственной личинкой, или спящей куколкой. Если бы внезапная смерть прервала государственные заботы взрослой королевы, то население улья не пришло бы в замешательство; пролетарии, составляющие действительную силу пчелиного общества, знают, что в яичках или в коконах есть формирующиеся королевы, и, успокоенные насчёт будущности улья, продолжают свои работы, как будто бы не случилось ничего особенного.

Но, спрашивается, почему же трутни, которых деятельность так же ограничена, как деятельность королевы, которых умственные способности отличаются крайним ничтожеством, почему, спрашивается, трутни развиваются так долго? Фохт объясняет это физической вялостью, свойственной природе трутней; вечно праздные, лишённые способности работать и заботиться о чём бы то ни было, трутни даже развиваются медленнее и ленивее других пчёл; даже в зародыши трутней проникает та барственная неповоротливость и флегматичность, которой отличается во всех своих действиях привилегированное сословие пчелиного государства.

У пчёл нет постоянного войска; всякий пролетарий постоянно имеет при себе оружие и умеет владеть им; каждый солдат этой национальной гвардии воодушевлён патриотическим чувством, выражющимся в самой пламенной ненависти к шмелям, осам и даже пчёлам других ульев; если в улей вздумает влететь какой-нибудь неосторожный или дерзкий иноплеменник, то ему придётся очень плохо: на него бросятся сотни рабочих пчёл, пуская в ход и челюсти и жало; путешественник будет непременно убит, и тело его, на страх другим, будет выброшено за пределы улья. В одном улье бывает до 20 000 рабочих пчёл, и, несмотря на то, пчёлы не ошибаются и не принимают в своё общество гражданина другого улья. Обменивается ли влетающая пчела условленными знаками с теми пчёлами, которые сторожат вход в улей, решить мудрено, но достоверно то, что обитатели двух соседних ульев не могут посещать друг друга и что каждый улей с чисто китайским упорством запирает свои домашние дела от посторонних взоров. Но есть средство уничтожить родовую ненависть между пчёлами разных ульев: стоит только погнать их всех в воду; пчёлы ошалеют и потеряют сознание; после этого их вылавливают и кладут на солнце. Мало-по-малу они обсыхают и приходят в себя; утопленники начинают двигаться, расправляют лапки и крылья, потягиваются и стараются помочь своими заботами товарищам, ещё не проснувшимся из продолжительной летаргии. После этого общего несчастия национальная вражда оказывается забытою, и пчёлы двух ульев могут быть посажены в одно помещение и общими силами приняться за построение сотов и воспитывание молодого поколения.

Сколько нам известно, вода является лекарством против национальных антипатий только у пчёл; подействует ли она таким же чудесным образом на граждан двух враждующих государств, этого нельзя сказать наверное по недостатку положительных опытов. Не мешает при этом заметить, что и на пчёл вода окажет своё благотворительное действие только в том случае, если королева одного из ульев будет убита; если же обе королевы вместе будут брошены в воду, то они начнут враждовать между собою тотчас после того, как к ним возвратится сознание; к каждой из них пристанет толпа рабочих, сильнейшая партия выгонит слабейшую из улья; после этой схватки прежняя вражда возобновится с новой силой впредь до нового купанья. Немцы в некоторых отношениях похожи на пчёл; в Германии, у себя дома, они большею

частью поддерживают мелкие, местные интересы отдельных государств. Уроженцы Баварии, Виртемберга, Бадена, Ганновера, какого-нибудь Липпе-Шаумбурга или Гогенцоллерн-Зигмарингена смотрят друг на друга, как на иностранцев, и толкуют, каждый для себя и про себя, об отдельной родине и о своём особенном патриотизме; но те же граждане различных немецких ульев едут за море, поселяются в Американских штатах, и тут, по единству языка, привычек и воззрений, начинают замечать, что между ними много общего, что все они — немцы и могут симпатизировать друг другу, не обращая никакого внимания на разные территориальные недоразумения и династические соперничества. Переезд через Атлантический океан заменяет, как видите, благодетельное купанье пчёл.

Главная и почти единственная цель деятельности у рабочих пчёл заключается в воспитании молодого поколения. Их уважение к ничтожной личности королевы и их терпимость к праздной прожорливости трутней объясняются тем, что в королеве они видят единственную свою надежду, будущую матерь всего потомства, а на трутней смотрят, как на её необходимых сотрудников, и, следовательно, как на неизбежное зло, без которого не может держаться их государственная система. Личность кормилиц, выбранных из рабочих пчёл, находится в почёте: кормилицы избавлены от обязанности вылетать из улья и добывать себе пропитание; их кормят государство; их уважают и лелеют, несмотря на их физическую хилость и слабость, другие пчёлы. Если мы посмотрим на общество людей, если мы предложим себе вопрос о значении педагога в государстве, в обществе и семействе, то нам придётся сознаться, что пчёлы лучше нас понимают важность воспитания. Но нам тоже не следует слишком увлекаться добродетелями пчёл; представьте себе, что вы живёте на белом свете только затем, чтобы воспитывать вашего сына, ваш сын живёт только затем, чтобы воспитывать вашего внука, и т. д.; каждое отдельное поколение сначала готовится к жизни, потом готовит к ней других, а жить-то когда же? И для чего же готовить других к тому, чем им не придётся пользоваться? Пчёлы очень хорошо поступают, обращая своё заботливое внимание на благоенствие молодого поколения, но кастрировать себя во имя своего потомства, для того чтобы это потомство в свою очередь оскопляло себя для будущего поколения, — это, воля ваша, безобразно, и в этом отношении мы всё-таки не так глупы, как пчёлы. Всего смешнее в жизни пчёл то, что они, вероятно, полагают, будто их самоотвержение велико и возвыщенно, будто они жертвуют собой, чтобы доставить всем другим счастье и наслаждение.

дение, а на самом деле выходит, что их трудами и страданиями пользуются только трутни да матка, т. е. самая бесполезная, пустая и недобросовестная часть их общества. Кажется, идеализм и пустое доктринёрство, расходящиеся с жизнью, являются сильно распространёнными болезнями, и человек, считающий эти болезни величайшей привилегией своей породы, может и должен признать их существование даже в мелких насекомых. Вероятно, и пчела, подобно Платону и Гегелю, строит свою систему мира, в которой она является центром всего движущегося и живущего, а между тем, тратя время на эти серьёзные забавы и уносясь в необъятные сферы чистого мышления, она, подобно этим светилам бедного человечества, не замечает или не хочет заметить того, что у неё крадут трудом добытый мёд и систематически уродуют половые органы. Когда ей случается заметить свою ошибку, она круто повёртывает дело, но идеализм, или, что то же, бестолковость, берут своё, и после некоторых волнений пчелиный мир улегается в прежнюю колю и застывает в прежних рамках.

#### IV

Королева пчелиного царства чрезвычайно добродушна и кротка, когда она одна живёт в улье, т. е. когда у неё нет и не предвидится соперницы. Женственная мягкость её выражается в дружелюбных отношениях к трутням и в спокойном величии, с которым она принимает от последнего из пролетариев изъятия преданности, выражаящиеся в капельках мёда. Добродушие королевы не изменяет ей даже тогда, когда она входит в соприкосновение с злейшим эксплоататором пчелиного мира, с человеком. Королеву можно смело брать в руки, гладить и ласкать, не боясь её жала; основываясь на этом обстоятельстве, старинные исследователи полагали даже, что у королевы вовсе нет жала и что она как царственная особа предоставляет своим подданным отражать внешних врагов и наказывать нарушителей общественного спокойствия. Так и бывает действительно в большей части случаев, но в жизни королевы есть и такие минуты, в которые страсть побеждает требования этикета, заглушает голос нравственного чувства и превращает кроткое, величественно-спокойное и женственно-нежное создание в какую-то леди Макбет, в Медею<sup>41</sup>, вообще в нечто подобное тем образам, которые, повидимому, можно выкроить только из глубоко развращённой природы человека. Беда, если королева начинает бояться за своё господство, беда, если она видит или предчувствует соперницу. Две королевы, как два солнца, не совместимы на одном горизонте; они ненавидят друг друга, как

властолюбивые повелительницы и как кокетливые женщины; каждая из них любит в своём положении два выдающихся момента: преданность пролетариев и рыцарскую любезность лордов-трутней; и пролетарии и трутни должны принадлежать королеве безраздельно; первые составляют материальную опору её владычества, вторые образуют её гарем, в который она бросает платок то тому, то другому счастливцу.

Всё идёт, таким образом, спокойно, ко взаимному удовольствию подданных и повелительницы, пролетариев и лордов, но вдруг получается в палатах королевы известие, которое более или менее поражает и обеспокоивает всех; в известии этом нет ничего неожиданного, но, несмотря на то, оно всегда производит сильное впечатление. Дело в том, что одна из куколок превращается в пчелу-королеву и прогрызает восковую крышечку своей клетки; рабочая пчела, приставленная к этой клетке, доносит об этом событии куда следует, и известие это с быстротой молнии распространяется в самые отдалённые углы пчелиного царства. Начинаются толки и рассуждения. Молодые, неопытные пчёлы обнаруживают только любопытство и тревожную радость, старые пролетарии, видевшие на своём веку горе и радость, государственные перевороты и сцены грубого насилия, выжидают, что-то будет, и совещаются между собою, не зная, на что решиться; между старою и молодою королевою непременно произойдёт столкновение. Кто же одержит победу, и за кого же им сдадим вступиться? За ту ли повелительницу, которой они служили с таким постоянным усердием и от которой они получали в награду такие благосклонные взоры, или за то молодое создание, которое выросло на их руках, выкормлено их заботами, взлеяно их любовью? Пока добрые рабочие пчёлы раздумывают и недоумевают, старая королева быстро решается действовать. В сопровождении своих прислужниц и трутней она поспешно подходит к той клетке, вокруг которой уже собралась толпа рабочих, ожидающих с благоговейным нетерпением разрешения грозной задачи. Не любовь к рождающейся дочери приводит старую королеву к её колыбели; она подходит, видя в дочери своей опасную соперницу; в ней говорит ревность женщины и властолюбивой повелительницы; раздражение её выражается в ускоренной походке, в резких жестах, в невнимании, с которым она проходит мимо групп, собравшихся вокруг роковой клеточки. Рабочие пчёлы предчувствуют, что готовится что-то недоброе; молодые пролетарии, сверстники молодой королевы, инстинктивно толпятся ближе к её жилищу и стараются загородить её матери доступ к только что развившемуся существу. Старуха хочет

пройти мимо их; они её непускают; если ей удаётся преодолеть их сопротивление, она подходит к самой клетке, запускает в неё своё жало и убивает дочь свою, ещё не успевшую взглянуть на белый свет и насладиться полною жизнью. Но в большей части случаев сила бывает на стороне добродушных рабочих, они успевают удержать расходившуюся королеву, и разгневанная повелительница в бессильном отчаянии, не зная, что делать, не слушая увещаний, считая своё господство навсегда потерянным, начинает без определённой цели бегать по улью.

Дело кончается тем, что королева-мать вместе с верными своими сподвижницами и с любимыми трутнями покидает улей и летит искать счастья в голубую даль, в какое-нибудь естественное дупло или в искусственный улей. А между тем молодая королева выходит из своей клеточки во всей обаятельной свежести первой молодости, не зная даже, от какой опасности избавили её самоотвержение и преданность добродушных работников. Её окружают оставшиеся вокруг неё пчёлы, и первым впечатлением её является в пчелиной жизни упование торжеством и властью, для приобретения которых она не сделала сама ни одного движения. Она оглядывается вокруг себя, видит своё превосходство над окружающими её лордами и пролетариями и тревожно спрашивает себя, одна ли она будет пользоваться тем блеском власти и почёта, который окружил её с первой минуты её сознательной жизни. В молодой королеве с изумительной быстротою зарождаются и развиваются те самые инстинкты, которые побуждали королеву-мать к покушению на жизнь дочери и потом принудили её выселиться из улья со своими приверженцами; молодая королева осматривает все свои владения, подходит ко всем клеточкам, в которых развиваются её младшие сёстры, прокалывает их своим ядовитым жалом и убивает, таким образом, всех будущих королев, чтобы не видать соперницы и ни с кем не разделять господства. Иногда случается, что две молодые королевы разом выходят из своих клеточек. Тогда старая королева уже не пытается убить своих преемниц; она тотчас же собирает вокруг себя горсть преданных ветеранов и любимых лордов-трутней и с ними улетает на новое место жительства. Что же касается до молодых королев, то они, конечно, не могут ужиться вместе: узы крови не имеют никакого значения, когда дело идёт о господстве; одна из двух должна погибнуть, потому что ни одна из них не решится уступить добровольно и основать новую колонию. Ни рабочие, ни трутни не принимают участия в борьбе между двумя королевами; спор за господство, интересующий только две

личности, решается между ними поединком, в котором никто не просит и не даёт пощады. Соперницы подходят друг к другу, схватываются между собою челюстями, стараются повредить друг другу шею, голову или ноги; обе машут крыльями, чтобы оглушить противника; обе сталкиваются между собою головами, сплетаются ножками и ищут удобного случая, чтобы пронзить врага ядовитым жалом. Они целят в промежутки, находящиеся между роговидными пластинками, которыми защищены грудь и живот; шея, связка между грудью и заднею частью тела также легко могут быть проколоты, и во все эти части сражающиеся пчёлы направляют свои удары. Наконец, поединок оканчивается трагическим образом, смертоносное орудие попадает верно; раненая королева падает; агония продолжается недолго, и счастливая победительница глумится в порыве гордой радости над трупом убитой сестры. Теперь она одна — повелительница улья; рабочие окружают её, признают её господство. Но сочувствие их оказывается вначале довольно слабым. Дело в том, что молодая королева совершила ряд преступлений и до сих пор ничем не заявила своих достоинств. Рабочие видели, с какою жестокою последовательностью она истребила в самой колыбели своих предполагаемых соперниц, тех самых невинных детей, которых они, рабочие, лелеяли и кормили; рабочие видели, как неумолима была королева в поединке с своей ровесницею-сестрой; всё это совершалось на их глазах, но до сих пор ещё никто из них не может судить о той степени пользы, которую молодая королева может принести их улью. Её кротость, её правосудие, а главное, её плодовитость до сих пор оставались решительно неизвестны рабочим. Поэтому какое-то мучительное сомнение сковывает порыв их усердия, и они кланяются новой королеве каким-то холодным и сдержаным поклоном, в котором слышится невысказанный вопрос: что-то будет?

Но лорды-трутни чужды сомнений: им нет дела до процветания улья; они видят только личность королевы и, когда споры по престолонаследию оказываются решёнными, друг перед другом стараются заявить свою глубокую преданность. Они оглушают её листивым жужжанием, лижут ей спину, голову и ноги, обчищают ей своими щёточками крылья и щупальцы, разговаривают с ней на оживлённом мимическом языке, словом, выказывают несвойственную им в обычное время развязность, предприимчивость и энергию. Королеве на первых порах кажется очень странным весь этот придворный балет. Подобно девственной Елизавете<sup>42</sup> английской, молодая королева холодно и даже с некоторым негодова-

нием отвечает на страстные и часто слишком смелые любезности придворных трутней. Иногда ей приходит в голову пустить в ход ядовитое жало, чтоб разогнать всю блестящую толпу навязчивых ласкателей и любезников. Но, как известно, жизнь постепенно расшевеливает нас; просыпаются страсти одна за другою; вслед за властолюбием, выразившимся в молодой королеве рядом кровавых подвигов, пробуждается чувственность; страстные ласки трутней воспитывают и укрепляют её; девушка превращается в женщину; существо неопытное, робкое и стыдливое начинает предчувствовать ту полноту нервного наслаждения, которую можно вынести из жизни; трутни окружают её неотступными просьбами, то робко-почтительными, то страстно-восторженными. Сердце — не камень; королева склоняется, назначает придворный праздник и, окружённая радостно шумящей толпой трутней, вылетает из улья порезвиться на чистом воздухе, среди душистых цветов, на окрестных полянах, лугах и равнинах. Елизавета находит своего Лейстера.

Что происходит на придворных банкетах и пикниках пчелиного королевства, на этот вопрос не ответит вам ни один натуралист. Уследить за несколькими десятками пчёл, вылетевшими из улья с целью потешиться и порезвиться, нет никакой возможности. Сердечные тайны королевы непроницаемы для глаз обыкновенного смертного; венчики цветов, среди которых пировали трутни вместе с молодой королевой, хранят такое же глубокое молчание, как старые вековые деревья версальского *parc aux cerfs* \*. Надо полагать, что королева на этих пиришествах наслаждается вволю, потому что в улей она возвращается утомлённая, измятая, запылённая. Одни ли трутень пользуется её полным расположением или многие счастливцы разделяют между собою эту величайшую честь, это остаётся неизвестным как для человека, так и для массы граждан пчелиного королевства. Граждане об этом, впрочем, и не заботятся; на трутней они попрежнему обращают очень мало внимания, но королеву они окружают самыми нежными и почтительными ласками. В личном характере королевы они, конечно, не могли покуда заметить ничего особенно утешительного. Жестокость, обнаруженная ею при избиении будущих соперниц своих, уступила место необузданым порывам чувственности. Считается ли чувственность великим достоинством в нравственном кодексе пчёл, не знаю; достоверно известно то, что это достоинство очень редкое, потому что на 20 000 самок, составляющих главную массу населения в улье, приходится только одна самка, вме-

\* Парк (буквально — олений парк) <sup>43</sup>. — Ред.

щающая в себе это достоинство, и именно эта самка составляет собою тот центр, от которого исходит и к которому возвращается вся деятельность улья.

Пчёлы, очевидно, обожают производительную силу природы; в этом отношении они сходятся с древними народами Передней Азии; королева улья для них то же самое, чем была для вавилонян и ассириян богиня Астарты, представительница женского производительного начала. Культ пчёл обращён, впрочем, не на фантастический образ, облекающий собой отвлечённую идею, а на действительно существующее лицо; этот культ для них тесно связывается с идеей государства и обуславливает собою то общественное устройство, которое они по своей неразвитости считают необходимым для своего благосостояния. Их королева — что-то вроде дай-ламы<sup>44</sup>; она считается предметом первой необходимости; личность её священна и неприкосновенна; каждый из её подданных, беднейший из пролетариев, считает для себя священнейшей обязанностью и величайшим наслаждением сделать ей жертвоприношение, т. е., возвращаясь в улей с полевых работ, поднести ей капельку чистейшего, сладчайшего мёда. Тут действует не расчёт, не желание выслужиться, а простодушное, наивное религиозное чувство. Пролетарий смотрит на свою королеву как на высшее существо, и действительно, он имеет на это полное основание. Королева каждый день на его глазах творит такие чудеса, перед которыми поневоле замолчит самое упорное сомнение: она каждый день несёт яйца, т. е. воочию совершает такие действия, на которые ни один из многочисленных обитателей улья не чувствует себя способным. Каждый день она производит на свет до 200 почти подобных себе существ; и так продолжается не неделю, не две недели, а целых два месяца. Королева творит, а пролетарии только работают; как же после этого пролетариям не повергнуться во прах и не сознать всей её величие и всей своей ничтожество?

Никакой скептицизм не устоит против таких очевидных и так постоянно повторяющихся доказательств; скептиков, действительно, в пчелином королевстве не бывает, да и в самом деле, зачем терпеть в благоустроенном обществе таких беспокойных и неблагонамеренных людей? Когда королева возвращается в улей после первого своего пикника, пролетарии начинают веровать в неё; они предчувствуют великие события, которые должны совериться вследствие этой отлучки; они знают, что в скором времени королева начнёт заботиться о приращении народонаселения, и на этом основании, видя в ней будущую мать молодого поколения, начинают

заботиться о её здоровье и спокойствии, начинают изъявлять ей самое искреннее уважение и самое трогательное, хотя в высшей степени почтительное сочувствие. Работники толпятся вокруг неё, с торжеством носят её по улью, лизут, чистят её щёточками, кормят её с хоботков и возвещают всем радостную новость: «Владычица изволила сочетаться браком с одним из благородных лордов». Эпитет *законный* не присоединяется к существительному *брак*, потому что у пчёл всякий совершившийся брак считается естественным и, следовательно, законным. Имя счастливого избранника или счастливых избранников также умалчивается: им никто не интересуется; пчёлы служат делу, а не лицам; для них важен самый факт, а не обстановка.

Обыкновенный ход дела в улье ровный, покойный и правильный, как движение часового механизма, нарушается иногда неприятными случайностями. Королева, несмотря на своё исключительное положение, несмотря на чудотворную силу, дарованную ей от всесущей природы, подвержена тем же законам, которым покоряемся все мы, простые смертные. Она может, подобно ничтожнейшему из своих подданных, захворать, умереть, оставить в беспомощном положении свой улей в ту самую минуту, когда он всего более нуждается в её общеполезных трудах. Её может прихлопнуть ладонью или хлопушкой какой-нибудь шаловливый мальчишка, которому и в голову не придёт подумать, что он готовит для целого народа или по крайней мере для целого города все ужасы междуцарствия. Когда умирает королева, уже успевшая снести такие яички, из которых выйдут со временем новые королевы, то никаких ужасов не бывает, всё идёт прежним порядком; везде кипит прежняя деятельность, и номинальною королевой считается старшее яичко, старший червячок или старшая куколка; эта номинальная королева обыкновенно делается действительной королевой, потому что, разившись раньше своих младших сестёр, она успевает всех их перерезать и, следовательно, прибирает к рукам весь улей. Нельзя даже сказать, чтобы пчёлам приходилось особенно плохо в то время, когда королевою числится яичко или куколка; ни яичко, ни куколка не требуют корма, и, следовательно, общественные расходы очевидно сокращаются; рабочие, возвращающиеся в улей, по необходимости оставляют для самих себя те лучшие капельки мёда, которые они в обыкновенное время в припадке благоговейного усердия несут своей повелительнице; следовательно, рабочие очевидно не оказываются в убытке. Но усердие их сильнее расчёта и голоса здравого смысла; они ждут появления новой

королевы с великим нетерпением и приветствуют её самым радостным жужжанием.

Если королева умрёт в тот период, когда она кладёт только такие яички, из которых вылупятся рабочие личинки, то весь улей приходит в смятение. Надо во что бы то ни стало спасти монархический и религиозный принцип: вне принятых издавна норм, освящённых тысячелетним своим существованием, пчёлы не понимают жизни и не видят спасения. Королевы нет, заменить её некому, что же делать? Остается только попробовать, нельзя ли тщательным уходом, отборной пищей и усиленными неусыпными заботами облагородить плебейскую натуру простых яичек, нельзя ли развить в будущих личинках ту чудотворную силу, которая творит себе подобные существа и которую обожали в прежней своей королеве простодушные обитатели улья? Тотчас же в улье начинается самая тревожная деятельность. Рядом с теми клеточками, где лежит счастливое яичко, долженствующее обратиться в королеву, ломаются стены и расчищают место; устраивается обширное жилище, и личинка, вылупившаяся из яичка, начинает наслаждаться тем комфортом, простором и чистотой, которые совершенно необходимы для нормального развития половых органов. Чтобы совершенно оградить себя от всяких случайностей, чтобы смерть избранной личинки не могла повести к новому междуцарству, рабочие поступают таким образом с несколькими яичками, так что в одно время готовится несколько королев, которые потом с оружием в руках будут оспаривать друг у друга господство над ульем.

Междоусобия не опасны для улья потому, что дело решается поединком, в котором рабочие и трутни не принимают никакого участия. Как только из куколки вылупится королева, которой вначале суждено было быть простой рабочей пчелой, так она тотчас же начинает обнаруживать наклонности, отличавшие собою её предшественниц. Она точно так же схватывается на жизнь и на смерть с соперницей, если таковая окажется, и точно так же истребляет в зародыше всё то, что может сделаться опасным для её неограниченного господства. Потом она точно так же принимает любезности трутней, устраивает пикник, вступает в брачные отношения, и жизнь улья катится прежним порядком.

Пчёлы как-то инстинктивно понимают всю важность материальных условий. Чтобы развить в молодом существе известные наклонности, чтобы утвердить в нём такие свойства, которые ему придётся прикладывать к делу в течение всей своей жизни, они начинают кормить его известною пищей,

отводят ему просторное помещение, заботятся о его чистоте, и цель достигается вполне: из скромного, трудолюбивого, бесстрастного и добродушного пролетария делается гордая, властолюбивая, жестокая к своим соперницам королева, совершенно неспособная работать, но зато чрезвычайно плодовитая и в высшей степени расположенная к чувственным наслаждениям. При своём трезвом миросозерцании пчёлы могли бы сделать великие открытия в области естественных наук, но, к сожалению, забота о насущном хлебе поглощает все живые силы мыслящей части пчелиного народа. У пчёл нет ни сословия учёных, ни академий, ни университетов; у них нет даже начатков литературы и поэзии. Они не делают даже самых простых выводов из тех фактов, которые находятся постоянно перед их глазами; они не умеют, например, рассуждать таким образом: ведь рабочая личинка может превратиться в королеву, если я буду кормить её хорошим и сытным кормом; ведь королева — то же самое, что рабочая пчела, только она лучше откормлена и полнее развита; отчего же не кормить всех одинаково, чтобы все могли в равной мере пользоваться жизнью и производить детей? До этого простого рассуждения пчела никак не умеет дойти, вероятно потому, что спешная работа не даёт ей времени пофилософствовать. «Le travail est un frein» \*, — говорил Гизо <sup>45</sup> в 30-х годах нашего столетия, и, вероятно, его изречение, которое он великодушно применял к французским ремесленникам, может быть приложено не только к людям, но и к насекомым. Задавленные работой, которая не даёт им ни отдыха, ни срока с самой минуты их рождения, пролетарии пчелиного королевства не составляют социальных теорий, не задумываются о смысле жизни, и бытовые формы улья остаются неизменными, незыблемыми и неподвижными. Движения мысли нет; постоянного прогресса незаметно; ни один обычай, ни одно учреждение не оказывается устарелым и не заменяется новым. Но спокойствие в улье сохраняется только тогда, когда припасов достаточно, когда кругом улья лежат цветущие луга, на которых тысячи пчёл могут находить себе ежедневно обильную добычу. Как только наступает дождливая осень, как только полевые цветы увядают и осыпаются, так обитатели улья начинают чувствовать беспокойство; являются экономические недоразумения; трутни сталкиваются в своих интересах с пролетариями, и это столкновение ведёт к страшным, кровавым результатам, ясно показывающим несостоятельность той конституции, которой управляются пчёлы.

\* Работа — это узда. — Ред.

Не мешает заметить, что запасы мёда, набранные в улье, принадлежат рабочим пчёлам, которые горой стоят за свою собственность и не позволяют кому бы то ни было завладеть их экономическими суммами. На это никто не решается, покуда окрестные луга покрыты цветами; трутни отправляются завтракать и обедать за пределы улья, но с наступлением осени такого рода образ жизни становится невозможным; даже рабочие пчёлы возвращаются часто в улей с пустым желудком и не приносят на ножках ни мёда, ни цветочной пыли; благородные трутни, тяжёлые на подъём и не любящие дальних отлучек от родного улья, не находят возможности кормиться и, покружившись над пожелтевшей травой, возвращаются домой голодные и недовольные. Тогда в улье начинаются волнения, смысл которых можно для большей наглядности передать в виде совещания и разговоров между представителями различных сословий, партий и мнений в улье.

Трутни собираются в кучки и с ворчливым жужжанием передают друг другу неутешительные сведения о бесплодии окружающих лугов и ещё более неутешительные мнения о том, что при подобном положении дел надо ожидать голодной смерти.

«Мы — привилегированное сословие, — восклицает один из трутней, гордо расправляя крылья. — Мы пользуемся отменным расположением нашей милостивой повелительницы. Рабочники должны заботиться о нашем пропитании. Это их прямая обязанность; во время летних дней они набрали много мёда, и в этом запасе мы должны иметь свою долю. Мы имеем прирождённое право пользоваться общественным достоянием. Теперь, к величайшему сожалению, мы видим, что неразвитая толпа подвергает сомнению наши права. Рабочие пчёлы полагают, что запас принадлежит им одним, на том основании, что они одни собирали мёд и складывали его в клеточки. Тут они явно выворачивают наизнанку самые элементарные основания логики и права. Эти запасы принадлежат обществу, и наше пчелиное государство имеет право распоряжаться ими по своему благоусмотрению, для покрытия своих насущных потребностей. А разве поддержание нашей жизни и нашего благоденствия не может и не должно быть названо насущной потребностью государства? Разве может существовать улей без трутней, без правительственно-го сословия? Запасы принадлежат нам, ~~нам~~ прежде всего. Обеспечив своё существование, мы охотно отдадим часть

нашего излишка голодным беднякам-рабочим, но надо же нам сначала утолить свой голод и упрочить за собой проповедование на будущее время. Пойдёмте к королеве, изложим ей наши желания и представим на её рассмотрение предъявляемые нами права».

Речь предпринимчивого оратора приходится по душе слушателям, она соответствует потребностям времени, она разрешает удовлетворительным образом страшный вопрос, поставленный обстоятельствами, вопрос: есть или не есть? — и вследствие этого встречает себе единодушное сочувствие.

Депутаты от благородного сословия трутней отправляются к королеве, и королева не только не съедает их, подобно тому как жители Сандвичевых островов съели европейских парламентёров, но, напротив того, обходится с ними чрезвычайно милостиво и выслушивает с величайшим вниманием их всеподданнейшие прошения. Затем она отвечает им в таком духе, что господам трутням ничего не остаётся желать.

«Я всегда, — говорит она, окидывая всех присутствующих благосклонным взором, — была убеждена в том, что для прочности и благоденствия государства необходимо существование наследственного сословия пэров; с уничтожением этого сословия распадутся в прах все правительственные основы общества. Вы служили мне верно, вы были привязаны к моей особе, и ваши доблести вполне заслуживают награды. Вы, без всякого сомнения, прежде всех других имеете право пользоваться накопленными запасами. Я как повелительница даю вам честное слово: ваши интересы никаколько не пострадают от наступающих бедствий. Не обращайте внимания на ропот рабочих пчёл; их назначение — работать, и пока они исполняют своё дело с подобающим усердием, я сохраняю в отношении к ним милостивое расположение. Но пчёлы, пэры мои, не должны заботиться о своём пропитании; у вас есть более высокое и благородное призвание; не забывайте этого и предоставьте мелкие заботы о насущном хлебе низшим существам, менее вас облагодетельствованным дарами природы. В заключение изъявляю вам, господа пэры, искреннее моё благоволение за то, что вы с таким полным доверием обратились к вашей королеве».

Трутни торжествуют и прославляют величие, благодушие и государственную мудрость своей повелительницы.

Между тем пролетарии, востревоженные увиданием цветов, также начинают собираться в кучки и толковать.

# РУССКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОД ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ ШЕДО-ФЕРРОТИ

Глупая книжонка Шедо-Ферроти<sup>46</sup> сама по себе вовсе не заслуживает внимания, но из-за Шедо-Ферроти видна та рука, которая щедрою платою поддерживает в нём и патриотический жар и литературный талант. Брошюра Шедо-Ферроти любопытна как маневр нашего правительства. Конечно, члены нашего правительства 'не умнее самого Шедо-Ферроти, но что делать, мы покуда от них зависим, мы с ними боремся, стало быть, надо же взглянуть в глаза нашим естественным притеснителям и врагам.

Обскурантов теперь, как известно, не существует. Нет того квартального надзирателя, нет того цензора, нет того академика, нет даже того великого князя, который не считал бы себя умеренным либералом и сторонником мирного прогресса. Считая себя либералом, как-то неловко сажать людей под арест или высылать их в дальние губернии за печатно выраженное мнение или за произнесённое слово. Правительство наше, которое всё наголо состоит из либералов, начинает это чувствовать. Александру Николаевичу совестно ссыпать Михайлова и Павлова; сослать-то он их сослал, но, боже мой, что это стоило чувствительному сердцу! Студенту Лебедеву<sup>47</sup> проломили голову, но правительству тут же сделалось так прискорбно, что оно напечатало в газетах объяснения: так и так, дескать, это случилось по нечаянности, ножами жандармской сабли. Словом, наше либеральное правительство уважает общественное мнение и для своих мирно прогрессивных целей пускает в ход благородные средства, как-то: печатную гласность. Валуев и Никитенко<sup>48</sup> соружают газету с либеральным направлением, а при этом и продолжают всё-таки преследовать честную журналистику доносами и цензурными тисками. Публицист III Отделения

Барон Фиркс, Шедо-Ферроти тож, по поручению русского правительства пишет и печатает в Берлине брошюры без цензуры; великолдушное правительство смотрит сквозь пальцы на ввоз этого заказанного, но официально запрещённого товара; его продают открыто в книжных лавках; не давая своего официального разрешения, правительство упрочивает за книжкою заманчивость запретного плода; допуская и поощряя из-под руки продажу книжки, правительство обнаруживает своё великолдушие. О, как всё это тонко, остроумно и политично! А между тем журналам не позволялось разбирать книжонку; Шедо-Ферроти, как прошлую осень Борис Чичерин<sup>49</sup>, объявляются личностями священными и неприкосновенными. Горбатого одна могила исправит; наши умеренные либералы ни при каких условиях не сумеют быть честными людьми; наше правительство никогда не отучится от николаевских замашек. У него есть особенный талант оподделять всякую идею, как бы ни была эта идея сама по себе благородна и чиста. Например, все порядочные люди имеют привычку на печатное обвинение отвечать также печатно и защищаться, таким образом, тем же оружием, каким вооружён противник. Паше правительство захотело доказать, что оно тоже порядочный человек. Находя, что Герцен несправедливо обвинил его, наше правительство высылает своего рыцаря. Кажется, очень хорошо и благородно. Но посмотрите поближе. Произведение Шедо-Ферроти впущено в Россию, а сочинения Герцена остаются запрещёнными. Публика видит, что Герцена отделяют, а того она не видит, за что его отделяют. Конечно, и «Полярная звезда», и «Колокол», и «Голоса из России», и грозное «Под суд!» известны нашей публике, но ведь все эти вещи провозятся и читаются вопреки воле правительства; стало быть, если оценивать только намерения правительства, то надо будет убедиться в том, что оно хочет чернить Герцена, не давая ему возможности оправдываться и обвинять в свою очередь. Чернить человека, которого сочинения строжайше запрещены, подло, глупо и бесполезно! Заказывая своему наёмному памфлетисту брошюру о Герцене, правительство, очевидно, хочет продиктовать обществу мнения на будущее время. Это видно по тому, что мнения, противоположные мыслёнкам Шедо-Ферроти, не допускаются в печати. Правительство сражается двумя оружиями: печатною пропагандою и грубым насилием, а у общества отнимается и то единственное средство, которым оно могло и хотело бы воспользоваться... Обществу остаётся или либеральничать с разрешения цензуры, или итти путёмтайной пропаганды, тем путём, который повёл на каторгу Ми-

хайлова и Обручева<sup>50</sup>. Хорошо, мы и на это согласны; это всё отзовётся в день суда, того суда, который, вероятно, случится гораздо пораньше второго пришествия Христова.

Из чтения брошюры Шедо-Ферроти мы вынесли самое отрадное впечатление. Нас порадовало то, что при всей своей щедрости правительство наше принуждено пробавляться такими плоскими посредственностьюми. Приятно видеть, что правительство не умеет выбирать себе умных палачей, сыщиков, доносчиков и клеветников; ещё приятнее думать, что правительству не из чего выбирать, потому что в рядах его приверженцев остались только подонки общества, то, что пошло и подло, то, что неспособно по-человечески мыслить и чувствовать.

Брошюра Шедо-Ферроти имеет две цели: 1) доказать, что петербургское правительство не имеет ни надобности, ни желания убить Герцена, 2) осмеять и обругать при сем удобном случае Герцена как пустого самохвала и как за-гордившегося высокочку.

Чтобы доказать первое положение, Шедо-Ферроти утверждает, что Герцен вовсе не опасен для русского правительства и что, следовательно, даже III Отделение не решится убить его. Процесс доказательств идёт так: убивают только людей, от смерти которых может перемениться весь существующий порядок вещей в одном или в нескольких государствах; если Герцен, получая подмётные письма о намерениях русского правительства, верит этим письмам, тогда он считает себя особою европейской важности и, следовательно, обнаруживает глупое тщеславие; если же он, не веря этим письмам, поднимает гвалт, тогда он пустой и вздорный крикун. Весь этот процесс доказательств рассыпается, как карточный домик. Во-первых, правительства ежегодно убивают несколько таких людей, которые могли бы оставаться в живых, вовсе не нарушая существующего порядка. Дезертир, которого запарывают шпицрутенами, — вовсе не особа европейской важности. Бакунин, которого захватили обманом, Михайлов, Обручев, поручик Александров<sup>51</sup> — вовсе не особы европейской важности, а между тем правительство заживо хоронит их в рудниках и в крепостях. Правительство вовсе не так дорожит жизнью отдельного человека, чтобы казнить и миловать со строгим разбором. Ведь турецкий султан и персидский шах вешают зря, как вздумается, а, кажется, в наше время только учебники географии проводят различие между despoticischen правлением и правлением монархическим, неограниченным. На основании какого закона повешено пять декабристов? А если правительство

казнит по своему произволу, то отчего же оно не может, по тому же произволу, подослать убийц? Где разница между казнью без суда и убийством из-за угла? В наше время каждый неограниченный монарх поставлен в такое положение, что он может держаться только непрерывным рядом преступлений. Чтобы подданные его не знали о своих естественных правах, надо держать их в невежестве — вот вам преступление против человеческой мысли; чтобы случайно просветившиеся подданные не нарушали субординации, надо действовать насилием — вот ещё преступление; чтоб иметь в руках орудие власти — войско, надо систематически уродовать и забивать несколько тысяч молодых, сильных, способных людей — опять преступление. Идя по этой дороге преступлений, нельзя отступать от убийства. Посмотрите на Александра II: в его личном характере нет ни подлости, ни злости, а сколько подлостей и злодеяний лежит уже на его совести! Кровь поляков, кровь мученика Антона Петрова<sup>52</sup>, загубленная жизнь Михайлова, Обручева и других, нелепое решение крестьянского вопроса, история со студентами<sup>53</sup> — на что ни погляди, везде или грубое преступление, или жалкая трусость. Слабые люди, поставленные высоко, легко делаются злодеями. Преступление, на которое никогда не решился бы Александр II как частный человек, будет непременно совершено им как самодержцем всей России. Тут место портит человека, а не человек место. Если бы наше правительство потихоньку отправило Герцена на тот свет, то, вероятно, в этом не напали бы ничего удивительного те люди, которые знают, что делалось в Варшаве<sup>54</sup> и Казанской губернии. Но допустим даже, что наше правительство не намеревалось убить Герцена; из этого ещё вовсе не следует, чтобы III Отделение не могло написать к нему несколько писем, наполненных глупыми угрозами и площадной бранью; судя по себе, Бруты и Кассии нашей тайной полиции<sup>55</sup> могли надеяться, что Герцена можно запугать; чтобы разом покончить все эти нелепые проделки, Герцен написал и напечатал письмо к представителю русского правительства. Этим письмом он заявил публично, что если бы за угрозами последовали действия, то вся тяжесть подозрения упала бы на Александра II. Агенты, посыпавшие к Герцену письма, должны были увидеть, что Герцен их угроз не боится. Следовательно, им осталось или действовать, или замолчать. Действовать они не решились — духу нехватило; замолчать тоже не хотелось: ведь они думают, что прав тот, кто сказал последнее слово; вот они и выдумали пустить против Герцена книжонку Шедо-Ферроти; родственное сходство между Шедо-Ферроти и

сочинителями подмётных писем не подлежит сомнению; недаром же Шедо-Ферроти на двух языках отстаивает перед Россиею и перед Европою нравственную чистоту III Отделения. Свой своему поневоле друг.

Шедо-Ферроти плохо защитил правительство: он ничем не доказал, что оно не могло иметь намерения извести Герцена или, по крайней мере, запугать его угрозами. Усилия его оклеветать и оплевать Герцена ещё более неудачны. Шедо-Ферроти, этот умственный пигмей, этот продажный памфлист, сilitся доказать, что Герцен сам деспот, что он равняет себя с коронованными особами, что он только из личного властолюбия враждует с теперешним русским правительством. Доказательства очень забавны. Герцен деспот потому, что не согласился напечатать в «Колоколе» ответ Шедо-Ферроти на письма Герцена к русскому послу в Лондоне. Да какой же порядочный редактор журнала пустит к себе Шедо-Ферроти с его остроумием, с его казённым либерализмом и его пристрастием к III Отделению? Герцен не думает запрещать писать кому бы то ни было, но и не думает также открывать в «Колоколе» богадельню для нравственных уродов и умственных паралитиков, подобных Шедо-Ферроти. Панегирист III Отделения требует, чтобы его статьям было отведено место в «Колоколе»; в случае отказа он грозит Герцену, что будет издавать свои произведения отдельно с надписью: «Запрещено цензурою «Колокола». Вот испугал-то! Да все статьи Булгарина, Аскоченского, Рафайла Зотова, Скарятина, Модеста Корфа<sup>56</sup> и многих других достойных представителей русской вицмундирной мысли запрещены цензурою здравого смысла. Приступая к изданию своего журнала, Герцен вовсе не хотел сделать из него клаку всяких нечистот и нелепостей. Эпиграфом к «Полярной звезде» он взял стих Пушкина: «Да здравствует разум!» Этот эпиграф прямо и решительно отвергает всякое ханжество, всякое раболепство мысли, всякое преклонение перед грубым насилием и перед нелепым фактом. «Да здравствует разум», и да падут во имя разума дряхлый деспотизм, дряхлая религия, дряхлые стропила современной официальной нравственности! Всякие попытки мирить разум с нелепостью, всякое требование уступок со стороны нравственности противоречит основной идее деятельности Герцена. Если бы даже Шедо-Ферроти был просто честный простачок, верующий в возможность помирить стремления к лучшему с существованием нашего средневекового правительства, то и тогда Герцен как человек, искренно и честно служащий своей идее, не мог бы поместить в «Колоколе» его старушечью

болтовню. Но теперь, когда все знают, что он наёмный агент III Отделения, теперь его претензии печатать свои литературные доносы в «Колоколе» кажутся нам в то же время смешными и возмутительными по своей беспримерной наглости.

Шедо-Ферроти упрекает Герцена в том, что тот будто бы сравнивает себя с коронованными особами. В этом упрёке выражается как нравственная низость, так и умственная малость Шедо-Ферроти. Какая же разница между простым человеком и помазанником божиим? И какая же охота честному деятелю мысли сравнивать себя с царственными лежебоками, которые, пользуясь доверчивостью простого народа, поедают вместе со своими придворными деньги, благосостояние и рабочие силы этого народа? Если бы кто-нибудь вздумал провести параллель между Александром Ивановичем Герценом и Александром Николаевичем Романовым, то, вероятно, первый серьёзно обиделся бы такому сравнению. Но посмотрим, на чём же Шедо-Ферроти основывает своё обвинение. «Вы убеждены,— пишет он Герцену,— что вы не только либерал, но и социалист-республиканец, враг монархическому началу, а поминутно у вас высказывают выражения, обнаруживающие несчастное расположение сравнивать себя с царствующими особами. В письме к барону Бруннову<sup>57</sup>, сказав, что вы не допускаете мысли, чтобы император Александр II вооружил вас против спадасинов<sup>58</sup>, вы присоединяете: «Я бы не сделал этого ни в каком случае». В том же письме, говоря об убийцах, разосланных за моря и горы *den Dolch im Gewande*\*, и цитируя стихи Шиллера, вы опять сравниваете себя с царствующим лицом, с Дионисием Сиракузским<sup>59</sup>. Наконец, самое оглавление (заглавие) статей «Колокола», извещающих всю Европу о грозящей вам опасности, «Бруты и Кассии III Отделения» содержит сравнение с одним из колossalнейших исторических лиц. Брут и Кассий были убийцами Юлия Кесаря».

Шедо-Ферроти как умственный пигмей и как сыщик III Отделения вполне выражается в этой тираде. Он не может, не умеет опровергать Герцена в его идеях; поэтому он придирается к случайным выражениям и выводит из них невероятные по своей нелепости заключения; эта придиричивость к словам составляет постоянное свойство мелких умов; кроме того, она замечается особенно часто в полицейских чиновниках, допрашивающих подозрительные личности и желающих из усердия к начальству сбить допрашиваемую осо-

\* С кинжалом под плащом. — Ред.

бу с толку и запутать её в мелких недоговорках и противоречиях. Вступая в полемику с Герценом, Шедо-Ферроти не мог и не умел отстать от своих полицейских замашек. Адвокат III Отделения остался верен как интересам, так и преданиям своего клиента.

Вся остальная часть брошюры состоит из голословных сравнений между Шедо-Ферроти и Герценом. Шедо-Ферроти считает себя истинным либералом, разумным прогрессистом, а Герцена признаёт вредным демагогом, сбивающим с толку русское юношество и желающим возбудить в России восстание, для того чтобы возвратиться самому в Россию и сделаться диктатором. Шедо-Ферроти как адвокат III Отделения старается уверить почтенную публику, что наше правительство исполнено благими намерениями и что от него должны исходить для Великой, Малой и Белой России всевозможные блага, материальные и духовные, вещественные и невещественные. Шедо-Ферроти, конечно, не предвидит возможности переворота или, по крайней мере, старается уверить всех, что, во-первых, такой переворот невозможен и что, во-вторых, он во всяком случае повергнет Россию в бездну несчастия. Одной этой мысли Шедо-Ферроти достаточно, чтобы внушить всем порядочным людям отвращение и презрение к его личности и деятельности. Низвержение благополучно царствующей династии Романовых и изменение политического и общественного строя составляют единственную цель и надежду всех честных граждан. Чтобы при теперешнем положении дел не желать революции, надо быть или совершенно ограниченным, или совершенно подкупленным в пользу царствующего зла.

Посмотрите, русские люди, что делается вокруг нас, и подумайте, можем ли мы дольше терпеть насилие, прикрывающееся устарелою формою божественного права. Посмотрите, где наша литература, где народное образование, где все добрые начинания общества и молодёжи. Придравшись к двум-трём случайным пожарам<sup>60</sup>, правительство всё проглотило; оно будет глотать всё: деньги, идеи, людей, будет глотать до тех пор, пока масса проглощенного не разорвёт это безобразное чудовище. Воскресные школы закрыты, народные читальни закрыты, два журнала закрыты<sup>61</sup>, тюрьмы набиты честными юношами, любящими народ и идею. Петербург поставлен на военное положение, правительство намерено действовать с нами, как с непримиримыми врагами. Оно не ошибается: примирения нет. На стороне правительства стоят только негодяи, подкупленные теми деньгами, которые обманом и насилием выжимаются из бедного народа.

На стороне народа стоит всё, что молодо и свежо, всё, что способно мыслить и действовать.

Династия Романовых и петербургская бюрократия должны погибнуть. Их не спасут ни министры, подобные Валуеву, ни литераторы, подобные Шедо-Ферроти.

То, что мертвое и гнилое, должно само собой свалиться в могилу. Нам остаётся только дать им последний толчок и забросать грязью их смердящие трупы.

---

# РУССКИЙ ДОН-КИХОТ

(Сочинения И. В. Киреевского, т. I и II, Москва 1861 г.)

## I

Ничто не может быть бесцветнее и неопределённее общих выражений: обскурант, прогрессист, либерал, консерватор, славянофил, западник; эти выражения нисколько не, характеризуют того человека, к которому они прикладываются; они надевают непроницаемый мундир на его умственную личность и вместо живого человека, мыслящего и чувствующего по-своему, показывают нам неподвижную вывеску замкнутого круга убеждений. Чем даровите и замечательнее рассматриваемая личность, тем пошлее кажутся мне общие эпитеты, прилагаемые к ней такими критиками, которые не хотят или не умеют вдуматься в её личные особенности, проследить её индивидуальное развитие и, таким образом, вместо голого термина дать оживлённую характеристику.

Если бы подойти к сочинениям И. В. Киреевского так, как подошёл к ним критик «Современника», то с ним порешить было бы очень нетрудно. Причислить его к самым мрачным и вредным обскурантам вовсе не мудрено; за цитатами дело не станет; из его сочинений можно выписать десятки таких страниц, от которых покоробит самого невзыскательного читателя; ну, стало быть, и толковать нечего; привёл пол-дюжины самых пахучих выписок, поглуился над каждою в отдельности и над всеми в совокупности, поспорил для виду с автором, давая ему чувствовать всё превосходство своей логики и своих воззрений, завершил рецензию общим прогрессивным заключением—и дело готово, статья идёт в типографию.

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Напасть на Киреевского не трудно, да толку-то в этом мало. Бороться с ним не зачем, потому что его деятельность уже принадлежит прошедшему; если же мы останавливаемся на

иём, как на совершившемся факте, то мы должны или объяснить его по мере сил, или сознаться в том, что мы объяснять не умеем; а поработать над объяснением личности Киреевского как любопытного психологического факта — право стоит. Друзья и единомышленники Киреевского скажут, конечно, что его следует изучать как мыслителя, что его должно уважать как двигателя русского самосознания, что принесённая им польза будет оценена последующими поколениями. С подобными мнениями согласиться невозможно: Киреевский был плохой мыслитель — он боялся мысли; Киреевский никуда не подвинул русское самосознание, он даже не затронул его; его статьи никогда не производили впечатления; их читали мало, и теперь их совсем забыли, несмотря на то что последняя из них была написана всего лет семь тому назад; пользы Киреевский не принёс никакой, и если последующие поколения по какому-нибудь чуду запомнят его имя, то они пожалеют только о печальных заблуждениях этого даровитого человека. Если бы Киреевскому удалось составить себе обширный круг читателей и приобрести себе значение в литературе, то влияние его идей составило бы самый яркий антагонизм с пропагандой Белинского. Всякому честному деятелю литературы пришлось бы воевать с ним всеми силами своего пера: против него поднялись бы все люди, сколько-нибудь дорожащие мыслью; за него стали бы только люди очень ограниченные или очень недобросовестные. А сам Киреевский был человек очень неглупый и в высшей степени добросовестный. Отчего же он хотел остановить разум на пути его развития? Отчего он порывался повернуть его назад, к младенческим его годам? Вот в этих-то пунктах и заключается психологический интерес тех вопросов, на которые наводит чтение сочинений Киреевского и приложенных к ним материалов для его биографии.

## II

И. В. Киреевский родился в 1806 году и вырос в деревне своих родителей. Отец его умер, когда ему было шесть лет, а мать его через пять лет после смерти своего мужа вышла замуж за Елагина. Молодой Киреевский привязался к своему вотчиму и вырос под его влиянием. Доброе его согласие с своим семейством продолжалось во время всей его жизни; ему не пришлось относиться критически к личностям своих родственников, и поэтому он не испытал того тяжёлого разочарования, которое переживают почти все люди, начинающие мыслить. Вероятно, детство Киреевского оста-

вило в его душе самое светлое воспоминание; до конца жизни он дорожил теми лицами, которые управляли его первоначальным воспитанием; его совершенно удовлетворяли их педагогические приёмы, их взгляды на жизнь, их отношения к разным практическим и теоретическим вопросам; одобряя их понятия, Киреевский сам успокаивался на них и не чувствовал необходимости стремиться к чему-нибудь более разумному; спокойно и приятно проведённое детство вместе с неизгладимыми воспоминаниями оставило в его уме такой густой осадок допотопных идей, которого не могли сдвинуть с места ни житейские волнения, ни теоретические размышления. Любознательность Киреевского была очень велика — он много читал, серьёзно задумывался над прочитанным, но как только вычитанные идеи начинали разрушать образы, насытившие его детство, так он отстранял их прочь, чистосердечно называя их заблуждениями и не считая даже нужным останавливаться на вопросе — точно ли это заблуждения. Киреевский любил те понятия, с которыми он свыкся в детстве; а когда человек любит какую-нибудь идею, тогда бывает очень трудно убедить его в её несостоятельности; чтобы опрокинуть в голове его эту любимую идею, необходим сильный толчок, крутой переворот или постоянное влияние другого человека, стоящего выше его по развитию и смотрящего на вещи непредубеждёнными глазами. Ни того, ни другого не пришлось испытать Киреевскому.

«Мы, — пишет он к г. Кошелёву, мечтая о жизни, — возвратим права истинной религии, изящное согласим с нравственностью, возбудив любовь к правде, глупый либерализм заменим уважением законов и чистоту жизни возвысим над чистотою слога».

В начале 1830 года Киреевский, воодушевлённый этими *высокими* стремлениями, уехал за границу; ему в это время пришлось пережить глубокое огорчение; он сделал предложение любимой женщине и получил отказ; это событие потрясло его здоровье, и врачи предписали ему путешествие как лучшее средство поправиться и развлечься. Его не манило вдаль стремление к широкой жизни мысли; ему было уютно в московском кругу родственников и друзей, и спокойное наслаждение ровными отношениями с окружающими людьми было для него дороже кипучей деятельности и разнообразных волнений умственной жизни. «Я возвращусь, возвращусь скоро, — писал он через несколько дней после своего отъезда из Москвы, — это я чувствую, расставшись с вами».

Мягкосердечный московский юноша пробыл за границей

всего 10 месяцев, и заграничная атмосфера не успела произвести в нём никакого благотворного изменения. Он мерил западную мысль крошечным аршином своих московских убеждений, которые казались ему непогрешимыми и которые разделяли с ним все убогие старушки Белокаменной. Он слушал лекции известнейших профессоров, усваивал себе фактические сведения, сообщал в письмах к родственникам и друзьям остроумные заметки о методе и манере их преподавания, и между тем сам оставался неразвитым, наивным ребёнком, не умевшим ни на минуту возвыситься над воззрениями папеньки и маменьки.

Слушая лекции Шлейермахера, профессора теологии, Киреевский находил, что Шлейермахер слишком много рассуждает и что современному мыслителю следует воздерживаться от анализа подробностей. Избавляю себя от обязанности выписывать то место, в котором Киреевский произносит суждение над Шлейермахером, и прошу читателей моих, желающих познакомиться с этим суждением, пробежать в I томе 42-ю страницу материалов.

В Берлине Киреевский познакомился с Гегелем, и на него сильно подействовала чарующая мысль, что он окружён *первоклассными умами Европы*; он выразил эту мысль в письмах на родину; с первоклассными умами он говорил «о политике, о философии, о религии, о поэзии»; как на него подействовали суждения первоклассных умов об этих высоких предметах, он не пишет. Развивал ли он сам перед ними свои наивноребяческие понятия и нравилось ли им его нетронутое простодушие, он также не сообщает. Сношения Киреевского с Гегелем и его знакомыми продолжались очень недолго и поэтому не успели произвести прочного впечатления. Киреевский с любопытством осмотрел мнения первоклассных умов, как осматривают диковинки какого-нибудь музеума, и оставил эти мнения нетронутыми, вероятно потому, что они резко расходились с его стремлениями и казались ему непригодными для жизни.

В конце 1830 года Киреевский возвратился в Россию. Впечатления его заграничной жизни глубоко запали в его воспринимчивый ум и выразились в искреннем сочувствии к западному просвещению, в сильном желании провести в русскую жизнь начала лучшей цивилизации. В течение 1831 года он собрал материалы для издания журнала, составил себе круг сотрудников и в 1832 году выпустил в свет две первые книжки журнала «Европеец». Сочувствие Киреевского к западному просвещению обнаружилось в его статье «Девятнадцатый век», открывшей собою его журнал

и выразившей в общих чертах ту программу, которой намерен был следовать издаатель. В этой статье проведена мысль о необходимости постоянного умственного общения между Европой и Россией. «Ибо просвещение одинокое, — говорит Киреевский, — китайски отделённое, должно быть и китайски ограниченное; в нём нет жизни, нет блага, ибо нет прогрессии, нет того успеха, который добывается только совокупными усилиями человечества». В этой статье можно заметить только один существенно важный недостаток — крайнюю голословность и бездоказательность. В подтверждение своих идей Киреевский не приводит ни одного факта. Вся статья вертится на отвлечённых умозрениях. Киреевский составляет себе какую-то химическую формулу европейской образованности и потом, отвернувшись от действительных фактов, смотрит только на эту формулу, передвигает и перетасовывает её ингредиенты и подводит такие итоги, которые столько же похожи на действительность, сколько список примет, означенных в отпускном билете, похож на живого владельца этой бумаги. Всё сочувствие Киреевского к европейской цивилизации улетучивается в общих местах и фразах; если оно не выражается в междометиях и восклицаниях, то это происходит единственно оттого, что Киреевский старается везде выдерживать тон серьёзного и основательного мыслителя. На самом же деле в его статье кроме внешнего тона нет ничего солидного и основательного; он берёт из Гизо (не указывая на источник) его мнение о том, что европейская цивилизация сложилась из трёх элементов: из остатков классического мира, из христианства и из германского варварства, и на эту тему начинает разыгрывать вариации очень однообразные, утомительные и бесполезные. Ни одна реальная сторона европейской жизни не затронута в этой характеристике девятнадцатого века. Мы не видим даже в общих чертах, как живут люди в Европе, как смотрят друг на друга различные сословия, к чему стремятся отдельные личности и целые партии, какие потребности жизни отражаются в литературе. Видно, что благоговение Киреевского перед первоклассными умами Европы ещё продолжается; ему нет дела до того, что ест французский блузник, нет дела до того, что говорит на своём митинге английский ремесленник, нет дела до того, как богатая буржуазия эксплуатирует пролетариев и как буржуа, хозяин в своём доме и в своей семье, давит индивидуальное развитие своих сыновей и дочерей; бытовые вопросы, возникающие в европейской жизни и составляющие её животрепещущий и общечеловеческий интерес, проходят мимо его просвещённого ума, занятого

недосягаемо высокими интересами и аристократическими идеальными стремлениями. Продолжая восхищаться первоклассными умами Европы, Киреевский, очевидно, думает, что эти-то первоклассные умы, т. е. дюжины две немецких профессоров философии, олицетворяют в своих особах самые характерные моменты европейской цивилизации. Киреевскому кажется, что мысль Шеллинга о сущности истинного познания имеет мировое значение и что, высказавши эту мысль в научной форме, Шеллинг сделал истинно великое открытие, просто в конец разодолжил всё человечество. Придавая такое колоссальное значение немецкой умозрительной философии, Киреевский, конечно, забывает, что вряд ли одна сотая часть всего населения Западной Европы интересуется диалектическими построениями немецких профессоров и что даже эта сотая не выносит для себя из этих диалектических построений ничего существенного. Если под именем цивилизации подразумевать те формы, в которые укладывается жизнь отдельного человека и народа, то умозрительная философия получит право участвовать в картине цивилизации настолько, насколько она содействует развитию и изменению бытовых форм и жизненных отношений. В этом случае она электрическим током проходит через тысячи работающих голов; когда же эта умозрительная философия ограничивается построением формул, тогда она оставляется на долю досужим людям, которых не помяла железная рука вседневной заботы и которым приятно носиться в отвлечённых пространствах, вместо того чтобы смотреть на горе окружающих людей и помогать им делом и советом.

Умозрительная философия — пустая трата умственных сил, бесцельная роскошь, которая всегда останется непонятной для толпы, нуждающейся в наущном хлебе. Этого не понимали ни Гегель, ни Шеллинг, этого, конечно, не понял и Киреевский. Вместо того чтобы взглянуть на умозрительную философию как на хроническое поветрие, как на болезненный нарост, развившийся вследствие того, что живые силы, стремившиеся к практической деятельности, были насилиственно сдавлены и задержаны, Киреевский преклоняется перед философами как перед вожаками европейской мысли, любуется ими как цветом и надеждой европейской цивилизации. Замечательно, что масса читателей обыкновенно сочувствует мыслителю только в каком-нибудь одном, часто очень узком, часто чрезвычайно широком применении его идеи. Масса берёт только практический вывод и обыкновенно делает этот вывод так смело и так резко, что сам мыслитель пугается и пятится назад. Анабаптисты и кре-

стяниские войны были практическим выводом идей Лютера и Меланхтона, и Лютер вместе с Меланхтоном испугались и прокляли своё собственное дело. Так же точно Гегель, Шеллинг и все прочие предводители «немецкого любомудрия» прокляли бы те неожиданные выводы, которые делает Киреевский на основании их идей и их деятельности. Этим «первоклассным» умам Европы пришлось бы краснеть от стыда и досады, если бы они узнали, что их в России гладят по головке за то, что они показали неудовлетворительность чистого разума, составили реакцию против энциклопедистов XVIII века и, таким образом, натолкнули европейский Запад на возвратный путь. Киреевский как мягкосердный московский юноша, сросшийся с идеями своего родимого города, увидал и понял в немецких философах только то, что имело сходство с его стремлениями.

Чтобы согласить своё уважение к первоклассным умам Европы с своею слепою привязанностью к тому, что толковали ему с детства маменька да нянюшка, Киреевский употребил довольно ловкий манёвр: он говорит, что Гегель тем велик и полезен, что, доведя рационализм до крайних пределов, он показал недостаточность чистого разума и убедил людей в необходимости искать других источников познания, «очистил дорогу к храму живой мудрости». Вот, думает Киреевский, Запад увидал, что на своих философах далеко не уедешь; вот он погорюет, погорюет, да и обратится к нам за советом, а мы, конечно, дадим ему совет в московском духе; Запад прислушается, увидит, что это «добро зело», скажет подобно князю Владимиру, что отведав сладкого, уже не хочешь горького, и заживём мы с Западом душа в душу, как жили с ним с лишком лет тысячу тому назад. В таких-то красках рисуются Киреевскому будущие отношения между цивилизациями России и Европы. Эти краски в его статье «Девятнадцатый век» положены так легко, что они проходят незаметными для невнимательного читателя; Киреевский в этой статье напирает всего больше на то, что мы должны сближаться с Европой и заимствовать у неё образованность, но за этими словами слышится тайная надежда: будет и на нашей улице праздник; придёт к нам Европа просить ума-разума, и мы великодушно поделимся с нею нашими духовными благами. В статье «Девятнадцатый век» выражались, таким образом, два главных момента умственной жизни Киреевского: на эту статью положили свою печать детство Киреевского и его путешествие за границу; первое отразилось в теплоте чувства и в робости мысли, второе — в искреннем, но голословном и необъяснимом сочувствии к европейской

цивилизации. Чему сочувствует Киреевский — мы не видим. На что ему нужна Европа — не понимаем. Словом, во всей статье переплется московский сентиментализм с каким-то сердечным влечением к европейскому Западу. При этом должно заметить, что это неопределённое, сердечное влечение не имеет ничего общего с сознательным уважением зрелого человека к оценённой и проверенной идее.

### III

Если бы Киреевский, управляя журналом, продолжал уяснять себе и публике свои стремления и симпатии, то, вероятно, он договорился бы до каких-нибудь осязательных результатов; он увидал бы противоречие между европеизмом и московскою сентиментальностью и склонился бы определённым образом на ту или на другую сторону. Пока впечатление заграничного путешествия было ещё свежо и сильно, можно было надеяться, что западный элемент возьмёт верх над воспоминаниями детства; но тут, к несчастью, непредвиденные обстоятельства насилиственно прервали деятельность Киреевского. «Европеец» прекратился на первых двух книжках. Люди с сильным характером раздражаются неудачами; их энергия удваивается при борьбе с препятствиями; их убеждения становятся строже и последовательнее, обозначаются отчётилее, резче и неумолимее. Но с Киреевским этого не могло случиться; он упал духом, перестал писать, стал внимательно пересматривать свои убеждения и в многом изменил их основной характер. Он, конечно, не прививал к себе искусственно таких идей, которые гармонировали бы с обстоятельствами; он не стал бы себя насиливать, не поплыл сознательно по течению, но, как человек в высшей степени впечатлительный, он испытал от этой неудачи самое сильное потрясение; встревоженный и огорчённый, он усомнился в самом себе; ему пришло в голову, что, может быть, это само *пророчество* даёт ему спасительный урок, что, может быть, он заблуждался и указывал своим согражданам такой путь развития, который не соответствует их потребностям.

Когда в уме Киреевского началось это тяжёлое раздумье, когда ему, таким образом, представился случай под влиянием житейской невзгоды выковать себе убеждения зрелого человека, тогда воспоминания детства в полной яркости и отчётиности представились его встревоженному воображению. Окружающие впечатления, Москва и Долбино (родовое имение Киреевских), взяли верх над европейскими

тенденциями, пробудившимися во время заграничной поездки и выразившимися в прерванной деятельности молодого журналиста. Эти тенденции, в которых было так много пеясного, но, вместе с тем, так много искреннего, эти тенденции, из которых при других условиях могло выработать-  
ся много хорошего и разумного, отошли на задний план, заявили и зачахли, уступили своё место другим воззрениям, мрачным, бесплодным и безжизненным.

Если можно сближать литературный тип с личностью действительно существовавшего человека, то я позволю себе сравнить участь Киреевского с судьбою Лизы из «Дворянского гнезда» Тургенева. И Киреевский и Лиза носили в себе с детства зародыши того разложения, которое со временем погубило и извратило их богатые умственные силы; оба они, и Киреевский и Лиза, были способны жить разумною жизнью; если бы им благоприятствовало счастье, то Лиза не пошла бы в монастырь, а Киреевский остался бы верен чистоевропейским тенденциям; но когда над ними обрушилась беда, тогда в них поднялись все их мистические инстинкты, и оба кончили очень дурно.

Прекратив издание «Европейца», Киреевский сосредоточился и в продолжение двенадцати лет написал только две небольшие статьи; когда он снова начал высказываться в печати, тогда направление его мыслей оказалось уже существенно изменённым. Составитель материалов для биографии Киреевского находит, конечно, что это изменение было важным шагом вперёд; я скажу с своей стороны, что это изменение было глубоким и окончательным падением.

Обо многих людях, шедших по тому пути, по которому пошёл Киреевский, можно сказать просто: туда им и дорога! Но о Киреевском нельзя не пожалеть, как нельзя, например, не пожалеть о Гоголе. Несмотря на то что его ум никогда не дошёл до самоосвобождения, ему невозможно отказать в значительной степени даровитости. Он не доводит никакой идеи до последних пределов, но в диалектическом развитии этой идеи он всегда обнаруживает гибкость ума и логическую находчивость. Логика Киреевского скована пристрастиями и предрассудками, но, отстаивая эти пристрастия и предрассудки, он пускает в ход самые разнообразные диалектические приёмы и действует на читателя не силою последовательности, а разнообразием и наглядностью аргументов. Он не мыслитель; он просто человек, горячо чувствующий и старающийся убедить читателя в нормальности и законности своих симпатий. Люди, одарённые от природы непобедимою логикою здравого смысла, конечно, увидят,

к чему клонятся усилия Киреевского, и не поддадутся ни его доводам, ни теплоте чувства, разлитого в его статьях.

Что же касается до людей слабых, чувствительных и способных увлекаться, то на них могут действовать в высшей степени тенденции Киреевского, прикрытые приличною литературною формою, соглашённые наружным образом с интересами гуманного развития и подкрашенные научными терминами и именами новейших философов.

Когда Киреевский толкует об общих исторических вопросах, о потребностях народа и человечества, тогда он оказывается совершенно не на своём месте. У него нехватает широты взгляда и силы ума, для того чтобы охватить подобные вопросы во всём их величии и чтобы, обсуживая их, не забиться в какую-нибудь трущобу, из которой нет выхода на свежий воздух. Об Европе и о России он судит вкрай и вкось, не зная фактов, не понимая их и стараясь доказать всему читающему миру, что и философия, и история, и политика нуждаются для своего оживления именно в тех понятиях, которые были привиты ему самому. Тот же Киреевский, имея дело с частным вопросом, с небольшим явлением, не превышающим понимания обыкновенного человека, оказывается очень тонким ценителем, очень остроумным критиком и беспристрастным судьёю.

В его мелких статьях рассыпано много удачных замечаний о нашей вседневной жизни, об уродливых и смешных явлениях, встречающихся на каждом шагу в нашем несложившемся обществе. Вот, например, что говорит Киреевский в своей статье «Горе от ума на московском театре»:

«Философия Фамусова и теперь ещё кружит нам головы: мы и теперь, так же как в его время, хлопочем и суетимся из ничего, кланяемся и унижаемся бескорыстно, только из удовольствия кланяться; ведём жизнь без цели, без смысла; сходимся с людьми без участия, расходимся без сожаления; ищем наслаждений минутных и не умеем наслаждаться. И теперь, так же как при Фамусове, дома наши равноткрыты для всех: для званных и незванных, для честных и для подлецов. Связи наши составляются не сходством мнений, не сообразностью характеров, не одинаковою целью в жизни и даже не сходством нравственных правил; ко всему этому мы совершенно равнодушны. Случай нас сводит, случай разводит и снова сближает без всяких последствий, без всякого значения».

Эти слова, по моему мнению, выражают верный и бесподобный взгляд на пустую жизнь нашего общества, на отсутствие в нём общих интересов, на узкую ограниченность той

сферах, в которой мы живём и стараемся действовать. Ясно, что Киреевский, выражая подобные мысли, не мирился с несовершенствами нашей действительности и считал необходимым исправление этих недостатков. Причину недостатков он видит в том, что «из-под европейского фрака выглядывает остаток русского каftана и что, обривши бороду, мы ещё не умыли лица». Средство исцеления заключается, по его мнению, в сближении с Европой, в усвоении общечеловеческих идей, в уничтожении особенности и неподвижности. Все эти идеи здравы и верны; в положительной их части, т. е. там, где Киреевский указывает на то, что должно делать, можно заметить ту же отвлечённую голословность, которую мы уже видели в статье «Девятнадцатый век». Что же касается до отрицательной части, т. е. до перечисления недостатков, то должно сознаться, что в ней много справедливого и даже оригинального. Киреевский глубоко чувствовал беззлаберность русской жизни, и это чувство выразилось в его произведениях в очень разнообразных формах; порою он является обличителем житейских нелепостей, порою выражает своё сочувствие к тем лучшим единицам, которые страдают в душной атмосфере, порою сам тоскливо стремится вон из действительности в мир мечты или в область отвлечённого умозрения. В небольшой статье его «О русских писательницах» можно найти несколько горячо прочувствованных страниц. Киреевский понимает, что женщина, чувствующая потребность высказаться перед своими согражданами, принуждена бороться в России со многими и положительными и отрицательными препятствиями; он понимает, что труд женщины далеко не получил ещё у нас права гражданства, что женщина, предоставленная своим собственным силам, принуждённая преодолевать предубеждение одних, равнодушие других, непонимание третьих, рискует умереть с голоду, несмотря ни на свою даровитость, ни на своё образование, ни на искреннее стремление к честному и общеполезному труду. Если этого уже нет теперь, если в наше время даровитая писательница пользуется всеобщим уважением, то это было иначе в тридцатых годах, когда писал Киреевский; тогда вообще круг читающей публики был гораздо теснее, и, кроме того, предубеждение против литературного труда женщины имело своё значение в обществе и в семействе. Вот, например, краткий рассказ Киреевского об одном замечательном факте тогдашней литературы и тогдашней жизни.

«Недавно, — говорит он, — российская академия издала стихотворения одной русской писательницы, которой труды займут одно из первых мест между произведениями наших

дам-поэтов и которая до сих пор оставалась в совершенной неизвестности. Судьба, кажется, отдала её от людей какою-то страшною бездной, так что, живя посреди их, посреди столицы, ни она их не знала, ни они её. Они оставили её, не знаю для чего; она оставила их для своей Греции, для Греции, которая, кажется, одна наполняла все её мечты и чувства; по крайней мере о ней одной говорит каждый стих из нескольких десятков тысяч, написанных ею. Странно, семнадцать лет, в России, девушка бедная, бедная с всею своею учёностью! Знать восемь языков, с талантом поэзии соединять талант живописи, музыки, танцеванья, учиться самым разнородным наукам, учиться беспрестанно, работать всё детство, работать всю первую молодость, работать, начиная день, работать отдыхая, написать три больших тома стихов по-русски, может быть столько же на других языках; *в свободное время* переводить трагедии, русские трагедии, — и всё для того, чтобы умереть в семнадцать лет в бедности, в крайности, в неизвестности!»

В этом живом рассказе о неизвестных трудах, об этой глухой борьбе с нуждою, об этой молодой жизни, испепелившейся в бесплодных усилиях, слышен голос человека, способного чувствовать и понимать чужое горе. В этом рассказе слышится страшный укор нашей жизни. Отчего девушка даровитая, работающая изо всех сил, обладающая значительными сведениями, тратит время на бесполезные стихи о Греции, не находит в русской жизни материалов для своей деятельности и умирает беспомощная, непризнанная, никому не нужная, никем и ничем не согретая?

Киреевский глубоко сочувствует тем постоянным огорчениям, которые впечатлительная душа женщины испытывает ежеминутно при разнообразных столкновениях с уродливыми явлениями *нашей* жизни. Он понимает, что женщина, одарённая живым эстетическим чувством, может и должна стремиться в какую-нибудь более изящную и гармоническую среду.

«Италия, кажется, сделалась её вторым отечеством, — говорит он об одной из наших писательниц, — и, впрочем, кто знает? Может быть, необходимость Италии есть общая, неизбежная судьба всех, имевших участь, ей подобную? Кто из первых впечатлений узнал лучший мир на земле, мир прекрасного; чья душа от первого пробуждения в жизнь была, так сказать, взелеяна на цветах искусств и образованности, в тёплой итальянской атмосфере изящного; может быть, для того уже нет жизни без Италии, и синее итальянское небо, и воздух итальянский, исполненный солнца и музыки, и

итальянский язык, проникнутый всей прелестью неги и грации, и земля итальянская, усеянная великими воспоминаниями, покрытая, зачарованная созданиями гениального творчества, — может быть, всё это становится уже не прихотью ума, но сердечною необходимостью, единственным, неудушающим воздухом для души, избалованной роскошью искусств и просвещения».

Любая изящным произведением, Киреевский невольно сравнивает гармонию этого произведения с нестройностью окружающей жизни; он чувствует разлад, существующий между миром мечты и миром серенькой действительности, и самое эстетическое наслаждение переходит в тихое чувство грусти. «Всё слишком идеальное, — говорит он, — даже при светлой наружности рождает в душе печаль, оттенённую каким-то магнитическим сочувствием; такова одинокая чистая песнь, прославленная сквозь нестройный, её заглушающий шум; такова жизнь девушки с душою пламенной, мечтательной, для которой из мира событий существуют ещё одни внутренние». Пожалуйста, гг. читатели, не останавливайтесь на внешней сентиментальности, которую грешит это место; взглядитесь в основную мысль, вникните в то настроение, которое выразилось в этих тихих излияниях грусти, поставьте себя на место Киреевского, перенеситесь в его время, и вы увидите, что причины этой грусти были очень реальные.

У Киреевского рассеяно в его статьях много замечательных мыслей; чисто литературная критика его отличается верностью эстетического чутья. Замечательнее других его произведений небольшая статья о стихотворениях Языкова. Приведу из этой статьи несколько выписок, выражавших общие отношения автора к общим вопросам жизни.

«Мы часто, — говорит Киреевский, — считаем людьми нравственными тех, которые не нарушают приличий, хотя бы, впрочем, жизнь их была самая ничтожная, хотя бы душа их была лишена всякого стремления к добру и красоте. Если вам случалось встречать человека, согретого чувствами возвышенными, но одарённого притом сильными страстями, то вспомните и сочтите, сколько нашлось людей, которые поняли в нём красоту души, и сколько таких, которые заметили одни заблуждения. Странно, но правда, что для хороншой репутации у нас лучше совсем не действовать, чем иногда ошибаться, между тем как, в самом деле, скажите, есть ли на свете что-нибудь безнравственнее равнодушия».

Вот замечательная мысль Киреевского об отношениях между жизнью и искусством:

«Но когда является поэт оригинальный, открывающий новую область в мире прекрасного и прибавляющий, таким образом, новый элемент к поэтической жизни своего народа, — тогда обязанность критики изменяется. Вопрос о достоинстве художественном становится уже вопросом второстепенным; даже вопрос о таланте является неглавным; но мысль, одушевлявшая поэта, получает интерес самобытный, философический; и лицо его становится идею и его создания становятся прозрачными, так что мы не столько смотрим на них, сколько сквозь них, как сквозь открытое окно стараемся рассмотреть самую внутренность новог<sup>о</sup> храма и в нём божество, его освящающее.

Оттого, входя в мастерскую живописца обыкновенного, мы можем удивляться его искусству; но перед картиною художника творческого забываем искусство, стараясь понять мысль, в ней выраженную, постигнуть чувство, зародившее эту мысль, и прожить в воображении то состояние души, при котором она исполнена. Впрочем, и это последнее сочувствие с художником свойственно одним художникам же; но вообще люди сочувствуют с ним только в том, что в нём чисто человеческого: с его любовью, с его тоской, с его восторгами, с его мечтою-утешительницею, одним словом, с тем, что происходит внутри его сердца, не заботясь о событиях его мастерской.

Таким образом, на некоторой степени совершенства искусство само себя уничтожает, обращаясь в мысль, превращаясь в душу».

Вот суждение Киреевского об особенностях поэзии Языкова:

«Если мы вникнем в то впечатление, которое производит на нас его поэзия, то увидим, что она действует на душу, как вино, им воспеваемое, как какое-то волшебное вино, от которого жизнь двоится в глазах наших: одна жизнь является нам тесною, мелкою, вседневною; другая — праздничною, поэтическою, просторною. Первая угнетает душу, вторая освобождает её, возвышает и наполняет восторгом. И между сими двумя существованиями лежит явная бездонная пропасть; но через эту пропасть судьба бросила несколько живых мостов, по которым душа переходит из одной жизни в другую: это любовь, это слава, дружба, вино, мысль об отечестве, мысль о поэзии и, наконец, те минуты безотчётного, разгульного веселья, когда собственные звуки сердца заглушают ему голос окружающего мира, — звуки, которыми сердце обязано собственной молодости более, чем случайному предмету, их возбудившему».

Я, может быть, утомил читателя выписками, но мне хотелось дать возможно полное понятие о светлой стороне литературной деятельности Киреевского. В этой светлой стороне отразилась способность сочувствовать всем человеческим ощущениям и понимать чувством все человеческие слабости и страдания. Киреевский родился художником и, неизвестно почему, вообразил себя мыслителем. Он впечатлителен, восприимчив, отзывчив, способен подчиняться чужому влиянию, увлекаться чужими идеями; у него нет умственной самобытности; он постоянно отражает в себе идеи и симпатии той среды, в которой он живёт и которую любит. Бывши юношем, он жил тем, что было втолковано ему в детстве; поехавши за границу, он увлёкся «первоклассными умами» Европы и начал стремиться к западному просвещению, которое было известно ему как-то по наслышке да по философским трактатам Гегеля и Шеллинга. Воротившись на родину и заслышав гул московских колоколов, он крепко прирос к той родимой почве, о которой убивается журнал «Время», и вообразил себя представителем славянского любомудрия, необходимого для спасения разлагающегося Запада. Но, как ни глубоко было заблуждение Киреевского, оно органически вытекало из основных свойств его характера, из тех самых свойств, которые выразились в нескольких блестящих мыслях и горячо прочувствованных страницах.

Вот, видите ли, есть люди, которые не могут смотреть хладнокровным критическим взглядом на всё, что их окружает; им необходимо горячо любить, горячо отдаваться чему-нибудь, с полным самоотвержением служить какому-нибудь принципу или даже какому-нибудь лицу. Когда эти люди успевают обречь себя на служение какой-нибудь великой, истинной идее, тогда они совершают великие подвиги, становятся благодетелями своего народа и заслуживают признательность современников и потомков. Когда же они опибаются в выборе своего кумира, тогда они делаются беспутными людьми, поступают в число гасильников и становятся тем опаснее, чем ревностнее и чистосердечнее увлекаются своею привязанностью к превратной идее. Киреевский чувствовал, что многие потребности просвещённого ума не находят себе удовлетворения, что многие обыдённые явления оскорбляют человеческое чувство. Что же оставалось ему делать в таком положении? Оставалось бороться против тех сторон жизни, которые можно было изменить, и мириться с тем, что было не под силу отдельному человеку. Мирясь с явлениями жизни чисто внешним образом, надо было оградить самого себя от разворачивающего влияния этой жизни. Надо

было, отказываясь от фактической борьбы, оставаться настороже и хранить свою умственную самостоятельность среди хасса невежества, насилия и предрассудков. Но жить таким образом, без деятельной борьбы и без страстных привязанностей, значило жить чистым отрицанием, не верить ни в себя, ни в других, ни в идею, сознавая безотрадность настоящего и сомневаясь в возможности лучшего будущего. Остановиться на таком печальном воззрении на жизнь способны очень немногие люди; чтобы ужиться с чистым сомнением в области науки и жизни, надо обладать значительной трезвостью ума и недюжинною твёрдостью характера. Но у Киреевского не было ни того, ни другого; страдая от особенностей жизни, он не мог ни свыкнуться с этими особенностями, ни выстрадать себе полное равнодушие в этой жизни. Уродливые явления мешали ему действовать, но они не мешали ему мечтать, и он весь ушёл в мир мечты, унося с собой свою диалектическую ловкость, которая помогала ему доказывать и себе и другим, что мечта его — не мечта, а живая действительность. Если бы Киреевский был мыслителем, если бы он заботился не об удобстве того или другого мироисозерцания, а только о степени его действительной верности, тогда он не стал бы утешать себя произвольными фантазиями; если бы он был чистым поэтом, тогда он просто окружил бы себя созданиями собственного воображения, не стараясь связывать эти создания с явлениями действительной жизни. Но, к сожалению, в Киреевском соединились эти льва редко совместные элементы; он по природе своей художник, а по развитию ученик немецких философов. Он постоянно мечтает, но воспеваемые им предметы, к сожалению, вовсе не вяжутся с поэзией; вместо того чтобы изображать свои собственные чувства, настроение своей души, паконец то или другое, мелкое или крупное событие, он берёт самые фетвлечённые темы и пишет поэму в прозе о европейской цивилизации, об отношениях между Западом и Россией, о новых началах в философии. Такого рода сочинения оказываются плохими поэмами и плохими рассуждениями.

Личное настроение автора не может выразиться в свободном лирическом излиянии, потому что оно сковано логикой, диалектикой и физиономией действительных фактов. Что же касается до логики автора, то она, конечно, стоит ниже всякой критики, потому что её дело — доказывать то, во что Киреевскому приятно верить. «Логический вывод, — говорит со-братель материалов, думая похвалить своего героя, — был у Киреевского всегда завершением и оправданием его внутреннего верования и никогда не ложился в основание его

убеждения». В сочинениях Киреевского хороши только те места, в которых он является чистым поэтом, в которых он бессознательно выражает всю полноту своего чувства. Повести Киреевского (из которых окончена только одна — «Опал») очень плохи, потому что в них преобладает головной элемент; они сбиваются на аллегории или же на рассуждения на заданную тему. У Киреевского нехватило бы творческой силы на то, чтобы обдумать и создать художественно стройное целое; у него мечтательность выражается в общем направлении мысли, а сильное воодушевление появляется только проблесками и продолжается недолго; я выписал почти все те места, в которых Киреевский, увлекаясь лирическим порывом, производит на читателя сильное и вполне гармоническое впечатление. Таких мест в двух томах очень немного, и эти места тонут в сотнях дидактических, утомительно скучных и глубоко бесполезных страниц.

#### IV

Направление, по которому пошёл Киреевский после своего двенадцатилетнего бездействия, называется *православно-славянским*. Задатки этого направления заключаются ещё в основных положениях его статьи «Девятнадцатый век», но эти положения получили полное развитие и принесли обильные плоды впоследствии, в его ответе Хомякову, в письме к графу Комаровскому, в критических статьях, помещавшихся в «Москвитянине», и в последней его философской статье, украсившей собою страницы покойной «Русской беседы». Все эти статьи большей частью посвящены сравнению европейской цивилизации с русскою. Существование самобытной русской цивилизации, процветавшей «во время оно» и задавленной реформой Петра, составляет в глазах Киреевского неопровергимый факт, не требующий никаких доказательств. Эта русская цивилизация восхваляется всеми возможными возгласами и причитаниями; сравнивая её с западною, Киреевский находит, что она не в пример лучше; он останавливается на этом сравнении с особенной любовью и с трогательным патриотическим самодовольствием; главное преимущество, которое он находит в русской цивилизации, заключается в том, что русская цивилизация не проникнута рационализмом и не подчинена господству разума. Чтобы доказать, что Киреевский считает это свойство действительным и важным преимуществом и что деятельность разума кажется ему в высшей степени опасною, я приведу следу-

ющую цитату из его письма к графу Комаровскому. Она очень длинна и скучна, но читатель узнает из неё замысловатое миросозерцание Киреевского и убедится в том, что русская цивилизация стоит неизмеримо выше западной:

«Но остановимся здесь и соберём вместе всё сказанное нами о различии просвещения западноевропейского и древнерусского; ибо, кажется, достаточно уже замеченных нами особенностей, для того чтобы, сведя их в один итог, вывести ясное определение характера той и другой образованности.

Христианство проникало в умы западных народов через учение одной римской церкви, — в России оно зажигалось на светильниках всей церкви православной; богословие на Западе приняло характер рассудочной отвлечённости, — в православном мире оно сохранило внутреннюю цельность духа; там раздвоение сил разума, здесь — стремление к их живой совокупности; там движение ума к истине посредством логического сцепления понятий, здесь — стремление к ней посредством внутреннего возвышения самосознания к сердечной цельности и средоточию разума; там искание наружного, мёртвого единства, здесь — стремление к внутреннему, живому; там церковь смешалась с государством, соединив духовную власть со светскою и сливая церковное и мирское значение в одно устройство смешанного характера, — в России она оставалась не смешанною с мирскими целями и устройством; там схоластические и юридические университеты, в древней России — молитвенные монастыри, сосредоточившие в себе высшее знание; там — рассудочное и школьное изучение высших истин, здесь — стремление к их живому ициальному познаванию; там — взаимное прорастание образованности языческой и христианской, здесь — постоянное стремление к очищению истины; там — государственность из насилий завоевания, здесь — из естественного развития народного быта, проникнутого единством основного убеждения; там — враждебная разграниченность сословий, в древней России — их единодушная совокупность при естественной разновидности; там искусственная связь рыцарских замков с их принадлежностями составляет отдельные государства, здесь совокупное согласие всей земли духовно выражает неразделимое единство; там поземельная собственность — первое основание гражданских отношений, здесь собственность — только случайное выражение отношений личных; там — законность формально логическая, здесь — выходящая из быта; там — наклонность права к справедливости внешней, здесь — предпочтение внутренней; там юрис-

пруденция стремится к логическому кодексу, здесь вместо наружной связности формы с формою ищет она внутренней связи правомерного убеждения с убеждениями веры и быта; там законы исходят искусственно из господствующего мнения, здесь они рождались естественно из быта; там улучшения всегда совершались насильственными переменами, здесь — стройным естественным возрастанием; там — волнение духа партий, здесь — незыблемость основного убеждения; там — прихоть моды, здесь — твёрдость быта; там — шаткость личной самозаконности, здесь — крепость семейных и общественных связей; там — щеголеватость роскоши и искусственность жизни, здесь — простота жизненных потребностей и бодрость нравственного мужества; там — изненеженность мечтательности, здесь — здоровая цельность разумных сил; там — внутренняя тревожность духа при рассудочной уверенности в своём нравственном совершенстве, у русского — глубокая тишина и спокойствие внутреннего самосознания при постоянной недоверчивости к себе и при неограниченной требовательности нравственного усовершенствования; одним словом, там — раздвоение духа, раздвоение мыслей, раздвоение наук, раздвоение государства, раздвоение сословий, раздвоение общества, раздвоение семейных прав и обязанностей, раздвоение нравственного и сердечного состояния, раздвоение всей совокупности и всех отдельных видов бытия человеческого, общественного и частного; в России, напротив того, — преимущественное стремление к цельности бытия внутреннего и внешнего, общественного и частного, умозрительного и житейского, искусственного и нравственного. Потому, если справедливо сказанное нами прежде, то *раздвоение и цельность, рассудочность и разумность* будут последним выражением западноевропейской и древнерусской образованности».

Читатель должен помнить, что все великие достоинства, о которых говорит Киреевский, принадлежат только древнерусской цивилизации. Мы, современные русские люди, должны только вздыхать о том, что нам не пришлось насладиться этими благами и что мы, по своей крайней испорченности, потеряли даже способность любить и уважать эту милую старину. Исследователь древнерусского быта мог бы, пожалуй, возразить Киреевскому, что в древней Руси было плохое житьё, что там были батогами не на живот, а на смерть, что суд никогда не обходился без пытки, что рабство или холопство существовало в самых обширных размерах, что мужья хлестали своих жён шёлковыми и ремёными плётками, а блюстители нравственности, вроде Сильвестра, угова-

ривали их только не быть зря, по уху или по видению. Много подобных возражений мог бы привести исследователь, но Киреевский не обратил бы на них никакого внимания; он сказал бы, что всё это мелкие, внешние, случайные явления, не касающиеся внутренней идеи, что сущность нашей цивилизации остаётся неприкосновенною, что принцип её велик и непогрешим, несмотря на все проделки, творившиеся под покровом этого принципа. На такие убедительные доводы исследователь, конечно, не нашёл бы ответа. Подобно этому предполагаемому исследователю мы преклоняемся перед непонятием мудростью мыслителя-поэта и с трепетом живой надежды прислушиваемся к его обетованиям, открывающим нам перспективу лучшей, просветлённой жизни. Из следующих слов его мы узнаём, что мы ещё не совсем погибли, что и для нас есть возможность спасения:

«Но корень образованности России живёт ещё в её народе и, что всего важнее, он живет в его святой, православной церкви. Потому на этом только основании, и ни на каком другом, должно быть воздвигнуто прочное здание просвещения России... Построение же этого здания может совериться тогда, когда тот класс народа нашего, который не исключительно занят добыванием материальных средств жизни и которому, следовательно, в общественном составе преимущественно предоставлено значение — вырабатывать мысленно общественное самосознание, — когда этот класс, говорю я, до сих пор проникнутый западными понятиями, наконец полнее убедится в односторонности европейского просвещения; когда он живее почувствует потребность новых умственных начал, когда с разумной жаждой полной правды он обратится к чистым источникам древней православной веры своего народа и чутким сердцем будет прислушиваться к ясным ещё отголоскам этой святой веры отечества в прежней, родимой жизни России. Тогда, вырвавшись из-под гнёта рассудочных систем европейского любомудрия, русский образованный человек в глубине особенного, недоступного для западных понятий, живого, цельного умозрения святых отцов церкви, найдёт самые полные ответы именно на те вопросы ума и сердца, которые всего более тревожат душу, обманутую последними результатами западного самосознания. А в прежней жизни отечества своего он найдёт возможность понять развитие другой образованности».

Мне нечего прибавлять к этим словам. Они сами говорят за себя.

В заключение скажу несколько слов о критической статье, помещённой в «Современнике» под заглавием «Московское слово». Эта статья своею бездоказательностью и гоголевицем может поспорить с философскими поэмами самого Киреевского. Все представители православно-славянского направления — Хомяков, К. Аксаков, Киреевский — стушёваны под один колер; у всех на лбу прицеплен ярлык с надписью «славянофил», и все они совершенно лишены своей индивидуальной физиономии; славянофильство принимается за какое-то умственное поветрие, свалившееся на Москву, как снег на голову, и заразившее собою целый кружок людей, очень честных и очень неглупых. Внешние признаки славянофильства описаны в общих чертах, но из этого описания читатель никак не может составить себе понятия о том, как возникло это направление мысли и почему именно оно пришлось по душе Киреевскому, Хомякову и компании. Если закоренелые обскуранты смотрят на нововведение, как на дьявольскую прелесть, пущенную в мир для соблазна и погибели православных христиан, то должно сознаться, что некоторые отчаянные и чересчур запальчивые прогрессисты смотрят на явления, подобные славянофильству, как на какое-то чудовищное и необъяснимое порождение духа тьмы и зла. Обскуранты и прогрессисты нисколько не похожи друг на друга по образу мыслей, но те и другие, сражаясь с враждебными им явлениями, увлекаются за пределы всякого благоразумия, теряют способность хладнокровно анализировать и, впадая в декламацию, берут фальшивые ноты, вредящие тому делу, которое они защищают.

Вместо того чтобы проследить развитие Киреевского, Хомякова и других славянофилов, вместо того чтобы рассмотреть те свойства этих людей, которые породили в них недоверие к деятельности разума, словом, вместо того чтобы объяснить славянофильство как психологический факт, критик «Современника» вдаётся в совершенно бесплодную полемику с положениями славянофильских теорий.

Спорить с славянофилами — это, право, странно; благородный человек не станет ни опровергать отрывочных восклицаний, ни смеяться над несвязной речью. Он будет наблюдать, изучать развитие и причины и сообщать результаты своих исследований другим людям, способным и желающим его слушать.

Славянофильство — не поветрие, идущее неизвестно откуда, это — психологическое явление, возникающее вследствие

неудовлетворённых потребностей. Киреевскому хотелось жить разумною жизнью, хотелось наслаждаться всем, чего просит душа живого человека, хотелось любить, хотелось верить... В действительности не нашлось материалов; а между тем он полюбил её, объидеализировал её, раскрасил её по-своему и сделался рыцарем печального образа подобно незабвенному Дон-Кихоту, любовнику несравненной Дульцинеи Тобозской. Славянофильство есть русское донкихотство; где стоят ветряные мельницы, там славянофилы видят вооружённых богатырей; отсюда происходят их вечно фразистые, неясные бредни о народности, о русской цивилизации, о будущем влиянии России на умственную жизнь Европы.

Всё это — донкихотство, всегда искреннее, часто трогательное, большую частью несостоительное.

---

# ОЧЕРКИ ИЗ ИСТОРИИ ТРУДА

## I

История человечества представляет нам бесконечное разнообразие лиц и событий, идей и стремлений, политических систем и нравственных переворотов. Под этим разнообразием форм кроются и медленно развиваются две основные потребности человека, две такие потребности, без удовлетворения которых человек не мог бы ни улучшать своё материальное и интеллектуальное положение, ни даже поддерживать бренное существование личности и породы. Первая из этих потребностей заключается в том, что человек подобно всем другим животным должен предохранять своё тело от разрушительных влияний окружающей природы: ему надо принимать пищу для того, чтобы вознаграждать неизбежную убыль своего организма; надо покрывать тело, чтобы сохранять в нём необходимое количество животной теплоты; надо оберегать это тело от слишком быстрых перемен температуры и от вредного действия сырости, зноя и холода; словом, человеку необходимо завоевать себе на земле квартиру, стол, одежду и разные другие материальные обеспечения жизни. Но эта первая потребность может быть удовлетворена только с тем непременным условием, чтобы так или иначе удовлетворялась другая потребность, также чрезвычайно важная, хотя и не так резко бросающаяся в глаза. Эта вторая потребность состоит в том, что человек должен сближаться с человеком, помогать ему в его предприятиях и в свою очередь находить в нём естественного помощника и союзника. Две основные потребности человека удовлетворялись в различной степени в течение тех тысячелетий, о которых сохранились летописи или предания; чем полнее удовлетворялись

они, тем удобнее жилось человеку; чем сильнее, напротив того, увлекались люди посторонними целями и искусственными интересами, тем мрачнее и тягостнее становилась участь огромного трудящегося большинства.

Лётописи и легенды наполнены рассказами о великих подвигах завоевателей. На равнинах Египта возвышаются до сих пор колоссальные пирамиды. В первом случае мы видим, что густые массы людей встречаются с другими густыми массами таких же людей и что естественные союзники и помощники истребляют друг друга с особенным удовольствием. Во втором случае мы видим, что люди борются с внешней природой и побеждают страшные трудности и препятствия, для того чтобы обтесать и сложить кучу камней, которая не даёт им ни пищи, ни одежды, ни жилища.

В том и в другом случае деятельность людей, очевидно, идёт вразрез с их основными потребностями; но, несмотря на то, эти самые потребности, основанные на великих и незыблемых законах природы, дают себя чувствовать тем самым людям, которые действуют им наперекор. Во-первых, идея завоевателя и идея строителя пирамиды осуществляются не иначе, как при содействии многих людей, соединяющих свои усилия для достижения одной общей цели. Стало быть, потребность человека сближаться с другим человеком остаётся в полной силе. Во-вторых, воины завоевателя и каменщики строителя, не имея возможности добывать себе пищу собственным трудом, должны получать пищу, добытую другими людьми. Таким образом, другая потребность человека, потребность бороться с окружающей природой и оспаривать у неё те материалы, которые необходимы для поддержания жизни, остаётся точно так же в полной силе. Ни военный гений Александра Македонского, ни суровая воля египетского фараона Хеопса<sup>62</sup> не могут ни на одно мгновение приостановить действие великих законов природы. Цели того и другого, составляющие их личную собственность, достигаются только в том случае, если соблюдаются законы природы; но так как эти цели сами по себе лежат вне естественных потребностей человека, то преследование и достижение этих и подобных целей несёт с собой неизбежное историческое возмездие. Здоровые силы людей, отвлечённые от тех занятий, которые доставляют им пищу, одежду и другие удобства жизни, — силы, употреблённые на разорение чужих земель или на сооружение бесполезных громад, оказываются потерянными в общей экономии человечества. Сооружение, произведённое этими силами, бесплодно; разорение не вознаграждается никаким положи-

тельным благом; работники, которые должны кормить воина и каменщика, трудятся много и получают лично для себя мало. Воины и каменщики с своей стороны получают только необходимое. Стало быть, все работают до изнеможения, все сближаются между собою без собственного желания, все едят плохо, одеваются грязно и с каждым годом становятся беднее и тупее.

Целые ряды неопровергимых исторических фактов доказывают нам самым наглядным образом, что войны всегда оказывали гибельное влияние на победителей и побеждённых; наружное могущество завоевательной державы покупалось ценой внутренней бедности, ценой страданий и невежества народа-завоевателя; это могущество, основанное на неестественном напряжении сил, продолжалось, обыкновенно, недолго и оканчивалось таким падением, которое было тем глубже и тем полнее, чем значительнее было сделанное напряжение и, следовательно, чем величественнее было мимолётное проявление могущества. Что касается до пирамид, то будет достаточно сказать, что они воздвигались трудами рабов и что жизнь этих рабов расточалась так же щедро, как расточался их дешёвый труд.

Различные видоизменения войны и различные проявления рабства наполняют собою все страницы всемирной истории. Переход от одного вида войны к другому и от одной формы рабства к другой называется благозвучным именем исторического прогресса. И война и рабство существуют до наших времён; война до сих пор называется своим настоящим именем, а рабство в большей части образованных государств скрывается под другими формами и названиями, менее оскорбительными для просвещённых и сострадательных глаз и ушей. Отчего произошли на свет война и рабство и отчего они благоденствуют до наших времён — это такие вопросы, которые не приходится решать между прочим; поэтому для нашей цели будет достаточно обратить внимание читателя на то, что историческое развитие человечества, находящееся до сих пор под влиянием войны и рабства, никогда не удовлетворяло вполне тем двум основным потребностям, от которых зависят счастье и совершенствование отдельных личностей и целых народов. Разные посторонние влияния постоянно мешали человеку посвятить все свои силы мирной и последовательной борьбе с окружающей природою; эти влияния, происходившие от неправильных отношений человека к человеку, самым фактом своего происхождения и существования не позволяли людям сближаться между собою так, чтобы во всякое время находить друг

в друге помощников, сотрудников и союзников. Эти посторонние влияния, не имеющие ничего общего с законами природы, очень многочисленны и разнообразны в каждом из новейших обществ. Их так много, и они так перепутаны между собой, что совершенно закрывают от глаз исследователя действительную природу человека и настоящий смысл его необходимой борьбы с предметами и силами окружающего мира.

Находясь в таком положении, исследователь должен поступить так, как поступает естествоиспытатель, заметивший, что изучаемое им явление подвергается влиянию нескольких сил, действующих по различным направлениям. Естествоиспытатель устраняет все посторонние влияния и наблюдает явление в его непосредственной чистоте; потом он даёт в своём опыте место одному из действовавших прежде влияний и замечает видоизменения, совершающиеся в предмете исследования; затем изучаются поодиночке второе, третье влияние и так далее, до последнего; таким образом получается, наконец, общий вывод, в котором каждому влиянию отводится принадлежащее ему место. Конечно, естествоиспытатель имеет перед историком то огромное преимущество, что он может брать в руки предмет своего исследования и доказывать непосредственным опытом свои положения; он может действительно изолировать изучаемое явление, между тем как историк принуждён во всех подобных случаях ограничиваться рассуждениями, гипотезами и теоретическими выкладками. Но как ни плохи орудия историка в сравнении с теми сложными снарядами, которыми располагает натуралист, как ни гадательны выводы первого в сравнении с положительными знаниями последнего, всё-таки желание человека узнать что-нибудь о прошёлшей жизни своей породы или обсудить как-нибудь существующие бытовые формы так сильно, что оно всегда заставляет его забывать о несовершенстве орудий и о щаткости получаемых выводов.

Я уверен, что мои читатели интересуются общечеловеческими вопросами, и потому надеюсь, что они без особенного неудовольствия прочтут следующие очерки, излагающие идеи известного американского мыслителя Кэри (Сагеу) <sup>28</sup> о значении и историческом развитии человеческого труда. Чтобы не запутаться в существующих бытовых формах, составляющих более или менее патологические явления, чтобы не принять этих явлений за естественные отправления здоровой жизни, мы начнём с чисто теоретических рассуждений, а потом уже, принимая в соображение одно влияние за другим, доберёмся постепенно до действительных фактов и до

таких величественных хронических болезней, какова, например, колониальная политика, мануфактурная система и экономическая доктрина просвещённой и могущественной Англии.

## II

Исследования геологов над различными формациями земной коры и над остатками органических тел, превратившихся в окаменелости, доказывают неопровергимым образом, что человек появился на земле в позднейший период её образования. Тысячи и, может быть, миллионы лет прошли над нашей планетой, прежде чем органическая жизнь достигла того разнообразия, той сложности и того совершенства, которые проявляются в высших породах млекопитающих, т. е. в обезьянах и в человеке. Целые геологические периоды отошли в вечность; целые могучие виды растительности отжили своё время и, умирая, залегли под позднейшую почву громадными пластами каменного угля; своеобразные породы животных, господствовавших в первобытных лесах и в недосыгаемых пучинах морей, уничтожились, оставив после себя несколько костей или даже просто отпечатки лап на мягких известковых породах; неисчислимые миллионы микроскопических моллюсков образовали из крошечных обломков своих раковин целые толстые слои меловых формаций; море несколько раз переменило свой бассейн; вулканические поднятия земной коры взломали наслоения почвы, выдвинули высокие и длинные цепи гор и создали скалистые острова среди необозримых равнин океана; на развалинах многих исчезнувших первобытных миров появились новые формы растительности; вместо древовидных хвоиц и папоротников каменноугольной эпохи возникли известные нам породы лиственных и хвойных деревьев; климаты обозначились явственно, и могучие деревья девственных лесов захватили сырую почву, согреваемую отвесными лучами тропического солнца; за безобразными ящерами и крылатыми драконами, за колоссальными и неуклюжими мастодонтами и динотериями последовали разнообразные породы травоядных и плотоядных животных, составляющих в настоящее время наши стада или изощряющих искусство и храбрость наших охотников. Планета наша пришла в то положение, в котором она находится до наших времён, и эта планета сделалась, наконец, жилищем человека. Насколько этот первобытный человек был похож на нас складом тела, чертами лица, силой и подвижностью ума — этого, конечно, не может разъяснить нам никакое исследование. Мы можем только

предполагать, что человек прожил на земле много столетий, прежде нежели у него составились какие-нибудь исторические предания; даже язык и мифология — эти первые проявления чувства и мысли — не могли явиться готовыми и должны были, подобно всем произведениям природы, развиваться и совершенствоваться мало-помалу. Дурно владея орудием слова, плохо справляясь с впечатлениями внешнего мира, с трудом передавая их другому и с трудом понимая бессвязные звуки и неопределённые желания этого другого, первобытный человек был, вероятно, очень несчастным существом, если только мы позволим себе предположить, что он по устройству своего тела был похож на своих потомков. Будущий властелин природы, прямой предок какого-нибудь Ньютона или Линнея<sup>64</sup> был самым жалким рабом всех окружающих его предметов: у него не было ни естественного оружия, ни естественной защиты от суровой атмосферы, ни даже такого желудка, который мог бы переваривать траву и листья. Он мог совершенно справедливо завидовать и могу-чему медведю, и покрытому шерстью барану, и пережёвывающему буйволу. Что он перенёс, сколько страданий ему пришлось испытать от голода, от холода, от других животных, начиная с хищных зверей и кончая лесными муравьями и москитами, сколько поколений измыкали свою жизнь в тупом страхе и бессильном отчаянии — это всё такие вопросы, на которые откажется отвечать самое смелое воображение самого великого поэта. Слабым отблеском этих доисторических или даже домифических страданий можно признать мрачный и кровожадный характер всех первобытных религий и богослужений. Человеческие жертвы, приносившиеся для умилостивления грозных и всегда разгневанных сил природы, являются, очевидно, зловещим воспоминанием о неравной и мучительной борьбе, перенесённой теми поколениями, среди которых медленно, с напряжением и с болью вырабатывались первые начатки языка и первые очерки религиозных представлений.

Между тем эта природа, так безжалостно терзавшая своего новорождённого младшего сына, была та самая мать-природа, которая доставляет нам в избытке всё необходимое, та самая природа, которая даёт нам все средства к наслаждению и которая вдобавок настраивает лиры наших сладкогласных поэтов. Чего же недоставало первобытному человеку? Недоставало безделицы. Во-первых, знания этой природы. Во-вторых, умения сближаться с подобным себе человеком и находить себе в нём естественного союзника. На каждом пути первый шаг обыкновенно оказывается са-

мым трудным. Первое усилие изобретательного ума, проявившееся в том, что человек вооружился какою-нибудь деревянной дубиной или попробовал на каком-нибудь бревне переплыть через небольшой ручей, было, может быть, самым удивительным подвигом человечества, самым верным и блестящим предзнаменованием будущей великой судьбы нашей породы.

Первая попытка сближения человека с человеком, попытка, выразившаяся каким-нибудь безобразным мычанием, подёргиванием лицевых мускулов и беспокойным движением руки, была, по всей вероятности, важнее и плодотворнее по своим последствиям, чем самые удивительные и сложные комбинации позднейших создателей римского права. Первые успехи людей в практическом ознакомлении с силами и законами природы и в создании языка как могучего и незаменимого орудия сближения между собою были, конечно, медленны и вялы; но зато каждый последующий шаг совершался легче и быстрее предыдущего. Первые, полумифические предания, открывающие собою историю каждого народа, заставляют людей уже на очень высокой степени умственного развития и материального благосостояния. Язык уже создан совершенно и применяется уже к таким целям, которые не имеют ничего общего с грубыми потребностями животной жизни. На языке этом существуют уже песни, космогонические мифы и героические эпопеи. Человек живёт охотою и скотоводством; он уже не боится диких зверей; он сам отыскивает и преследует их; у него есть оружие; ему удалось покорить себе некоторые породы животных и обратить их в прочную собственность. Наконец, он делает то же самое с растениями; возникает первобытное земледелие, которое даже в самом грубом виде предполагает очень обширные знания сил и законов природы; чтобы сделаться земледельцем, человеку надобно, во-первых, узнать, что зёरна известных растений заключают в себе питательное вещество; во-вторых, надо узнать, что зёрна, положенные в землю, производят новые растения; в-третьих, надо узнать, на какой земле эти зёрна могут дать росток; далее, надо узнать, в какое время года их сеять и когда убирать. Все эти сведения приобретаются только опытом и составляют ряд удивительных открытий, перед которыми бледнеют паровые машины и электрические телеграфы, составляющие славу и гордость нашего века.

Мы не знаем настоящей цены этим открытиям, потому что они с незапамятных времён составляют общее достояние масс; но если мы перенесёмся воображением к тем векам

отдалённой дрёвности, в которых открытия эти были сделаны, если мы представим себе, как беден был тогдашний человек опытами, знаниями и, следовательно, мыслями, то подобные открытия покажутся нам почти необъяснимыми чудесами и во всяком случае чисто героическими подвигами младенческого ума первобытного человека. Такие подвиги могут быть выпроизведены только в фантастической сказке или в эпической поэме. На этом основании я принуждён в этих очерках брать человека и его отношения к природе уже в том моменте развития, когда первые, труднейшие и величайшие открытия сделаны. Я всегда буду, таким образом, предполагать, что язык как орудие сближения уже создан, что приручение домашних животных уже совершено и что первые, важнейшие начатки земледелия уже отысканы наблюдательным умом древнего человека.

### III

Между охотниками, пастухами и земледельцами первобытной эпохи часто происходят раздоры и драки. Эти зародыши будущих войн выдвигают вперёд микроскопических Цезарей и Наполеонов и вносят в быт первобытных людей такой элемент, который не имеет ничего общего с последовательным и правильным развитием труда.

Чтобы устранить из нашего исследования этот посторонний элемент, мы должны изолировать одного из древних земледельцев и поставить его в исключительное положение. Мы желаем знать, что *должно было бы* произойти, если бы никакие посторонние препятствия не отвлекали человека от мирных и плодотворных побед над различными силами окружающей его природы. Для этого мы допустим предположение, что мужчина и женщина, владеющие языком, умеющие приручать некоторые породы животных и усвоившие себе элементарные сведения по земледелию, попали вместе на необитаемый остров, богатый всеми дарами девственной природы. Остров велик, плодородной земли много, и поселенцы могут завладеть беспрепятственно теми местами, которые покажутся им особенно привольными. К сожалению, эти привольные места, лежащие в долинах, по берегам рек и ручьёв, покрыты самой роскошной растительностью; в одном из этих мест обилие сырости образовало трясину, в другом—глубокий чернозём порос колоссальным строевым лесом. Если бы поселенец мог прорыть канал для отвода воды или вырубить вековые деревья, то осушенная и очи-

щенная почва вознаграждала бы его за труд обильным урожаем. Но такой труд превышает физические силы отдельного человека. У этого человека нет таких орудий, которые необходимы для подобных работ. Употребление металлов ещё неизвестно нашему Робинзону. Он убивает зверя дубиной, сдирает с него кожу острой раковиной, режет его мясо на части острым кремнём. Тот же кремень помогает ему заострить палку; заострённый конец палки обжигается на лёгком огне, и обожжённый кол даёт земледельцу возможность вырывать в рыхлой земле мелкие ямки, в которые он бросает хлебные зёрна. Кусок острого кремня, привязанный ремнём или лыком к палке, образует топор. Этим топором можно переломить сухую хворостину; им можно, пожалуй, ушибить зверя или врага, но им, конечно, невозможно срубить большое дерево, точно так же как невозможно обожжённым колом вырыть канал. Чтобы расчистить одну десятину плодородной земли, поселенцу необходимо вырубить и стащить с места десятки, а может быть и сотни больших деревьев, потом надо вырыть пни и освободить почву от множества валежника, от повалившихся и гниющих брёвен; если бы поселенец осмелился взяться за такую работу, то отчаянная храбрость его ни в каком случае не увенчалась бы успехом: могучая растительность стала бы преследовать его по пятам, заглушила бы его посевы и принудила бы его постоянно возобновлять одну и ту же бесплодную работу.

Очевидно, стало быть, что первая попытка нашего колониста срубить первобытным топором колоссальное дерево покажет ему всю неразрешимость подобной задачи; спёртый и сырой воздух, наполняющий собою мрачные своды девственного леса, даст ему почувствовать неприятное ощущение лихорадочного озноба, и колонист поневоле пойдёт искать для поселения такого места, на котором роскошная растительность не отнимала бы у него тёплых и живительных лучей солнца и не мешала бы созреванию его скучных посевов. Он найдёт такое место на темени какого-нибудь холма; там почва беднее, чем в долине, и эта бедность составляет в глазах колониста достоинство, потому что она помешала лесным исполинам укорениться на этой площадке. С мелким кустарником и с сорными травами, покрывающими вершину холма, поселенец кое-как справляется; обожжённый кол делает своё дело, площадка покрывается тощими колосьями, и хлеб рождается на первый раз сам-друг; успех не блестящий, но прожить кое-как можно, если, не ограничиваясь земледелием, заниматься ловлей птиц, охотой и собиранием лесных плодов. Конечно, богатая почва долин могла бы родить сам-

двадцать, но так как эта почва оказалась недоступной, то нашему Робинзону приходится смотреть на неё, как «пери молодая» смотрела на потерянный рай.

Впрочем, мы не должны думать, чтобы Робинзон чувствовал особенную нежность к богатой почве. Драгоценные свойства этой почвы выражаются покуда во враждебном для него развитии сырости и лесной растительности, а Робинзон как плохой агроном и плохой мыслитель, по всей вероятности, не воображает себе, что со временем эта самая почва будет давать его потомкам обильную жатву. Считая развитие своих собственных сил вполне нормальным и не пускаясь в теорию исторического прогресса, он, конечно, не может себе представить, что его потомки будут обладать такими силами и такими тайнами природы, которые сделают их полными властителями окружающего мира. Не предвидя великого будущего, Робинзон повинуется физической необходимости, поселяется на сухом холме, и хлеб рождается у него сам-друг. Между тем семейство Робинзона увеличивается; подрастающие дети помогают отцу и матери в тех работах, которые не превышают детских сил; потребности поселения становятся значительнее, но вместе с тем возрастают и силы; число умов увеличивается с увеличением числа рабочих рук; и отец, и мать, и дети наталкиваются на разные явления природы, обмениваются между собою опытами и наблюдениями и при содействии этих нехитрых опытов улучшают понемногу своё материальное положение. Увеличение населения имеет, конечно, свои дурные стороны; пяти человекам труднее жить в мире, чем двоим; на острове могут повториться те же раздоры и драки, для избежания которых мы принуждены были увести Робинзона с женой в тихое пристанище. Но чтобы подобные пассажи не путали наших теоретических выкладок, мы предположим раз навсегда, что на нашем острове царствуют мир и спокойствие и что каждый из поселенцев пользуется плодами своего труда, не захватывая в свою пользу труда слабейшего соседа.

Я очень хорошо знаю; что подобное предположение не имеет под собой исторической почвы—на самом деле так не бывает ни на островах, ни на материках, но я напоминаю читателю, что мы изучаем труд человека и выводим те следствия, которые должны были бы получиться, если бы к элементу труда не примешивались разные неблагоприятности. Мы ставим человека лицом к лицу с природой и спрашиваем: кто должен победить, человек или природа? Это вопрос простой, и чтобы не усложнять его до поры до времени, мы должны постоянно отстранять всякие столкновения

человека с человеком. Итак, мы предполагаем, что колонисты наши плодятся и множатся и что целые столетия проходят над Тихим Пристанищем, принося с собою увеличение потребностей и рабочих сил, но не возбуждая в людях тех низких страстей, которые заставляют их истреблять и грабить друг друга. При таких условиях благосостояние поселенцев должно постоянно увеличиваться, и я постараюсь убедить в этом читателя целым рядом самых правдоподобных рассуждений.

На острове есть горы, а в горах лежат жилы разных металлов. Эти жилы для Робинзона были мёртвым капиталом, но какой-нибудь нечаянnyй случай открывает его потомкам способ извлекать из них огромные выгоды. Открытия в древности производились не так, как они производятся в наше время, когда существуют учёные исследователи и практические технологии. В наше время ищут и находят, а в древности на открытия натыкались случайно; стало-быть, в древности для произведения открытия были необходимы два элемента: счастливый случай и сметливый глаз человека, способного извлечь из данного случая пользу. Число этих двух элементов, конечно, увеличивается с увеличением населения. Чем больше людей, тем больше отдельных случаев; чем больше людей, тем больше сметливых глаз и сообразительных умов. Чего не случается с одним, то может случиться с другим; чего не доглядит другой, то подметит третий; чего не сообразит третий, то осилит умом четвёртый. Так или иначе, первый кусок медной руды попал случайно в огонь, и получилась какая-то красная масса, которая, конечно, очень изумила и как новинка обрадовала колонистов. Кому-нибудь пришло в голову испытать крепость нового тела; оказалось, что оно с удобством может заменить кремень и жжёное дерево; земледельческие орудия значительно усовершенствовались; явилась возможность глубже взрывать землю и с меньшим трудом рубить небольшие деревья; поля колонистов расширились, и урожай сделались обильнее, во-первых, от этого расширения, во-вторых, от улучшений в обработке земли. Ободрённые этим успехом, колонисты, уже не дожидаясь нового случая, пробуют действие огня над разными кусками земли и камня. После многих бесплодных попыток они натыкаются на оловянную руду; пробуют смешать олово с медью; смесь оказывается крепче чистой меди и производит новое усовершенствование орудий; с увеличением материала улучшается, вероятно, и форма инструментов, потому что работники, разумеется, соображают с указаниями возрастающего опыта.

Наконец, добираются и до железа; может быть, железная руда попадалась и раньше, но ею не умели пользоваться прежние колонисты; не было ни той опытности, ни тех орудий, которые необходимы для добывания и ковки железа; теперь же, когда есть люди, привыкшие обращаться с медью и с оловом, когда есть медные лопаты и медные молотки,— теперь и железная руда должна уступить усилиям человека, и вот новый металл снова производит благодетельный переворот во всех отраслях производства. Каждый успех является, таким образом, переходной ступенью к дальнейшим и притом более важным успехам. Железными орудиями колонисты взрывают земли так глубоко, что добираются до слоёв другого состава; под песчаным грунтом они находят мергель, под глинистой почвой — известковую землю. Смешение двух слоёв между собою значительно увеличивает производительность земли. Хлебопашцы замечают это и придумывают такие орудия, которые дают им возможность пахать гораздо глубже, чем пахали их предки. Обожжённый кол давно уже заменился заступом; теперь заступ в свою очередь уступает место сохе и плугу; эти новые орудия по своей тяжести изнурительны для человека, и ему приходит в голову воспользоваться силами вола или лошади. Это новое усовершенствование значительно ускоряет работу, которая вместе с тем становится легче для человека и плодотворнее по своим результатам. Времени и мускульной силы тратится меньше, а пищи получается больше. Теперь можно без особенной опасности предпринимать нашествия на те части острова, в которых при жизни старого Робинзона деспотически господствовала могучая лесная растительность. Теперь людей много, у каждого есть в руках железный топор, и за каждым следуют выночные животные, которые немедленно выволокут срубленные деревья, гниющие брёвна и кучи валежника. Пользуясь услугами выночных животных, поселенцы замечают, что этим животным легче тащить такие тела, которые катятся по земле, чем такие, которые производят сильное трение. Идя путём постепенных усовершенствований, они доходят до изобретения телеги, значительно сберегающей силы вола или лошади. Владея железными орудиями и перевозочными средствами, потомки Робинзона, во-первых, успевают расчистить и распахать некоторые части тучной почвы, лежащей по берегам рек и ручьёв, и, во-вторых, получают возможность воспользоваться срубленными большими деревьями для различных построек. Тучная почва даёт обильный урожай, а крепкие бревенчатые срубы доставляют множество удобств и выгод. Жилище родонаучаль-

ника колоний было похоже на логовище медведя; Робинзон принуждён был довольствоваться простой пещерой, где ему приходилось сидеть в темноте или задыхаться от дыма, когда холод заставлял его разводить огонь. Через несколько времени ему удалось вместе с сыновьями сплести из хвороста шалаш, служивший плохой защитой от дождя, ветра, холода и зноя; потом он воспользовался теми брёвнами и сучьями, которые валялись в лесу, и сгородил из них с большим трудом очень безобразную и неудобную хижину, в которой было что-то подобное двери, но в которой нельзя было найти ни окна, ни дымовой трубы. Темнота, дым и грязь продолжали преследовать семью колонистов. Открытие металлов было во всех отношениях поворотным пунктом в их образе жизни. Явилась возможность рубить большие деревья и распиливать их на доски; возникло уменье выкапывать из каменной горы большие глыбы и обтёсывать их так, чтобы они могли держаться одна на другой; при ближайшем знакомстве со свойствами различных пластов земли поселенцы заметили, что глина очень легко принимает в жидком виде всевозможные формы и потом твердеет, подвергаясь действию солнечных лучей. В избе, построенной из брёвен, является тогда досчатый пол, окно, затворяющееся досками, и печка, сложенная из камня и смазанная глиной. Здоровье поселенцев значительно улучшается, потому что им не приходится страдать ни от дыма, ни от холода, ни от грязного земляного пола; кроме того, оказывается значительный выигрыш времени, потому что представляется возможность работать в избе, в которой перестаёт царствовать вечная темнота.

Позаботившись о себе, поселенцы заботятся о своём домашнем и рабочем скоте. В былое время свиньи, быки и овцы жили у них под открытым небом и круглый год находились на подножном корму; в холодное время года пещера колониста превращалась в ноев ковчег, потому что все животные загонялись в это первобытное жилище и там согревали друг друга собственной теплотой. Когда процесс строения значительно облегчился улучшением орудий, когда вместе с увеличением сил произошло усложнение потребностей и вкусов, тогда непосредственная близость самых полезных животных потеряла в глазах колонистов всякую прелест. Люди и животные разлучились, к обоюдной выгоде тех и других. Появились скотные дворы и закутки; уход за скотом улучшился; количество добываемого молока и мяса увеличилось, и порода скота стала заметно совершенствоваться.

Столетия прошли над Тихим Пристанищем нашего Робинзона; в его размножившемся потомстве живут уже одни тёмные предания о тех далёких временах, когда родоначальник их поселился на острове; молодому поколению кажутся уже совершенно неправдоподобными рассказы о лишениях и страданиях, выдержанных первыми поселенцами. В самом деле, трудно поверить. Их было только двое; в их распоряжении находился целый остров, обширный и богатый, а между тем они часто терпели нужду и с трудом спасались от голодной смерти. Теперь колонисты считаются тысячами, остров не увеличился в объёме ни на один вершок, а между тем все хорошо одеты и живут припеваючи. Ясно, что такая благодетельная перемена произошла именно потому, что их теперь много и что эти многие являются прямыми и законными наследниками всей массы векового опыта, набранного предками и купленного дорогой ценой прошедших трудов и страданий. Каждое последующее поколение оказывается многое значительнее предыдущего, живёт богаче и придумывает новые технические улучшения, которые позволяют ему добывать больше пищи и одежды с меньшим напряжением мускулов и с меньшей тратой времени. Открывается возможность пользоваться для промышленных целей великими естественными силами воды, ветра и, наконец, пара. В былое время хлебные зёрна растирались между двумя камнями, приводимыми в движение руками человека. Эта работа была утомительна, и мука получалась плохая, потому что многие зёрна оставались полураздавленными. Вслед за тем было найдено средство заменить труд человека трудом лошади или вола. Работа пошла быстрее, и мука улучшилась. Потом, когда практическая механика сделала значительные успехи, превращение зёрен в муку было поручено воде и ветру, таким работникам, которые не требуют пищи и которых могущество неизмеримо велико в сравнении с ограниченными и быстро устающими силами человека, лошади и вола. Таким образом произошло громадное сбережение труда и времени, а между тем количество превращаемого продукта значительно увеличилось и в такой же степени повысилось его качество.

То же самое произошло в тех отраслях производства, которые относятся к приготовлению одежды. Одежда Робинзона состояла из звериной кожи, наброшенной на плечи. Так как первобытному поселенцу редко случалось убивать такого большого зверя, которого шкура могла бы служить

для человека достаточной защитой от воздуха, то, конечно, одежда считалась большой редкостью и очень неудовлетворительно исполняла своё назначение. Редкость больших шкур навела на мысль связывать ремешками маленькие шкурки; когда у Робинзона развелись домашние животные, то, конечно, добывание шкур значительно облегчилось; вместо связывания шкур явилось сшивание; вместо иголки употреблялась какая-нибудь острыя кость, и вместо ниток — тонкие ремешки, тонкие жилы или струны, скрученные из кишечной кожи. Счастливая мысль сучить нитки из животной шерсти и растительных волокон повела за собою многочисленные улучшения; возникло прядильное искусство, из которого в свою очередь развилось производство тканей. Затем явились механические усовершенствования орудий; простое веретено заменилось самопряткой, и первобытный ткацкий станок испытал значительные превращения. Наконец, сила пара, приложенная к этой отрасли производства, довела вырабатывание тканей до изумительной лёгкости и быстроты.

Мы знаем, что все эти открытия и усовершенствования были произведены в действительности, но мы можем, кроме того, доказать, что они неизбежно должны были быть произведены. В них нет ничего случайного, и они нисколько не зависят от личных свойств тех людей, которые сделали их достоянием человечества. Мы считаем этих людей благодетелями нашей породы и чувствуем к ним признательность по тому же самому свойству нашей натуры, по которому мы кидаемся на шею к человеку, сообщающему нам очень радостное известие. На самом же деле свойства вещества, подмеченные изобретателем, так же мало зависят от его воли, как мало зависит счастливое событие от человека, передающего радостное известие. Эти свойства вещества только потому оставались неизвестными, что большинство людей задавлено механической работой, а меньшинство журирует, или занимается пустяками, или изобретает средство ещё больше обременить большинство; поэтому наблюдать и размышлять, трудиться и осмысливать свой труд могут только немногие единицы; эти единицы одарены сильным умом, но их так мало не оттого, что на известную полосу земли отпускается такое количество ума, а оттого, что отпускаемое количество расходуется самым нерасчётливым образом. Умные и полезные люди составляют редкие исключения, между тем как они должны были бы составлять правило.

Я не намерен отнимать у великих гениев ни одного вершка

их роста, но с полным убеждением выражаю ту мысль, что они стоят так неизмеримо высоко над общим уровнем человечества только потому, что неблагоприятные обстоятельства довели этот общий уровень до неестественно низкой степени. Великая, богатая и могучая природа человека, совершившая в своём славном младенчестве столько героических умственных подвигов в деле завоевания внешней природы, истощается и уродуется именно теми условиями жизни, которые представляют жалкие и пагубные уклонения от великого дела производительного и постоянно расширяющегося труда. Нам часто случается слышать панегирики замечательным открытиям нашего века; конечно, хорошо, что открытия эти сделаны, но удивляться тут нечему; скорее следовало бы подивиться тому, что они сделаны так поздно, тому, что мы до сих пор так мало знаем природу, тому, что земледелие, известное человеку с незапамятных времён, только в последнее тридцатилетие в немногих уголках Европы начало пользоваться указаниями осмысленного опыта.

Если бы Шекспир не написал «Отелло» или «Макбета», то, конечно, трагедия «Отелло» и «Макбет» не существовали бы, но те чувства и страсти человеческой природы, которые разоблачают нам эти трагедии, несомненно были бы известны людям как из жизни, так и из других литературных произведений, и притом были бы известны так же хорошо, как они известны нам теперь. Шекспир придал этим чувствам и страстям только индивидуальную форму. Но машина или закон природы не могут иметь индивидуальной формы. Из двух различных машин, построенных для одной и той же цели, одна непременно будет удобнее другой и, следовательно, вытеснит из употребления другую. Из двух различных объяснений явления природы одно будет непременно ложным и, следовательно, рано или поздно будет отвергнуто. В деле изучения и завоевания природы нет места личному произволу; тут нельзя изобретать, надо только наблюдать и понимать, пользоваться от века существующими силами и разгадывать от века существующую связь причин и следствий. Открытие есть встреча между вечным явлением и вечным умом человечества. Встреча эта неизбежна, но она может совершиться раньше или позднее, смотря по тому, много или мало отдельных человеческих умов стоят на известной высоте развития и предаются плодотворному делу труда и наблюдения. Если бы Уатт не открыл двигательной силы пара, то её непременно открыл бы кто-нибудь другой, потому что эта сила существовала в доисторические времена и будет существовать на нашей планете до тех пор, пока не

иссякнет последняя лужа воды и не уничтожится последний луч теплорода. Этую силу открыли в XVIII столетии, а не раньше, только потому, что чем дальше мы будем забираться в древность, тем сильнее будут проявляться элементы, враждебные труду, и, следовательно, тем реже будут становиться шансы для счастливых и плодотворных встреч между явлением природы и наблюдательным умом человека.

Мы в нашей гипотезе устранили с Тихого Пристанища все элементы, враждебные труду и ассоциации; поэтому мы имеем полное право утверждать, что на острове Робинзона весь ход неизбежных открытий и совершенствований будет несравненно быстрее, чем где-либо в действительности. Чтобы историческим фактом доказать читателю неизбежность главных практических открытий и независимость их от отдельных личностей, я напомню ему только ту известную истину, что китайцы совершенно самостоятельным путём дошли почти до всех технических усовершенствований, которыми гордится теперь европейская цивилизация. Если мы предположим, что Тихое Пристанище продолжало жить до наших времён своей мирной и разумной жизнью, то мы совершенно последовательно принуждены будем допустить, что жителям счастливого острова известны такие свойства природы и такие технические комбинации, о которых не имеет понятия ни одна из передовых стран Европы. Мы, конечно, знаем, что мы далеко ещё не достигли пределов естествознания, но этого мало: мы теперь не можем и не имеем права сказать, что этому знанию существуют какие-нибудь пределы; мы не имеем также права утверждать, что силы природы когда-нибудь могут быть исчерпаны или истощены. Напротив, оглядываясь назад на поприще, пройдённое человечеством, и потом видя впереди необозримую и беспределную даль, мы имеем полное основание думать, что наша порода вечно могла бы с каждым поколением становиться могущественнее, богаче, умнее и счастливее, если бы только не мешали этому развитию бесконечные и разнообразные междуусобные, распри, поглощающие и истощающие лучшую и значительнейшую часть великих и прекрасных способностей человеческого тела и человеческого ума. Природа человека всегда была так же способна к беспределному развитию, как природа, окружающая человека, всегда была способна к бесконечному разнообразию видоизменений и комбинаций; но человек не мог сразу понять ни себя, ни природу; он и до сих пор понимает неверно и неполно как самого себя, так и те бытовые условия, при которых деятельность его может быть плодотворна,

развитие — быстро и успешно, и счастье — по возможности совершенно. Из этого неполного и неверного понимания, как из вечно открытого ящика Пандоры<sup>65</sup>, сыплются и льются роковые ошибки, и только в этих ошибках заключаются причины всякой бедности и всяких страданий.

## V

Многие причины заставляли Робинзона довольствоваться теми скучными жатвами, которые давали ему участки тощей и сухой почвы, лежавшей по вершинам холмов. Тучная почва долин была занята вековым лесом, которого одинокий и несведущий колонист не мог вырубить; она была покрыта болотами, которых он не мог осушить. Кроме того, Робинзон не умел пахать ту почву, которая была ему по силам; минеральные частицы различных слоёв не смешивались между собою; песок и мергель, суглинок и известь оставались несединёнными, и вследствие этого земля развертывала только самую незначительную долю своих производительных сил. Скот Робинзона бродил по воле, и помёт его пропадал даром, тем более что первоначальный агроном, по всей вероятности, не знал его драгоценных свойств. Все эти причины бедности были постепенно устранины, когда население увеличилось и обогатилось опытными знаниями. Рубка лесов и осушение болот посредством каналов открыли позднейшим колонистам путь в роскошные долины; вместе с тем усовершенствование земледельческих орудий и введение рационального скотоводства дало им возможность распахать и удобрить те участки сухой почвы, которые их предки царапали обожжёнными кольями. Переход от бедной почвы к богатой совершился, таким образом, с увеличением числа рабочих рук и с улучшением средств обработки. Такой переход сам по себе в высшей степени правдоподобен, но нам нет надобности считать его только правдоподобным; мы можем подтвердить его всеми действительными факторами заселений, совершившихся на глазах истории.

Колонизация Северо-американских штатов была произведена так недавно, что каждый шаг поселенцев на новом материке может быть указан как в исторических свидетельствах, так и на самой почве. Первая английская колония Плимут была основана в штате Массачусете, на песчаной прибрежной почве. Весь Массачусет отличается топким грунтом, по пуритане, селившиеся на скалистых холмах, выбирали самые бедные части этого тощего грунта. В штате Нью-Йорке старая

железная дорога идёт по возвышенностям, на которых лежат деревни и mestечки первых поселенцев; напротив того, новая железная дорога прямою линией прорезывает богатейшие долины штата, которые до сих пор остаются неосушеными и невозделанными. Плодороднейшие земли Пенсильвании долгое время считались совершенно неудобными, потому что сырой и болотный воздух преследовал поселенцев периодическими лихорадками. В Нью-Джерси квакеры<sup>66</sup> основали свои первые поселения на песчаных холмах, поросших жидкими сосновыми рощами, а потомки их оставили эти места, когда им удалось вырубить дубовые леса, покрывавшие тучный грунт, и осушить те низменности, на которых рос белый кедр. В штате Огайо пятьдесят лет тому назад сухие земли холмов были гораздо дороже долин и речных берегов, на которых никто не хотел селиться; по берегам Сускеганни целые сотни акров передавались из рук в руки за 1 доллар или даже за кружку водки; теперь эти земли возвысились в цене, а холмы, напротив того, оставлены и заброшены. В Висконсине богатейшая земля штата называлась «мокрыми лугами» и составляла ужас первых поселенцев; теперь эти «мокрые луга» высушены без-всяких гидравлических сооружений: их просто каждый год косили и вытравливали рогатым скотом; солнце и воздух вытянули излишek воды, и земледелец получил возможность воспользоваться толстейшими слоями превосходного чернозёма. По берегам реки Миссисипи, ниже того места, где она принимает в себя реку Огайо, лежат миллионы акров богатейшей почвы, которая до сих пор остаётся нетронутой и сохраняет зловещее название трясины (Swamp). Эта обширная местность покрыта лесом и камышами и наполнена целыми озёрами стоячей и гниющей воды, которая, содействуя развитию разнообразной растительности, заражает воздух самыми вредными миазмами. Разлития Миссисипи затопляют в обе стороны огромные полосы земли и, увеличивая её плодородие осадками ила, поддерживают тот избыток сырости, который отражает завоевательные попытки самых смелых колонистов. Трясина только тогда перестанет быть трясиной, когда большие каналы спустят громадные лужи стоячей воды и когда высокие плотины положат предел разрушительным шалостям реки. Подобные сооружения могут быть выполнены только многочисленным и предприимчивым населением. Они далеко превышали силы местных плантаторов, считающих рабство и земледельческую рутину краеугольными камнями своего личного и общественного благосостояния. На этом основании в трясине господствовали исключительно охотники, рыбаки и дровосеки — люди бедные,

прудикие, привыкшие к ежедневным опасностям и не боящиеся ни лесных зверей, ни болотных испарений. По течению рек Миссури, Кентукки, Тенесси и Красной мы постоянно замечаем однородные явления: чем гуще население, чем значительнее накопление богатства, тем ближе подступают земледельцы к береговым низменностям; чем реже и беднее становится население, тем исключительнее сосредоточивается хлебопашество на тощей почве сухих холмов, отодвигаясь далее и далее от течения рек. В обеих Каролинах, в Джорджии, в Флориде и Алабаме миллионы акров великолепнейших лугов и лесов остаются неосушеными и нерасчищенными, между тем как плантаторы этих штатов вытягивают последние соки из своих тощих земель.

Земледельцы, отправляющиеся искать счастья на Дальнем Западе, постоянно основывают свои первые поселения на холмах, несмотря на то что у них есть отличные стальные топоры и застуны. Хорошие орудия очень полезны, но такие громадные предприятия, как расчищение девственных лесов и осушение обширных болот, могут быть выполнены только соответственным количеством рабочих рук, и поэтому решение подобных задач всегда предоставляется более или менее отдалённому будущему. Всякая попытка нарушить этот основной закон и начать обработку прямо с тучных участков земли неизбежно ведёт за собой неудачи и народные бедствия; посевы гниют на корню, колонисты мрут от лихорадок, и возникающее поселение погибает, задавленное непомерными силами девственной природы. Много таких примеров представляет история французских колоний в Луизиане и в Кайенне и первых английских поселений в Виргинии и в Каролине.

В Мексике обрабатываются песчаные земли Потози и Закатекаса, лишённые естественного орошения и часто подвергающиеся губительным засухам; между тем остаются невозделанными и незаселёнными берега рек и Мексиканского залива, покрытые богатейшей тропической растительностью и производящие сами собой хлопчатую бумагу и индиго, маис и сахарный тростник. Возвышенности Тласкалы и сухая почва Юкатана обработаны, а плодородные земли Табаско и Гондураса нетронуты. Скалистые острова Карибского моря, Монсеррат, С.-Луччия и С.-Винцент заселены, а Порто-Рико и Тринидад, самые плодородные из этих островов, остаются почти в первобытном состоянии. На Панамском перешейке разворачивается вся изумительная сила американской природы; дожди продолжаются сплошь по семи месяцев, и лесная растительность развивается так быстро, что линия Па-

намской железной дороги заросла бы лесом в один год, если бы на ней не производились постоянные расчистки. Конечно, как и следовало ожидать, Панамский перешеек по обе стороны рельсов представляет нетронутую глушь.

В Южной Америке повторяется тот же общий закон в самых обширных размерах. Во времена Пизара<sup>67</sup> существовала цивилизация только в гористом и сухом Перу, составляющем крутой склон Кордильеров к Восточному океану. Перу орошается небольшими и быстрыми реками, которые, не застаиваясь в своём течении, не могут образовать болотистых разливов. Кроме того, пассатные ветры, насыщенные водяными парами, задерживаются вершинами Кордильеров, и облака, гонимые этими ветрами, проливают свой дождь, не достигая плоских возвышенностей Перу и Боливии. От этого происходят засухи и неурожаи, и, однако, несмотря на эти неудобства, гражданственность сосредоточилась именно в Перу. Бразилия, лежащая к востоку от Перу, орошается величайшими реками в мире и может производить в беспредельном изобилии сахар, кофе, табак, пряности, красильные вещества и всё, чего только человек может потребовать от тропической природы. Луга её покрыты стадами буйволов и диких лошадей; драгоценные металлы лежат почти на самой поверхности земли. Кажется, людям стоило бы только притти и овладеть всеми этими сокровищами, а между тем весь неизмеримый бассейн Амазонской реки и её громадных притоков до сих пор представляется сплошным девственным лесом. Ту же самую противоположность мы видим южнее, сравнивая гористую и населённую береговую полосу Чили с обширной, плодородной и почти нетронутой долиной Ла-Платы.

## VI

В Англии с незапамятных времён были обработаны земли Корнвэллса, известные по своей сухости; почти каждый холм в этой стране представляет следы древних поселений. Теперь эти места считаются худшими землями и обыкновенно оставляются под выгоном. Во времена первых норманских королей южный Ланкашир был покрыт болотами, в которых едва не увязло победоносное войско Вильгельма Завоевателя<sup>68</sup>. Теперь на этих самых местах созревают богатые жатвы и пасутся стада породистого рогатого скота. Во времена Плантагенетов<sup>69</sup> в Англии было множество лесов, в которых водились кабаны и волки; теперь на месте этих лесов мы на-

ходим пахотные земли, далеко превосходящие своим плодородием те участки, которые возделывались в древности и в средние века. В Шотландии следы древнего земледелия находятся на горах; теперешним жителям кажется до такой степени неправдоподобным возделывание таких местностей людьми, что они называют эти следы пашнями эльфов. В средние века житницей Шотландии называлась тощая полоса земли, к которой хлебопашцы наших времён чувствуют весьма незначительное уважение. Напротив того, лучшие теперешние фермы Шотландии лежат на бывших болотах времён Елизаветы и Марии Стюарт<sup>70</sup>. В средние века Оркнейские острова имели очень важное значение, которое совершенно утратилось теперь. Они были однажды заложены какому-то норвежскому королю в обеспечение такой значительной денежной суммы, за которую их теперь нельзя было бы продать, если бы даже покупателю вместе с верховным господством предоставлялось право собственности над землёю. Оркнейские острова могли быть так дороги только потому, что лучшие земли оставались недоступными для земледельцев. Теперь обитатели этих островов живут очень бедно, но мы не имеем основания думать, что уровень их благосостояния понизился со времени средних веков. Что считалось богатством тогда, то покажется бедностью теперь, точно так же как богатство дикаря для цивилизованного человека может быть крайней степенью нищеты.

В Галлии времён Юлия Цезаря сильнейшие племена галлов: арверны, эдуи и секваны жили по склонам Альпийских гор. В их землях возникли богатые торговые города, а в настоящее время эти самые земли лишены дорог, и путник, попавший в эту глуши, принуждён перебираться через горные потоки по переброшенным брёвнам, а ещё чаще по камням, положенным в воду, в некотором расстоянии друг от друга. В таком положении находится территория «le Morgane», занимающая до полутораста квадратных льё и представляющая местами сохранившиеся следы отличных военных дорог. Вообще остатки древней цивилизации находятся именно в самых диких и бедных захолустьях современной Франции: в Бретани, в Оверни, в Лимузене, в Севенских горах и на склонах Альпов. Все значительные города, известные в истории Капетингов, Людовика Святого, Филиппа Августа<sup>71</sup>, — Шалон, Сен-Кентен, Суассон, Реймс, Труа, Нанси, Орлеан, Бурж, Дижон, Вьенна, Ним, Тулуза, Кагор — все построены на высоких местностях, недалеко от истоков больших рек или на возвышеностях, составляющих водоразделы. Многие из лучших земель Франции до сих пор не обработаны, и «Journal

des Economistes» \* в 1855 г. обращает внимание правительства на необходимость осушить болотистые местности.

В Бельгии тощие земли Лимбурга и Люксембурга обрабатывались с незапятых времён, а тучная Фландрия до седьмого столетия нашей эры оставалась пустыней. В Голландии первенство между отдельными провинциями принадлежало узкой и песчаной полосе земли, лежавшей между Уtrechtом и морем. Эта провинция называлась Голландией, и преобладание её достаточно выражается уже в том обстоятельстве, что она дала своё имя всей стране.

Предания скандинавского племени выводят обитателей Скандинавского полуострова с юга и указывают их перво-бытную родину на берегах Дона. Мы видим, таким образом, что целый народ уходит с богатой почвы южной России, не останавливается на тучных равнинах средней и северной Германии, отыскивает себе за морем новую отчизну и на этой бедной земле выбирает себе для поселений самые гористые и тощие местности. Это последнее обстоятельство доказывается тем, что следы древнейших жилищ в Скандинавии, как и в Шотландии, находятся на возвышенностях.

Славянские племена, заселившие Россию, в песнях своих вспоминают о южном происхождении своём с берегов Дуная. Первые проявления гражданственности в нашем отечестве находим мы на берегах Волхова и Ильменя, в суровом климате, на тощей почве. Киев является преимущественно военною стоянкой князей; народная жизнь уходит на север и северо-восток, держится в Новгороде и Пскове, проявляется в Суздале и Владимире, производит колонизацию Вятки и разбрасывается по берегам Белого моря. Ещё в 60-х годах северные части России, за исключением тех крайних оконечностей, в которых холод губит всякую растительность, оказываются более населёнными и лучше возделанными, чем роскошные степи Новороссийского края. По верному замечанию Тенгборского <sup>72</sup>, Псковская губерния занимает девятое место по относительному количеству пахотной земли и в этом отношении стоит гораздо выше губерний Подольской, Саратовской и Волынской, которые, конечно, далеко превосходят её плодородием почвы.

В нынешней Венгрии сподвижники Аттилы <sup>73</sup> основали свои первые поселения на песчаной равнине, лежащей между Тиссою и Дунаем; потомки их до сих пор держатся на этих бесплодных местах, оставляя необработанными и неосушеными богатые земли, простирающиеся за Тиссою.

\* «Журнал экономистов». — Ред.

В Италии Самнитские холмы и высокая Этрурия были уже обработаны, а Веии и Альба-Лонга считались уже могущественными городами, когда при низовьях Тибра ещё не возникло бедное поселение товарищей Ромула<sup>74</sup>. Возвышенности Цизальпинской Галлии были заняты в древности, а лагуны адриатического прибрежья, на которых стоял Венеция, заселены только в начале средних веков. В Корсике хижины жителей разбросаны по горам, а почва долин, способная производить табак, сахарный тростник, хлопчатник и даже индиго, лежит нетронутой. То же самое мы видим в Сардинии, на Балеарских островах и в Сицилии.

В древней Греции обработка земли началась в гористой Аркадии и в сухой Аттике гораздо раньше, чем в тучной Беотии. Фокеяне, локры и этолийцы теснились на скалистых возвышенностях, между тем как рядом с ними лежали слабо заселённые богатые равнины Фессалии и Фракии.

Египетская цивилизация возникает в верхних частях Нила, и первой столицей её являются Фивы; оттуда она спускается вниз по течению, к Мемфису и, наконец, уже гораздо позднее захватывает плодородную дельту Нила, на которой построена Александрия.

Столица Абиссинии лежит на высоте 8 000 футов над поверхностью моря, а долины не заселены.

В Ост-Индии дельты Инда и Ганга покрыты непроходимыми лесами и почти все долины больших рек остаются в первобытном состоянии, а между тем по склонам гор туземцы выбиваются из сил, чтобы добыть себе в день горсть рису или в месяц две рупии заработной платы. На Цейлоне и на Яве жители боятся и тщательно обходят тучную почву долин, в которых рядом с могучей растительностью развиваются губительные миазмы.

Вся эта груда набросанных фактов, взятых из всех частей света, под всеми широтами, из настоящего и из прошедшего, у народов, стоящих на самых различных ступенях умственного и общественного развития, самым блестящим образом доказывает с разных сторон непреложность одного общего закона. Человек постоянно переходит от худшего к лучшему, от бедной почвы к богатой, точно так же, как он переходит от острой раковины к железному и стальному ножу, от обожжённого кола к плугу, от пещеры к каменному дому, от лука к штуцеру, от звериной кожи к сукну и бархату. Для того, чтобы переход этот совершился, необходимо только представить свободу естественным отправлениям человеческого организма.

Человеку вместе со всеми другими животными свойственно стремление размножаться, и мы видим действительно, что размножение людей составляет непременное условие всякого прогресса. Человеку свойственно искать сближения с другими людьми, и оказывается на самом деле, что только соединённые человеческие силы могут успешно бороться с природой. Человеку свойственно искать себе материальных удобств, и мы замечаем везде и всегда, что чем усерднее он их ищет, т. е. чем сильнее он работает мозгом и мускулами, тем быстрее улучшается его положение. Каждая потребность человека может найти себе удовлетворение, и чем полнее она будет удовлетворяться, тем больше будет оказываться средств удовлетворять ей в будущем. Но из этого никак не следует выводить то лестное заключение, что потребности человека действительно удовлетворяются всегда и везде. На земном шаре существует множество различных организмов, которые все могут жить и развиваться в свойственной им обстановке; но каждый из этих организмов может быть искусственно поставлен в такое положение, при котором он или зачахнет, или разрушится. Положите рыбу на берег, бросьте птицу в воду, заприте в одно стойло лошадь, а в другое кошку и положите перед первою пуд сырого мяса, а перед второй меру овса, и вы увидите, что четыре организма будут разрушены — первые очень быстро, последние довольно медленно. Если бы нашёлся такой проказник, который мог бы перетасовать таким образом все существующие организмы, то в короткое время весь земной шар покрылся бы трупами, чего нельзя было бы приписать простому действию законов природы, потому что комбинации, производящие такой поразительный *сюрприз* <sup>de théâtre</sup> \*, составляют только игривое проявление единичной воли.

Разрушить произвольным вмешательством всю органическую жизнь на земном шаре невозможно, но повредить в какой-нибудь отдельной стране правильному развитию человеческого труда вовсе нетрудно: для этого не требуется даже злонамеренности — одно незнание производит искусственные комбинации в междучеловеческих и общественных отношениях; при таких комбинациях удовлетворение многих человеческих потребностей становится невозможным, и самое существование таких потребностей делается источником страданий и приводит к погибели, точно так же как потребность дышать губит птицу, погружённую в воду, или потребность принимать пищу — кошку, находящуюся *tête-à-tête* с мерою овса. Оче-

\* Неожиданное событие, зрелище. — Ред.

видно, что тут виновата не потребность, а уродливая комбинация. Каждая из европейских наций прошла через множество подобных комбинаций, но натура человека так крепка и эластична, и естественное течение событий настолько сильнее ошибочных расчётов и произвольных распоряжений, что, несмотря на все исторические несчастия, мы всё-таки замечаем в передовых странах Европы постоянное возрастание народонаселения, постоянное улучшение технических приёмов и вследствие того постоянное стремление к переходу от тощей почвы к более плодородной. Но в некоторых землях враждебные влияния были до такой степени сильны, что они превозмогали действие естественных стремлений человека: народонаселение убывало, материальное довольство уменьшалось, техническая ловкость и изобретательность терялись, и человек покидал богатую почву, чтобы снова добывать себе скучное пропитание на тощих и сухих землях. Войны, порабощение труда и разные видоизменения административного произвола составляют главные причины таких печальных явлений. Так опустели Греция и Италия в последние годы римской республики и во время империи. Так пустеет теперь Турция, заключающая в себе плодороднейшие земли Европы и Азии и между тем населённая таким народом, который едва успевает предохранять себя от голодной смерти. Богатая Бююкдерская долина, расстилающаяся у самых ворот Константинополя, не обрабатывается, так что в столицу привозится хлеб с холмов, лежащих за сорок и за пятьдесят миль. Земли, орошаемые нижним течением Дуная, давали богатые жатвы во времена римского владычества, а теперь на них пасутся малочисленные стада свиней, которых пастухи находятся в самом жалком положении. Такие же картины запущения попадаются путешественнику в Малой Азии, в Сирии, по берегам Тигра и Евфрата — в тех местах, где процветала греческая цивилизация, и там, где земля кипела молоком и мёдом. Всё это произведено отчасти военными опустошениями бытых времён, отчасти такою системой управления, которая не обеспечивает ни личности, ни собственности, отчасти тем обстоятельством, что Турция как чисто земледельческое государство вывозит постоянно свои сырье продукты на далёкие рынки, постоянно истощает свою почву и, следовательно, проживая, таким образом, свой капитал, с каждым годом становится беднее и слабее.

Южные, рабовладельческие штаты Америки находятся почти в таком же положении. Вся нижняя Виргиния покрыта развалинами оставленных плантаторских домов; поля заброшены и поросли вереском и кустарником; хозяева принуж-

дены искать новых земель, и так как расчистка и осушение богатой почвы им не по силам, то они, естественным образом, разрабатывают сухие вершины холмов. Здесь этот упадок земледелия произведён двумя причинами, тесно связанными между собою: постоянным вывозом сырых продуктов, истощающих землю, и рабством, обусловливающим собою хозяйственную рутину. Сырые продукты вывозились в Англию оттого, что не было мануфактур на месте, а мануфактур не было оттого, что не было предпримчивости; а предпримчивость немыслима в такой стране, где большинство жителей работает из-под палки, а меньшинство без малейшего труда проживает доходы. Следовательно, рабство и истощение почвы образуют такой заколдованный круг, из которого южные штаты никак не умеют вырваться.

## VII

Если бы нельзя было осознательно доказать, что земледелие возникает на возвышенностях и уже впоследствии спускается в долины, то идея о возможности прогресса, составляющая краеугольный камень разумного миросозерцания, в научном отношении могла бы занять место рядом с теориями старух о близости светопреставления. На первый взгляд такое положение кажется нелепым, но первое впечатление здесь, как и во многих других случаях, оказывается ошибочным. Тучная почва всегда находится в долинах и низменностях, потому что каждый ливень смывает с высоких мест частицы почвы и несёт их мутными потоками дождевой воды в низкие места, где эти частицы осаждаются поестественному действию тяжести. Если бы первобытные поселенцы могли разработать тучную почву и если бы размножающееся потомство этих поселенцев было принуждено мало-помалу распахивать тощие земли, то, очевидно, труд последних с каждым годом стал бы получать более скучное вознаграждение; чем больше нарождалось бы людей, тем дальше пришлось бы земледельцам забираться на сухие холмы; ценою постоянно возрастающих усилий пришлось бы добывать постоянно уменьшающееся количество пищи и других сырых материалов. При таком положении дел всякое приращение народонаселения было бы злом, потому что оно вело бы за собой постоянно увеличение бедности. Некогда было бы придумывать технические усовершенствования, потому что всё время жителей уходило бы на заботы о куске хлеба, и все эти заботы всё-таки не могли бы предохранить

их от частых посещений голода; кроме того, всякие технические усовершенствования были бы бесполезны, если бы не увеличивалось количество сырых материалов, которое в конце концов всегда служит настоящим мерилом богатства. О прогрессе нечего было бы и думать: нищета, голод, заразительные болезни составляли бы естественную судьбу человечества и поражали бы каждое последующее поколение сильнее, чем предыдущее; перед такою перспективой самый неукротимый идеалист сложит оружие и сознается, что о нравственном и умственном совершенствовании приходится отложить попечение.

Существует, однако, целая школа учёных мужей, которые, не счигая себя неукротимыми идеалистами, полагают, что есть возможность помирить идею прогресса с враждебным воззрением на возрастание народонаселения. Дело идёт о многочисленных последователях слишком знаменитых учителей Мальтуса и Рикардо. Теория Мальтуса состоит, как известно, в том, что люди плодятся в геометрической прогрессии (1, 2, 4, 8, 16, 32...), в то самое время как предметы, употребляющиеся в пищу, размножаются в арифметической прогрессии (1, 2, 3, 4, 5, 6...). Через такую неравномерность размножения происходит для людей недостаток пищи, нищета, голод, болезни — одним словом, все те бедствия, от которых страдает гарнизон осаждённой крепости. По мнению Мальтуса, Англия уже дошла до такого бедственного положения, и причины пауперизма и развивающихся из него страданий и преступлений заключаются именно в излишке народонаселения. Идеи Рикардо относятся к заселению земли. Он утверждает, что первые поселенцы захватили лучшие земли, потому что они имели полную свободу выбора; последующим поколениям пришлось довольствоваться тем, что осталось, или платить наследникам первых собственников известное количество продукта за пользование лучшими, уже захваченными землями. Так объясняется происхождение поземельной ренты. Обе теории составлены в рабочем кабинете, за письменным столом, за которым можно составить какие угодно проекты, выкладки, комбинации и доктрины. Обе теории носят на себе печать тех счастливых времён, когда можно было тасовать и раскладывать в голове и на бумаге разные мысли о природе и человеке, не обращая никакого внимания ни на законы и явления природы, ни на свидетельства истории и ежедневного опыта.

В подобных выкладках и человек и природа являются только как отвлечённые понятия и показывают исследователю только ту, часто даже несуществующую сторону, кото-

рю ему угодно принимать в соображение. Рикардо говорит, что первые поселенцы, конечно, выбрали лучшую землю. Тут, очевидно, берутся отвлечённые поселенцы и отвлечённая земля. В «лучшей земле» принимается в соображение только та сторона, что она может давать много хлеба. В «первых поселенцах» берётся в расчёту только то свойство, что они имеют глаза и могут сделать выбор. Но что лучшая земля, именно потому, что она лучшая, должна была непременно зарасти лесом или покрыться лужами стоячей воды, об этом Рикардо не думает. Что первый поселенец, именно потому, что он первый, должен был располагать очень плохими орудиями и очень слабыми техническими сведечиями, этого Рикардо также не соображает. Между тем мы видели, что именно эти непризнанные свойства земли и человека везде мешали одионокому колонисту захватить те участки, которые могли давать ему обильные урожаи. Мы видели также, насколько исторические факты находятся в согласии с идеями Рикардо, который, очевидно, дошёл до своих заключений только потому, что соблазнился внешней логичностью своих кабинетных соображений. Оригинально также то обстоятельство, что существование поземельной ренты в Англии, в которой землевладельцы ведут свои права от норманнских завоевателей и феодальных баронов, приводится в связь с каким-то идеальным заселением земли.

Такие логические и исторические *salto mortale* неизбежны в тех случаях, когда писатель, насилия свою совесть и закрывая глаза и уши, старается во что бы то ни стало узаконить и оправдать некрасивые явления современной действительности. Гадания Мальтуса о размножении людей вытекают из того же мутного источника и, подобно рассуждениям Рикардо, не имеют ни малейшего научного основания. Так называемый мальтусов закон много раз подвергался разрушительной критике мыслителей, имеющих здравые понятия об условиях народного благосостояния. Года три тому назад общая несостоятельность и отдельные промахи этой теории были доказаны очень основательно Чернышевским в его примечаниях и дополнениях к переводу политической экономии Милля. Не желая повторять приводимых там аргументов, я обрисую здесь только мертвящий взгляд Мальтуса и его последователей на жизнь природы и на деятельность человека.

Земля и её производительные силы представляются Мальтусу сундуком, наполненным деньгами: если, рассуждает он, пять человек разделят между собой эти деньги, то каждому достанется одна пятая; если десять человек разделят

их, то каждому достанется вдвое меньше, чем в первом случае, если двадцать — вчетверо меньше, и т. д. Из этого очевидно следует заключение, что чем меньше будет людей, предъявляющих свои притязания на деньги, тем богаче будут те, которые разделят содержание сундука. Мальтус допускает, правда, что производительные силы земли могут увеличиваться, но и сумма денег может увеличиться, если её положат в банк. Мальтус вычисляет возрастание в количестве продуктов так же определительно, как можно было бы высчитать проценты с известного денежного капитала. Разумеется, в сочинениях Мальтуса не встречается сравнения земли с сундуком, но везде выражается стремление смотреть на производительные силы природы, как на мёртвую массу, которую можно измерить футами и свесить фунтами. В человеческом труде он также видит механическое приложение мускульной силы и совершенству забывает деятельность мозга, постоянно одерживающую победы над физической природой и постоянно открывающую в ней новые свойства.

Такой взгляд в отношении к природе радикально неверен, а в отношении к человеку совершенно односторонен и, следовательно, также несостоителен. Вся жизнь природы на нашей планете представляется мыслящему наблюдателю вечным круговращением, че останавливающимся ни на одну миллионную долю секунды. В это круговращение вовлечены и атмосфера, и вода, и минеральные частицы, и все организмы, от инфузорий до кита и от плесени до человека. Растения составляют свои корни, стебли, листья, цветы и плоды из минеральных частиц и из углекислоты, поглощаемой ими из атмосферного воздуха. Эту углекислоту они разлагают и, удерживая углерод, выбрасывают назад кислород посредством выдыхания. Кроме того, они поглощают воду из почвы, а водяные пары из воздуха. Растения служат посредствующим звеном между газами атмосферы и минеральным составом земной коры, с одной стороны, и травоядными животными организмами, с другой стороны. Травоядные животные нуждаются в пище; для поддержания жизни им необходимы именно те элементы, которые заключаются частью в атмосферном воздухе, частью в минералах; крахмал и клейковина растительных веществ состоят преимущественно: первый — из водорода, кислорода и углерода, вторая — из тех же трёх элементов с прибавкою четвёртого, азота. Но травоядное животное может питаться крахмалом и клейковиной, а четырьмя названными газами питаться не может. Ему необходимо, чтобы составные элементы его пищи были приведены растением именно в ту форму, в ка-

кой они могут быть восприняты и усвоены его организмом. Работа, которую растение производит для травоядного, совершается потом травоядным для плотоядного. Растение питается газами и минералами, коза съедает растение, козу съедает волк; потом волк издыхает и снова возвращает земле все составные части, которые были взяты им на прокат и которыми тотчас же может питаться новое растение. И волк, и коза, и прежнее растение при жизни своей постоянно отдавали в общую экономию природы большую часть поглощаемой материи; растение постоянно выделяло кислород, а коза и волк выдыхали углекислоту; растение однолетнее, съеденное в цвете лет козою, не могло непосредственно отдать земле своих твёрдых составных частей, но многолетнее растение каждый год роняет листья; коза и волк постоянно выделяли твёрдые вещества в испражнениях и в виде выпадающих волос. Всё это опять попадало в общий круговорот.

Человек, конечно, участвует в этом круговороте так же невольно и так же бессознательно, как коза и волк; но этим роль его не ограничивается. Он поглощает и выделяет известные количества материи, но, кроме того, он ещё сознательным вмешательством своим ускоряет и направляет некоторые струйки кругового течения. Такое вмешательство начинается на самых низших ступенях умственного и общественного развития. Человек разводит огонь, и уже это простейшее действие ускоряет круговорот в одном крошечном уголке нашей планеты. Дерево в этом случае быстро разлагается на свои составные части; дым уносится ветром и вступает тотчас же в разные комбинации, а зола остаётся на земле и втягивается также в общее движение. Всё это произошло бы и в том случае, если бы сожжёные сучья спокойно сгнили от сырого воздуха, но произошло бы гораздо медленнее; стало быть, влияние человека выразилось в ускорении движения. Я считаю это специфическим влиянием человека, потому что ближайшее к человеку животное, обезьяна, не умеет не только развести, но даже поддержать огонь. Когда человек занимается скотоводством и заботится об доставлении корма своим коровам, он очевидно ускоряет круговращение и сам пользуется результатами этого ускорения. Корова сама отыскивала себе пищу, но не так скоро, пли не столько, сколько нужно, или не такого качества. Вмешательство человека производит здесь ускорение круговращения, которое выражается в том, что корова жиреет и даёт больше молока. Но если бы корова зимою стала искать себе пищи, она бы не нашла её; круговращение продолжало

лось бы своим чередом, значительная часть тканей коровы была бы вовлечена в это вечное круговращение, и корова околела бы. Здесь уже вмешательство человека, доставляющего корове пищу, не только ускоряет, но и направляет струйку кругообращения так, как того требуют человеческие выгоды и соображения. Занимаясь земледелием, человек постоянно ускоряет круговращение; он старается на известном пространстве земли собрать все условия, содействующие быстрому превращению минеральных частиц и газов в различные части известных растений; для этого он проводит борозды по земле, кладёт на эту землю разлагающиеся вещества, бросает семена, покрывает их слоем земли, и, конечно, всякий посторонний зритель отличит с первого взгляда ниву, обработанную и засеянную человеком, от участка земли, на котором из случайно попавших хлебных зёрен выросли кое-где колосья. Круговращение на обработанной ниве усилено и направлено сообразно с выгодами человека, и человек пользуется плодами своего вмешательства.

Человек не может прибавить ни одного атома к массе существующей материи, но в этом он и не нуждается. Для него важны формы, которые принимает на себя материя, и комбинации, в которые вступают между собой простые элементы; а создавать и разрушать формы и комбинации значит именно ускорять и направлять круговращение. На это у человека есть множество средств, и число этих средств постоянно увеличивается, потому что человек постоянно узнаёт новые свойства и тайны природы. Что же касается до сырого материала, из которого человеку приходится лепить необходимые ему комбинации, то количество его неизмеримо велико. Одним из важнейших материалов мы должны признать атмосферный воздух и плавающие в нём газы; воздуха у нас достаточно; над землёю лежит слой атмосферы в семьдесят вёрст толщиной; другой важный материал заключается в различных минералах — тоже недостатка не предвидится: вся земная кора к нашим услугам, а толщина этой коры, по мнению одних геологов, заключает в себе *пятьдесят*, а по мнению других — *двести* миль; третий материал — вода; воды довольно: все океаны, моря, реки, вместе взятые, могут покрыть всю сушу; если разравнять все горы и долины материков и набросать массы твёрдой земли в самые глубокие места морей, так, чтобы выровнялись все неровности морского дна, то образуется на земном шаре сплошная масса воды в 1 100 футов глубины.

Надо припомнить, кроме того, что ни одна песчинка, ни одна капля воды, ни один атом газа не пропадает, не отры-

вляется от земного шара, не устечивается в мировое пространство. Громадный капитал, из которого не теряется ни одна полушка, конечно, должен быть признан неистребимым капиталом. А пока существуют газы, минералы и вода, до тех пор совершенно обеспечено существование растений; следовательно, и травоядным нечего бояться, следовательно, и плотоядные и человек не останутся в накладе. На земле теперь существует бесчисленное множество растений, но их число может ещё увеличиться в бесконечное число раз, потому что на созидание растений пущена в оборот только крайне незначительная часть всего капитала, состоящего из совокупности всех газов, минералов и вод. Растения действительно завоёзывают мало-помалу такие места, которые прежде состояли из голого камня. Процесс такого завоевания описан у Шлейдена<sup>75</sup> в его книге «Die Pflanze»\*. На вершине Брокена, на голом граните, открыто микроскопическое растение, которое невооружённому глазу представляется в виде тончайших красноватых пылинок; если потереть кусок гранита, поросший миллионами растений, то он издаёт фиалковый запах; это растение питается исключительно дождевыми каплями, растворившими в себе аммиак и углекислоту. Оно готовит почву для более крупных лишаёв тёмного цвета, называемых стигийским и фолунским; за лишаями идут мхи, потом дёрн, трава, можжевельник и, наконец, сосна. А под этими растениями гранит уже не тот, что был прежде: он разрыхляется, разлагается и втягивается мало-помалу в круговорот. Что на брокенском граните делает сама природа, то делает на полях своих человек, когда он взрывает плугом глубокие слои почвы и втягивает в круговорот мергель, лежавший мёртвым капиталом под песком, или известь, лежавшую таким образом под глиною. Чем больше миллионов людей работает плугом на полях, тем большее количество мергеля и извести вовлекается в круговое течение; чем больше десятков тысяч людей работает в кузницах и на фабриках, тем больше хороших орудий и хо-рошой одежды получают предыдущие миллионы; чем больше сотен людей работает в химических лабораториях, тем больше открывается новых средств втягивать в круговорот массы мёртвого капитала. Не Либих, не Берцелиус, не Дэви, не Лавуазье<sup>76</sup> создали химию; её создали умственные и материальные потребности масс, реальное и практическое направление нашего времени; умные люди были и в средние века, но они писали теологические трактаты или картины; это

\* Растения. — Ред.

было очень похвально, но от этого не прибавилось на земле ни одного зерна хлеба. Когда население разрослось, когда люди плотнее сдвинулись между собой, когда начался живой обмен мыслей, тогда массы почувствовали свои потребности и выдвинули вперёд своих гениальных детей, которые сделались детьми-работниками в великой мастерской природы, а не праздными вздыхателями в храмах науки и искусства. Такое движение не могло бы произойти без возрастания народонаселения. Только в одном случае вмешательство человека ослабляет производительные силы природы; это происходит тогда, когда человек вывозит сырье продукты земли на далёкие рынки и, таким образом, постоянно отнимая у земли известные составные части, не возвращает ей взамен никакого удобрения. А такой образ действий возможен только в тех местах, где мало людей и где вследствие этого нет промышленного движения. Если бы было много людей, явилась бы по необходимости предприимчивость, выросли бы фабрики, сырье продукты стали бы перерабатываться и поглощаться на месте, остатки переработанных продуктов давали бы богатое удобрение, и почва, вместо того чтобы истощаться, постоянно становилась бы плодороднее.

Выходит, стало быть, как раз противное тому, что утверждал Мальтус. Бедность происходит от малолюдства; если же бедность существует иногда вместе с многолюдством, то в таком случае надо искать причин бедности в ненормальной организации труда, а никак не в многолюдстве. Многолюдство есть обилие сил; если что-нибудь мешает приложению этих сил, то виновато, конечно, препятствие, а не существование сил. Исторические факты доказывают самым наглядным образом, что люди вовсе не размножаются быстрее, чем предметы пищи. Во Франции в 1760 г. было 21 000 000 жителей, и на каждого человека по 450 литров различного хлеба; в 1840 г. жителей было 34 000 000, а хлеба приходилось на каждого по 541 литру, да кроме того были введены в употребление картофель и различные овощи, которые в 1760 г. не были известны в народном хозяйстве; картофеля и овощей получалось в 1840 г. по 291 литру на человека; стало быть, всего питательного продукта добывалось на человека по 832 литра. Число жителей увеличилось только на 60 процентов, а количество пищи утроилось, так что Мальтус и его закон на этот случай оказались непригодными. Надобно при этом заметить, что Франция вовсе не похожа на образцовую ферму и что её земледелие чрезвычайно далеко даже от той степени совершенства, которая возможна при теперешнем состоянии агрономической науки, а агро-

номическая наука в свою очередь далеко ещё не воспользовалась всеми указаниями и открытиями современной химии, а химия опять-таки вовсе не находится в законченном состоянии; множество вопросов решается, множество стоит на очереди, и бесчисленное множество вопросов ещё не поставлено, потому что к ним и подойти невозможно при теперешних средствах науки. Следовательно, в настоящее время делать какие-нибудь выводы о производительных силах природы и о будущих успехах человека — значило бы только обнаруживать ту близорукость и заносчивость, которые всегда свойственны самолюбивому невежеству.

Любопытно заметить в заключение этой длинной главы, что школа Мальтуса не отказывается от возможности прогресса. Последователи Мальтуса полагают, что люди должны только употреблять в отношении к себе моральное стеснение (*moral restraint*) и воздерживаться от излишнего деторождения. Рикардо думает, что рабочие должны получать такую плату, которая позволила бы им существовать, не размножаясь и не уменьшаясь. Милль, тот самый Джон-Стюарт Милль, которого так уважают все наши разноцветные публицисты, говорит, что многочисленное семейство пролетария должно возбуждать в нас к отцу этого семейства такое же отвращение и презрение, какое возбудило бы безобразное пьянство. Ратуя за женщину и доказывая необходимость женского труда, Милль особенно напирает на то соображение, что труд в значительной степени отвлечёт женщину от деторождения. Наконец, в своей знаменитой книге «О свободе» («On liberty») Милль признаёт за государством право запрещать, по своему благоусмотрению, браки между людьми необеспеченных классов. Тут уж не знаешь, чем больше восхищаться: гуманностью ли, или дальновидностью подобной идеи. Я посмотрю на неё с точки зрения дальновидности. Ну, прекрасно; государство запретило браки; тогда начинают рождаться дети вне брака у таких родителей, которым детей иметь не позволяет; чтобы быть последовательным, государство назначает за незаконные рождения уголовные наказания; тогда начинаются вытравливания зародышей и детоубийства; государство казнит преступников и преступниц. Так или иначе, задушевное желание Милля исполнено: возрастание населения приостановлено. Кто потрусливее, тот воздержится посредством «*moral restraint*», а кто построптивее, того обуздает палач. Казни будут происходить каждый день, но что за беда? Великая цель достигнута, и прогресс человечества обеспечен. Я удивляюсь только, как это Миллю не пришло в голову подать государству следующий

мудрый совет: пусть государство само назначает, сколько новорождённых младенцев мужского пола могут со временем пользоваться своими половыми способностями; затем пусть остальные будут лишены этих антипрогрессивных способностей. При теперешнем состоянии хирургии такое лишение может быть совершено без малейшей опасности для жизни, и малютки вырастут, сохраняя на всю жизнь превосходный сопрано и не жалея о своей утрате. При таком образе действий государство всегда может сохранить контроль над размножением людей, а лорды и капиталисты, в пользу которых конфискуются половые способности пролетариев, могут с полной беспечностью наслаждаться своими замками, виллами, парками, миллионами, законными супругами и балетными танцовщицами.

### VIII

Одинокий поселенец находился на своём богатом острове в положении Тантала<sup>77</sup>; деревья девственного леса были усыпаны птицами, которые могли доставить ему превосходное жаркое; из чащи выскакивали поминутно зайцы и дикие козы, от которых не отказался бы самый разборчивый гастроном; в прозрачной воде реки шевелились форели, лещи, щуки и разные другие очень аппетитные рыбы. Задача состояла только в том, чтобы взять в руки все эти летающие, бегающие и плавающие кушанья. Но именно в руки-то они и не давались. Робинзону приходилось пробоваться дикими плодами и с сокрушением размышлять о прелестях мясного и рыбного стола. Если ему удавалось после долгих попыток и разочарований убить метко пущенным камнем какого-нибудь кролика, то, конечно, он очень дорожил своей добычей; он придавал ей тем более ценности, чем значительнее были побеждённые им препятствия. Чтобы набрать себе плодов, Робинзону надобно было ходить по лесу и взлезать на деревья в продолжение нескольких часов; чтобы убить камнем кролика, ему надобно было ходить, осматривать, подкарауливать, прицеливаться и промахиваться в продолжение нескольких дней. Понятно, что он дорожил убитым кроликом больше, чем несколькими десятками бананов или кокосовых орехов. Но Робинзон — человек догадливый: он придумывает устроить себе лук, и опыт убеждает его, что заострённые деревянные стрелы летят дальше и достигают цели вернее, чем камень, брошенный рукой. Кролики и птицы начинают делаться его добычей чаще, чем прежде; до-

бывание животной пищи значительно облегчено, между тем как за бананами и за кокосовыми орехами попрежнему приходится бродить по лесу и взлезать на деревья в продолжение нескольких часов. В прейскуранте Робинзона совершается переворот: кролики сравнительно с плодами дешевеют, а плоды сравнительно с кроликами становятся дороже. Когда Робинзон действовал камнем, он готов был дать за кролика сорок штук плодов; теперь, владея луком, он уже не даст больше тридцати. Но у него родилось неистовое желание отведать рыбы; за хорошего леща он с удовольствием дал бы две пары кроликов или сто двадцать штук плодов; изобретательность опять выручает его из затруднения: заострённая кость, тонкая жила и деревянная палка образуют первобытную удочку; является рыба, и колонист наш скоро замечает, что поймать рыбу вовсе не так трудно, как ему казалось; ценность рыбы понижается, хороший лещ уравнивается в правах с кроликом, а потом, когда устройство удочки совершенствуется, то лещ даже становится ниже кролика. Но все эти передвижения на прейскуранте Робинзона клонятся к постоянному возвышению одной ценности, с которой Робинзон сознательно или бессознательно сравнивает все блага и удобства своей одинокой жизни, — это ценность человеческого труда. С каждым новым изобретением или улучшением труд Робинзона становится более производительным. Вооружённый луком и удочкой, Робинзон в один день застрелит больше дичи и наловит больше рыбы, чем он прежде мог бы застрелить или наловить в неделю. Дичь и рыба подешевели, а труд вздорожал.

Так и должно быть. Всякая новая машина, всякое новое приложение к делу двигательных сил природы должны возвышать ценность человеческого труда, т. е. делать его более производительным и, следовательно, улучшать материальное и всякое другое положение трудящегося человека. Если в действительности выходит наоборот, если машины часто отбивают у работника хлеб или увеличивают его рабоцщие, то в этом, конечно, не следует винить изобретение. Изобретение само по себе хорошо; не хорошо то, что горсть людей конфискует это изобретение в свою пользу и превращает его в оружие для той глухой постоянной войны, которая ведётся в обществе между почивающим на лаврах капиталистом и надрывающимся от работы пролетарием. Эта конфискация, эта война составляют, разумеется, болезненные уклонения от чистой природы труда, и поэтому рассмотрение и оценка этих явлений не относятся покуда к нашему предмету.

Робинзон на своём острове ни с кем не ведёт войны и ни от кого не терпит обиды. Ценность его труда постоянно увеличивается, а ценность продуктов и составленных запасов также постоянно уменьшается. Первый лук стоил Робинзону много труда; трудно было убить кролика; следовательно, трудно было достать ту жилку, из которой надо было сделать тетиву; когда первый лук устроен, то стрельение кроликов стало легче, стало быть, и добывание жил облегчилось; второй лук стоил меньше труда, чем первый, следовательно, и первый лук понизился в цене, если только Робинзон не дорожил им как историческою реликвией.

Так точно бывает и в действительной жизни. Каменный уголь облегчает добывание железа и понижает его ценность; увеличившееся количество подешевевших железных орудий облегчает добывание каменного угля и, следовательно, также понижает ценность последнего. Оказывается, что каменный уголь сам понизил свою ценность, точно так же как первый лук Робинзона сам себя понизил в цене. При всех этих понижениях возвышается ценность человеческого труда и увеличивается могущество человека над окружающей природой. Ценность предмета определяется, таким образом, не тем количеством труда, которое было употреблено на его произведение, а тем, которое необходимо употребить для его воспроизведения. Если вы пятьдесят лет тому назад купили штуку сукна, то, как бы она хорошо ни сохранилась, вы никак не получите за неё тех денег, которые вы заплатили сами. В фабрикации сукна произведено много усовершенствований, понизивших цену этого продукта, и вы в самом лучшем случае можете получить за ваш товар только ту цену, по которой продаётся теперь сукно того же достоинства. Капитал Робинзона, состоящий в его удочке, в луке, челноке, топоре, хижине и разной грубой утвари, постоянно понижается в цене, но Робинзон от этого не беднеет, потому что он трудится, потому что труд его становится производительнее и потому что именно успешность и производительность его труда ведут за собой технические улучшения, понижающие ценность всех прежних накоплений. Лук, требовавший целых суток работы, может быть сделан в два часа; челнок, который прежде надо было долбить полгода, может быть сделан в два месяца; хижина, которую надо было городить целый год, может быть выстроена в четыре месяца.

Все эти перемены очевидно выгодны и приятны для Робинзона; он вырос, он стал сильнее, он покорил себе до некоторой степени природу, и потому его прежние подвиги

кажутся ему незначительными и лёгкими, точно так же, как взрослому человеку кажется чрезвычайно простыми те самые арифметические задачи, которые приводили его в отчаяние в детстве. Но положим, что у Робинзона есть сосед, у которого был членок в то время, когда у Робинзона членока не было; сосед позволяет Робинзону пользоваться членоком и требует взамен три четверти того количества рыбы, которое будет поймано при помощи членока. Робинзон по необходимости соглашается и выполняет заключённое условие, а сосед между тем предаётся сладостному *gaf piente*\* и питается трудами деятельного рыболова. Но Робинзон со свойственю ему сметливостью находит возможность кое-как выдолбить полууснувшее бревно; этот новый членок плох, но на воде держится; на нём ездить очень неудобно, но Робинзон предпочитает пользоваться плохим членоком, чем платить за прокат хорошего три четверти своей добычи. Соседу приходится или сбавить цену, или расстаться с любезным бездействием. Сосед выбирает первое, и Робинзон платит за членок уже не три четверти, а половину улова. Затем следует новое ухищрение Робинзона, и новая уступка со стороны соседа. Наконец, Робинзону удаётся сделать точь-в-точь такой членок, какой есть у соседа; тогда Робинзон привозит обратно членок, взятый на прокат, и дружелюбно раскланивается с своим соседом, которому поневоле приходится от «беспечального созерцания» перейти к презренным заботам действительности. Капитал, дававший ему доход, растаял у него в руках. Каждое изобретение Робинзона, уменьшавшее крепостную зависимость последнего, было тяжёлым ударом для благосостояния праздного обладателя членока.

Тот факт, который представлен здесь в простейшем виде, повторяется в действительной жизни в самых больших размерах и с самыми разнообразными усложнениями. Труд постоянно стремится выбиться из-под контроля и господства капитала в тех землях, в которых человеческий ум не находится в бездействии. Рабочая плата постоянно растёт, несмотря на все усилия капиталистов держать её на самом низком уровне. В XIV столетии работник получал в неделю 7 1/2 пенсов (около 11 копеек), а теперь он зарабатывает в тот же срок от 12 до 15 шиллингов (от 3 р. 60 к. сер. до 4 р. 50 к. сер.). Драгоценные металлы, сравнительно с трудом, подешевели, таким образом, в 30—40 раз, и могущество обладателя денег над пролетарием уменьшилось в зна-

\* Ничегонеделание. — Ред.

чительной степени. В XIV столетии, когда работник получал по 11 копеек в неделю, обладатель одного фунта серебра мог за пользование этим количеством металла брать с своего должника очень большие проценты, потому что приобрести фунт серебра в собственность можно было только полторагодовым трудом; теперь никто не дает в Англии таких процентов, потому что фунт серебра зарабатывается в две недели с небольшим. В настоящее время проценты очень высоки в самых бедных и чисто земледельческих странах, в которых труд дешев и работник находится в положении выночного животного; по мере того как мы переходим в те земли, в которых существуют разнообразные приложения человеческого труда, мы замечаем, что труд становится дороже, человек самостоятельнее, возможность накопления значительнее, капиталы всякого рода обильнее и, следовательно, проценты ниже. Трудящееся большинство выигрывает от каждого уменьшения в могуществе капитала, и теряют только те паразиты, которые, живя процентами, поглощают произведения чужого труда. Эти люди всегда хлопочут о том, чтобы поработить труд, и потому об их волнениях и неудачах здравомыслящему человеку сокрушаться не следует.

## IX

Оставляя в стороне Робинзона и его остров, читатель может в собственном своём кабинете, не вставая с места, отдать себе полный и ясный отчёт в том, с какими предметами он связывает идею ценности. Он увидит прежде всего, что он окружён атмосферным воздухом, который для него необходим и которому он, однако, не придаёт никакой ценности. Днём он не придаёт никакой ценности солнечному свету, который, однако, чрезвычайно важен как для здоровья читателя, так и для его занятий. Летом теплота кабинета также не имеет никакой ценности. Но освещение комнаты посредством свечей, ламп или газа имеет ценность; отопление комнаты посредством дров или каменного угля также имеет свою очень определённую ценность, а между тем искусственное освещение хуже солнечного света, и натопленная комната составляет плохую замену тёплого летнего воздуха.

Читатель поймёт без труда, почему он придаёт ценность искусственному освещению и отоплению и не придаёт никакой ценности воздуху, солнечному свету и летней теплоте. Поэтому, ответит он сам себе, что воздух, свет и теплота доставляются природою в неограниченном количестве, в том

самом виде, в котором мы ими пользуемся, и на то самое место, на котором мы в них нуждаемся. Если бы воздух не проникал в какой-нибудь тоннель, то его надо было бы накачивать туда, и тогда за труд накачивания пришлось бы платить, и воздух получил бы ценность. Если солнечный свет не проникает в глубокую шахту, то в ней приходится работать с фонарями, и тогда свет даже во время дня имеет ценность. В монастыре св. Бернарда, на высоте 14 тысяч туазов, приходится топить камни круглый год, потому что природа даже во время лета не доставляет туда достаточного количества теплоты. Там теплота всегда имеет ценность. Рассудив таким образом, читатель решит немедленно, что он придаёт ценность дровам и свечам потому, что их приготовление и доставление на место стоит труда. Природа даёт даром деревья и торф, из которого делаются парафиновые свечи; но дерево надо срубить, а торф надо добывать; потом срубленное дерево надо разрубить на мелкие части, а над торфом надо произвести разные химические и механические операции. Наконец, готовые дрова и готовые свечи надо перевести на место потребления. На перемену формы и на перемещение употреблён человеческий труд; за этот самый труд и придаётся известному предмету его ценность. Но необходимое количество человеческого труда изменяется, и это изменение выражается в изменении ценности. Читатель сидит на кресле, перед письменным столом, на котором лежат книги и письменные принадлежности. Чернила, стальные перья и бумага куплены неделю тому назад; с тех пор в фабрикации этих предметов не могло произойти усовершенствований, и новый комплект этих вещей стоил бы такого же количества труда и, следовательно, такой же суммы денег, какая заплачена за вещи моего читателя. Но мебель куплена лет десять тому назад; с тех пор столярное производство облегчилось и улучшилось введением новых приёмов и инструментов; ценность кресла и письменного стола понизилась, потому что теперь можно сработать такие же вещи с меньшей тратой труда и времени; может быть, в денежном отношении кресла и письменные столы не подешевели, может быть, они даже вздорожали, но ценность предметов должна измеряться не деньгами, а трудом; если десять лет тому назад письменный стол делался одним работником в продолжение десяти дней и если теперь также один работник может сделать такой же стол в восемь дней, то ценность стола понизилась. Но если десять лет тому назад работник получал в день 70 коп. сер., а теперь получает 90 коп. сер., то стол, сработанный десять лет тому назад, стоил

7 руб. сер., а стол такого же достоинства теперь будет стоить 7 р. 20 к. сер. Это значит, что труд возвысился в цене, как сравнительно со столами, так и сравнительно с деньгами, т. е. с драгоценными металлами; при этом ценность последних понизилась сильнее, чем ценность первых.

Если читатель, сидящий за своим письменным столом, сам человек трудящийся, то для него такая перемена выгодна и приятна. Он платит дороже прежнего столяру, портному и сапожнику, но зато и сам получает за свой труд большее количество денег и удобств. Если же мой читатель живёт процентами с капитала, тогда, конечно, возрастающие претензии всякой чернорабочей сволочи должны казаться ему высоко безнравственными; но в этом случае он сам виноват:вольно же ему полагаться на мёртвую кучу денег, вместо того чтобы искать себе опоры в живых силах собственных мускулов и собственного мозга.

Рассматривая свои книги, читатель замечает, что каждая из них представляет сумму нескольких сложных операций. Прежде всего он видит умственный труд автора, затем перед ним рисуются фабрикация бумаги, добывание металла, из которого отливается шрифт, отливка шрифта, работа наборщиков, отпечатание набранных полос, корректура, броширование листов и переплётная работа. Облегчение какой-нибудь одной из этих операций отражается на ценности книги. Чем больше операций и чем они сложнее, тем больше оснований предполагать, что общая ценность продукта должна быстро понижаться, потому что тем больше есть шансов для отдельных технических усовершенствований. Химик открывает такой состав, которым удешевляется беление бумаги, — ценность бумаги понижается, и вместе с этим понижается ценность книги. Железная дорога уменьшает издержки на перевозку тряпок, идущих на фабрикацию бумаги, — опять понижение. Применение пара к выделке бумаги даёт фабриканту возможность производить стопы бумаги в то время, в которое прежде он производил только дести. Пар применяется к отливанию шрифта; пар приводит в движение скоропечатную машину и оттискивает тысячи листов в час, между тем как машина, приводившаяся в действие руками, оттискивала в час только сотни листов. Читатель может себе представить, как совокупность таких колоссальных усовершенствований должна отразиться на ценности окончательного продукта, т. е. книги. Экземпляр сочинений Шекспира или Мильтона лет пятьдесят тому назад изображал събою неделю человеческого труда, а теперь он может быть воспроизведён работой одного дня.

Читатель встречает здесь имена английских писателей потому, что Англии и Америке принадлежит пальма первенства в деле технических усовершенствований всякого рода. Если читатель перенесёт вопрос на русскую почву, то он, конечно, увидит, что мы ничего не усовершенствовали самостоятельно, даже мало переняли у передовых народов; следовательно, ценность русских книг в последнее полустолетие понизилась не так значительно.

Из всех размышлений, предпринятых читателем в его кабинете, он может вывести то плодотворное заключение, что ценность каждого из окружающих его предметов равняется тому количеству труда, которое необходимо для его воспроизведения. Это необходимое количество труда уменьшается с каждым усовершенствованием в производстве и, следовательно, ценность всех продуктов стремится к постоянному понижению, которое совершается быстро или медленно, смотря по тому, быстро или медленно совершаются различные отрасли производственного труда. Читатель увидит, что результаты, добытые им в кабинете, остаются в полной силе, как бы мы ни расширяли поле нашего исследования и в каких бы сложных комбинациях ни представлялся нам вопрос о ценности различных угодий и предметов. Ценность обработанной земли подчиняется тому же общему закону. Земля сама по себе не имеет никакой ценности, точно так же как воздух, солнечный свет, теплота, электричество, ветер и всякие другие силы природы. Если бы кому-нибудь принадлежали миллионы десятин земли в Скалистых горах Северной Америки, в девственных лесах Бразилии или в пустынных равнинах нашей Сибири, то этот счастливый собственник не мог бы получить с своей земли ни копейки дохода. Между тем в Англии или во Франции каждый квадратный аршин земли имеет свою ценность и может приносить доход, несмотря на то что по качеству английская или французская земля гораздо хуже бразильской. Вся разница между Англией и Бразилией заключается в том, что в Англии с незапамятных времён потрачено многими десятками поколений неизмеримое количество труда и что весь труд этот положен в землю, как в огромную сберегательную кассу. Труд человека вырубил леса, осушил болота, насыпал плотины, провёл дороги, основал деревни и города, построил школы, больницы, запасные магазины, превратил деревья в корабли и сделал тысячи других операций, вследствие которых дикая пустыня сделалась жилищем многочисленного и деятельного народа. Если бы вдруг можно было отнять от Англии всю массу потраченного на неё человеческого труда,

если бы в одно мгновение её можно было превратить в Англию доисторических времён, то наверное девять десятых её жителей погибли бы в самом непродолжительном времени, а остальная десятая часть с ужасом бежала бы на континент. Англия опустела бы, и земля тотчас же потеряла бы всякую ценность; тотчас началась бы, конечно, новая колонизация из Франции и Германии, и земля быстро стала бы приобретать ценность благодаря тому обстоятельству, что много человеческого труда потрачено на земли, лежащие недалеко от Англии, и что населённость этих земель и промышленная деятельность народов чрезвычайно облегчают труд разработки и расчистки новой почвы.

Населённость земель и промышленная деятельность народов нашего времени составляют также прямое следствие этого огромного количества труда, которое было положено в землю всеми предыдущими поколениями. Земля не могла бы быть густо населена, если бы труд человека не сделал её предварительно обитаемою; а если бы на известном пространстве земли не сосредоточилось значительное число людей, то никогда не могла бы развиться промышленность. Грубый труд полудикого пахаря лежит в основании всех чудес европейской цивилизации. Этот же самый труд, которого значительная доля скрывается в доисторической древности, составляет единственную причину ценности земли. Богатый и могущественный землевладелец Англии является прямым и, по мнению юристов, законным наследником вооружённого варвара, пришедшего в мирную землю и конфисковавшего в свою пользу личный труд англо-саксов и труд многих веков, составлявших наследственное достояние беззащитных поселян. Вооружённый варвар, или, иначе, рыцарь и барон, отнял у поселян трудовое наследие предков и личную свободу. Он был в одно и то же время похитителем собственности и рабовладельцем. Текущий английский пэр, филантроп и аболиционист, обязан всем своим богатством и могуществом тем самым поступкам своего славного предка, которые он, пэр, с добродетельным ужасом назвал бы позорными преступлениями.

Часто повторяющиеся исторические опыты доказывают неопровергимым образом, что колоссальное территориальное богатство может быть основано только на похищении чужого труда и на порабощении работника. В XVII и в XVIII столетиях было много примеров, что люди богатые и влиятельные получали в подарок или за ничтожную сумму огромные пространства земли в нынешних Американских штатах. Они деятельно принимались за разработку земель,

нанимали поселенцев, тратили много денег, хлопотали сами, и в результате оказывалось, что они разорялись вконец. Такой случай произошёл с Вильямом Пенном, с герцогом Йоркским, с Робертом Моррисом и с Голландской поземельной компанией. Наёмный труд чрезвычайно дорог в обработке новой земли, а рабский труд особенно убыточен потому, что невольники мрут в большом количестве от работ в лесах и болотах. Для заселения новой земли не годится ни наёмный работник, ни раб; только вольный колонист, предпримчивый и самостоятельный, трудящийся для себя, завоёвывающий новую землю для своего семейства и потомства, имеющий полную возможность ити направо или налево, не спрашиваясь ни у кого и не давая никому отчёта, — только такой колонист может положить прочное основание будущему богатству и цветущему поселению. Такие колонисты в древности заселили и начали обрабатывать Англию; а потомки этих колонистов были обобраны и порабощены предками нынешних пэров, точно так же как русские были порабощены татарами Батыя, которым они в продолжение двух столетий платили дань.

Из всего этого следует, что не захват земли, а захват человеческого труда составляет богатство современной плутократии. Вся ценность земли, как и всякой другой вещи, заключается только в труде человека.

## X

Труд есть борьба человека с природою; в борьбе «то сей, то оный на бок гнётся»; когда побеждает природа, мы называем труд неудачным; когда побеждает человек, мы говорим, что труд удачен; победы бывают более или менее полные, и, сообразно с этим, труд бывает совершенно или несовершенно удачным. На одну совершенную удачу обыкновенно приходится несколько несовершенных удач и несколько совершенных неудач. Так как совершенная удача случается сравнительно редко, то мы говорим, что для достижения такой удачи надо преодолеть сильное сопротивление природы.

Конечно, все эти выражения: «борьба с природой», «сопротивление природы» при ближайшем рассмотрении оказываются простыми метафорами. Природа вовсе не борется с нами и не старается злоумышленным сопротивлением разрушить наши замыслы и повредить нашим интересам. Наши неудачи или неполные удачии просто происходят от нашего неумения и неполного знания причин и следствий; но отчего бы они ни происходили, они несомненно существуют и ока-

зывают своё влияние на ценность предметов, производимых трудом. Стекольщик кладёт в горн большое количество сырого материала, который должен превратиться в листовое стекло; после окончания разных операций несколько десятков листов оказываются готовыми. Материал для всех листов был один, работник тоже один, количество работы одинаковое, между тем четыре листа вышли совершенно гладкие, одиннадцать листов — с едва заметными неровностями, десятка три — с порядочными крапинами, а остальной лист — весь в пузырях, так что никуда не годится. Это произошло, разумеется, оттого, что для первых листов случайно стеклись такие благоприятные обстоятельства, которые работник, по недостатку умения, не мог обратить в общее правило для всего количества продукта. Поэтому он сортирует изготовленные листы, и ценность первого сорта считается выше второго, который в свою очередь ценится выше третьего и т. д.

Различие в ценностях происходит от различия в сопротивлении природы. Стекло первого сорта может образоваться при исключительно благоприятных условиях, которые встречаются редко, и оттого это стекло дорого; чтобы приготовить один такой лист, надо испортить на неудачные попытки больше десятка. Конный заводчик воспитывает с одинаковым старанием сотню жеребят, но из этой сотни, может быть, сформируется только два замечательные скакуны, потом штук пятнадцать отличных верховых и упряженных лошадей, потом штук тридцать порядочных лошадей, а затем остальные окажутся дрянью. Причины те же самые, какие мы видели в фабрикации стекла, — именно, неполное знание естественных свойств предмета и, следовательно, неполное умение пользоваться благоприятными условиями и устранивать расстраивающие влияния. Цена различным лошадям будет, конечно, чрезвычайно различная. Замечательный скакун должен будет, по возможности, навёрстывать труд, потраченный на него самого и на менее удачные экземпляры, представляющие собой не осуществившиеся стремления заводчика. Тамберлик<sup>78</sup> получает за свой зимний сезон в Петербурге такую значительную сумму денег, что каждая ария его может быть рассчитана на рубли и копейки. Положим, что какой-нибудь прожектёр вздумал сформировать нового Тамберлика, с тем чтобы он пел в его пользу. Такое предприятие имеет какие-нибудь шансы успеха только в том случае, если предприимчивый оригинал займётся физическим и музыкальным воспитанием целых сотен или тысяч детей, подающих надежды. Некоторые из этих детей умрут, другие потеряют голос, трети

есть сила, и против этой силы не устоят самые окаменелые заблуждения, как не устояла против неё инерция окружающей нас природы.

Всякая победа человека над инерцией природы увеличивает пользу окружающей нас материи и уменьшает ценность предметов нашего потребления. Пользою предметов измеряется сила человека над природой; поэтому польза увеличивается, когда люди сближаются между собой. Ценностью предметов измеряется, напротив того, сила природы над человеком; поэтому ценность уменьшается при сближении людей между собою. Одинокому поселенцу приходится бегать за водой к реке за несколько сот шагов, так что каждое ведро воды стоит значительного количества труда. Когда число поселенцев увеличивается, то им удаётся вырыть колодец возле самых домов; ценность воды уменьшается, но польза её увеличивается, потому что её употребляют в домашнем быту чаще и в большем количестве. Потом поселенцы ставят над колодцем насос, который ещё облегчает добывание воды и, уменьшая её ценность, снова увеличивает её пользу. Наконец, когда силы поселения оказываются уже очень значительными, вода проводится в дома, после чего каждому из жителей стоит только отвернуть кран, чтобы добыть себе целые бочки воды. Ценность падает, таким образом, до самой низкой степени, а польза увеличивается до самых больших размеров. Этот простой пример, в котором нет ни натяжки, ни произвольной гипотезы, показывает нам, что ценность и польза предметов находятся всегда в обратном отношении между собою. Кроме того, этот пример подтверждает ещё раз ту истину, что дружное соединение человеческих сил распространяет своё благотворное влияние на все мелкие подробности вседневной жизни.

## XI

Положим, что буря выбрасывает обломки корабля на такой остров, которого ещё не посещали европейские мореплаватели; дикие островитяне осматривают эти обломки и находят в числе других вещей несколько ружей, запас неподмоченного пороха, несколько фунтов пуль и дроби и большое количество пистолетов. Для людей, живущих охотою, чрезвычайно выгодно заменить луки и стрелы хорошими ружьями, но дикари наверное не поймут важного значения своей находки и останутся при своём прежнем, варварском оружии. Для них ружья не составляют богатства, потому что они не умеют ими пользоваться. Если бы к ним перенесли все

паровые машины Англии или Американских штатов и если бы земля их заключала в себе мощные пласти каменного угля и неистощимые жилы железной руды, то и тогда они не сумели бы сделать себе ни одного ножа и попрежнему продолжали бы резать кожу и мясо животных острыми раковинами и кремнями. У них недостаёт знаний для того, чтобы обращаться как следует с паровой машиной или с ружьём. Они даже не подозревают, чтобы в природе существовала возможность тех явлений и сложных комбинаций, которые известны каждому фабричному работнику в Англии или в Америке. В тех пределах, до которых успели развиться знания дикарей, они воспользуются и паровой машиной и ружьём. Первую они, вероятно, разломают на части, чтобы из этих частей сделать себе разную домашнюю утварь; второе будет обращено в дубинку, которую дикарь будет брать в руки за дуло, чтобы поражать своего врага прикладом. Это своеобразное употребление паровой машины и ружья обнаруживает в дикарях опытное знание самых элементарных свойств материи: видно, что они умеют пользоваться ёмкостью, твёрдостью, тяжестью, клинообразной или остро-конечной формой и другими наглядными свойствами окружающих предметов. Благодаря этим слабым знаниям они могли извлечь очень незначительную пользу из тех снарядов, из которых сведущий европеец извлекает большое количество важных житейских удобств.

Всякий читатель согласится, что большое количество житейских удобств может быть названо богатством и что европеец, пользующийся ружьём как огнестрельным оружием, богаче дикаря, употребляющего точно такое же ружьё как дубину. В руках первого ружьё развёртывает все свои производительные силы, между тем как у последнего все специфические свойства ружья остаются мёртвым капиталом. Причины таких различных результатов заключаются в различии знаний; следовательно, надо согласиться с тем, что знание составляет важнейший элемент богатства. Но знание не такой предмет, который человек мог бы найти готовым на какой-нибудь горе или в какой-нибудь пещере. Знание составляется из мелких крупинок ежедневного опыта, а так как жизнь отдельного человека очень коротка и круг его зрения очень ограничен по своему пространству, то он никогда не выбился бы из-под гнёта невежества и бедности, если бы, сходясь с другими людьми, он не выслушивал от них и не обращал бы в свою пользу собранных ими опытов и наблюдений. Сближение с людьми составляет для человека самое могущественное средство умственного развития; в обществе

человек мыслит быстрее, чем в одиночестве, и мысли каждого отдельного лица находят себе поверку в опыте других и средство к испытанию и применению в советах и в содействии слушателей. На этом основании всякая мера, уменьшающая расстояние между отдельными людьми или уничтожающая препятствия, лежащие на пути их сближения, или увеличивающая потребность людей сближаться между собою, — всякая подобная мера, говорю я, увеличивает скорость в обращении идей, распространяет знания и производит увеличение богатства.

Люди всего больше расположены сближаться между собою тогда, когда они занимаются различными промыслами и могут меняться между собой продуктами своего труда. Земледелец не пойдёт к соседу-земледельцу, потому что он знает, что у него и у соседа одни и те же излишки и одни и те же потребности. Сосед не возьмёт у него хлеба, потому что у соседа своего хлеба слишком много, и сосед не даст ему рубашки, потому что сосед сам хочет приобрести себе полотна или бумажной материи. Чтобы сбыть лишний воз зернового хлеба и приобрести несколько аршин полотна или сукна, пару сапог или новую косу, земледелец принуждён отправиться в ближайший город, за несколько десятков вёрст, по дурной и гористой дороге. Это препятствие, находящееся между производителем-земледельцем и потребителем-ремесленником и заключающееся в далёком расстоянии и в дурной дороге, ведёт за собою много невыгод. Целый день земледельца будет потрачен непроизводительно, т. е. не увеличит количества продукта; вместе с трудом земледельца пропадёт и труд лошади, которая повезёт хлеб в город и телегу из города. Помёт лошади, падающий на дорогу, потерян; кроме того, земледелец, не имеющий под рукой близкого сбыта, принуждён обсевать свои поля только такими сортами хлеба, которые при наименьшей громоздкости продаются по наиболее дорогой цене. Он не может возить в город картофель или сено, потому что продажная цена этих продуктов не окупит издержек и трудов перевозки. Это обстоятельство вредит успешному ходу его хозяйства, не позволяет ему вести рациональный севооборот и заставляет его истощать свои поля постоянными посевами ржи, пшеницы, овса и других зерновых хлебов. Положим теперь, что через владения нашего земледельца пролегла железная дорога, ведущая к тому городу, в который прежде приходилось ездить по разным трясинам и буеракам; теперь продукты отправляются на продажу в вагонах, а то количество лошадиного и человеческого труда, которое тратилось на бесплодные прогулки по дурной просёлочной дороге, уменьшается вдвадцать раз.

лочной дороге, посвящается улучшению земли; помёт весь идёт на удобрение земли, и количество земледельческих продуктов увеличивается. Тогда земледелец нанимает большее число работников, чтобы ещё более расширить круг своих действий. Является необходимость построить новые амбары и скотные дворы; плотник, замечая запрос на свой труд, поселяется рядом с земледельцем; сапожник, получая с фермы частые заказы, приближается к своим заказчикам; мельник ставит мельницу на ближайшей речке, потому что предвидит себе работу. Прежде надо было ездить к плотнику за тёсом и за рамами, к сапожнику за обувью, к мельнику с зерном и от мельника с мукою; на все эти прогулки в общей сложности тратилось большое количество труда и помёта; теперь всё это терявшееся количество сохраняется и увеличивает плодородие земли, хлеба добывается гораздо больше прежнего, и притягательная сила процветающего местечка постоянно увеличивается: приходит ткач, чтобы на месте превращать лён и пеньку в полотно; затем устраивается сукновальная, избавляющая фермера от необходимости возить в город шерсть своих овец. Затем являются портной, кузнец, колёсник, шорник, пивовар и другие рабочие. Сблизившись между собою, все эти различные ремесленники ежедневно доставляют друг другу значительные выгоды как производители и как потребители; все они могут постоянно заниматься своими работами, не имея надобности бегать по дорогам ни за покупателями, ни за продавцами. Сапожнику стоит перейти через улицу, чтобы купить у ткача полотна; ткачу стоит сделать несколько шагов, чтобы достать у мельника муки; и сапожник и ткач знают также, что их соседи сами придут к ним за теми продуктами, которые они вырабатывают. Что же касается до земледельца, то он находится в самом цветущем положении: каждый кусок земли приносит ему пользу и доход; хлеб, говядина, баранина, масло, яйца, домашняя птица, сыр — всё это находит себе сбыт, и всё это дёшево, потому что продаётся на месте, и всё это, кроме денег, даёт удобрение, которое постоянно возвышает производительную силу земли.

Правственные следствия такого сближения разнородных людей и промыслов также очень значительны. Каждое отдельное ремесло знакомит человека с особенностями свойствами того или другого сырого материала; каждое из них даёт человеку особенные орудия и наставляет его особым приёмам; каждое изощряет в человеке ту или другую способность и направляет его природную наблюдательность на ту или другую сторону обыденных явлений. Всякий знает, что у земледельца есть свои особенные метеорологические приметы, что

пастухам известны многие интересные свойства в характере домашних животных, что мельники по необходимости приобретают практические сведения по части механики и гидростатики. Когда множество различных ремесленников живут между собою рядом и находятся друг с другом в ежедневных сношениях, то они невольно и бессознательно сообщают друг другу большое количество заметок и сведений, которые возбуждают любознательность, нарушают неподвижность ума и расширяют круг понятий и воззрений. Особенно важны нравственные следствия такого сближения для подрастающих детей. Где земледелие составляет единственный промысел всего населения, там не может быть и речи о личных наклонностях или способностях молодых членов общества. К чему бы ни был расположен мальчик, каковы бы ни были его природные дарования, он всё-таки должен непременно браться за соху, потому что вне сохи нет спасения от нищеты. Когда же, напротив того, десятки различных ремесленников живут на пространстве одной квадратной версты, тогда самые прихотливые вкусы и самые разносторонние способности могут и должны находить себе удовлетворение. Кто расположен к сидячей жизни и к кропотливой работе, тот пойдёт в ученье к портному или к сапожнику; у кого верный глаз и сильная рука, тот сделается плотником; кто владеет тем же хорошим глазомером при меньшей физической силе, тот займётся столярной работой; кто любит работать на открытом воздухе, тот посвятит свои силы садоводству или огородничеству; всякому откроется возможность заниматься своим делом с охотою, по свободному влечению, а не вследствие горькой необходимости. Индивидуальные силы, наклонности и способности заявят своё существование, и это обстоятельство, во-первых, возвысит нравственное состояние людей и, во-вторых, увеличит количество и улучшит качество продуктов, понизит их цены посредством усовершенствований в производстве, усилит, таким образом, их сбыт и возвысит общее благосостояние производителей и потребителей.

Наконец, разнообразие промыслов благодетельно тем, что оно уменьшает зависимость простого работника от хозяина или мастера и увеличивает в первом чувство собственного достоинства, принуждая в то же время второго уважать человеческую личность своего подчинённого. Где все пашут землю, там личность работника не существует; там человек, идущий за сохой, по свойствам своего труда очень мало отличается от лошади или от вола, на которых он покривляет и помахивает кнутом. Хозяин не дорожит умом и ловкостью своего батрака; он совершенно основательно рассуждает, что за со-

хой сумеет ходить и круглый дурак; поэтому он и помыкает своими работниками, как ему угодно, и гонит их со двора, когда они начинают пускаться в рассуждения. Заменить выгнанного работника вовсе не трудно, потому что особенных достоинств и способностей от кандидата на такое место не требуется. В ремесленной деятельности вопрос ставится совершенно иначе. Хозяин дорожит человеком и смышлённым работником, потому что его не скро заменишь. В чисто земледельческом быту принималась в расчёт только животная сила человека; при ремесленной работе, напротив того, сила мускулов обыкновенно отходит на второй план, а всего больше обращается внимание на искусство, на знание дела, на сообразительность. В ремесле впервые проявляется и признаётся элемент личного таланта. Этот элемент эманси- пирует и возвышает ремесленника и смягчает в отношении к нему хозяина, которого личный интерес зависит от ума и технической ловкости рабочего.

В истории средних веков встречается такой факт, который совершенно подтверждает собою предыдущие рассуждения. Первые признаки самостоятельности в отношении к феодалам проявляются между ремесленниками; они образуют коммуны и возмущаются против епископов и баронов; из них составляется знаменитый *tiers-état*\*, а в это время земледельцы ещё несут на себе всю тяжесть барщины и разных произвольных поборов.

Из всего, что было сказано о жизни разросшегося местечка, мы можем заметить, что сближение людей между собой, распространение знаний, увеличение богатства и нравственное освобождение личности зависят преимущественно от разнообразия занятий и, при существовании этого последнего условия, естественным образом развиваются одно из другого.

Для того чтобы в каждой отдельной местности какой-нибудь страны проявлялось то разнообразие занятий, из которого вытекают деятельность, знание, богатство и свобода, необходимо существование множества местных центров притяжения. Если в какой-нибудь земле один огромный город стягивает в себе большую часть промышленных сил страны, то жители находятся в зависимости от этого общего центра; они принуждены возить свои продукты на этот далёкий рынок и на этом же рынке покупать те фабричные изделия, которые необходимы им для домашнего обихода. Ни один из жителей не решается устроить какое-нибудь промышленное заведение вне большого центра, потому что не может рас-

---

\* Среднее сословие.—Ред.

считывать на сбыт; разбросанное население поневоле занимается исключительно земледелием и истощает свою почву постоянным вывозом сырых произведений, которые потребляются на далёком рынке и, следовательно, не дают обратно никакого удобрения. Между тем в большом центре заводятся всякие гадости; туда бежит всё, что голодно, в надежде найти работу и находит чаще всего крайнюю степень нужды, совершенное нравственное падение и преждевременную смерть от изнурения, от гнилой пищи или от вынужденного разврата; туда бежит и едет всё, что честолюбиво, в надежде найти блеск и повышение и чаще всего находит развратающую школу низкопоклонства и ничем не вознаграждаемого насилия совести; туда же, в обетованную землю всякой роскоши, несутся все люди, стремящиеся пожить на чужой счёт, начиная от бесконечного числа разных просителей, искателей и кончая легионом шулеров и уличных мошенников. Первые большей частью пытаются надеждами и нравственными подзатыльниками, но зато вторые как люди, избравшие благую часть, обыкновенно находят себе обильную ловлю рыбы в мутной воде этих колоссальных клоак нашей великой цивилизации. Таким образом, страна, имеющая один большой центр притяжения, представляет очень неутешительную картину: провинции постоянно беднеют и истощаются; жители тупеют от однообразного и неблагодарного труда, а в центре собирается вся дрянь страны, вся испорченная кровь, весь гной её бедности, вся квинт-эссенция её разврата и нравственной низости, её страданий и преступлений; но так как эта миазматическая смесь поддерживается всегда тонкою плёнкою мицурного золота, то дальновидные теоретики находят обыкновенно, что всё обстоит благополучно, или утверждают, что вся беда происходит от недостатка нравственного самовоздержания (*moral restraint*) со стороны рабочего человека и его супруги.

## XII

Когда Робинзон жил один на своём острове, то ему надо было ходить на охоту, собирать плоды, ловить рыбу, сносить все эти запасы в свою пещеру, варить или жарить их, готовить себе одежду из шкур, таскать из леса дрова для отопления жилища, сооружать и чистить охотничьи и рыболовные инструменты. Всё это и, может быть, много других занятий лежало на нём одном, потому что у него не было союзника и помощника. Когда он отправлялся в лес за добычей,

то запасы, набранные накануне, оставались без присмотра и могли быть съедены крысами или унесены каким-нибудь более крупным животным; когда он был на охоте, пища не приготовлялась ко времени его возвращения, и одежда, которую он начал нить до своего ухода, оставалась недоконченной. Когда он готовил пищу или дошивал одежду, время, удобное для ловли рыбы, могло быть пропущено. Словом, Робинзон постоянно принуждён был переходить от одного дела к другому, причём, конечно, много труда и времени терялось на эти беспрестанные переходы; все занятия, по необходимости, шли плохо, потому что они сталкивались между собою и ежеминутно мешали друг другу. Каждая работа делалась урывками, и ни в одной не было того постоянного и последовательного движения, которое необходимо для достижения выгодных результатов. Если у Робинзона была жена, то уже все работы должны были идти гораздо успешнее: пока мистер Робинзон бродил по лесу за дичью или плавал по реке за рыбой, домашний очаг охранялся бдительным оком мистрисс Робинзон, которая, кроме того, в это же время варила или жарила мясо, чистила набранные накануне плоды, потрошила наловленную рыбу или шила одежду; работы не прерывались так часто, как во время холостой жизни Робинзона, и вследствие этого в этих работах замечалось больше порядка, и от них получалось большее количество продукта. Между Робинзоном и его женою происходили постоянные обмены услуг к обоюдной выгоде обеих сторон. Когда подросли дети, то быстрота в обмене услуг значительно увеличилась. Один из членов семейства охотился за дичью, другой ловил рыбу, третий чинил охотничий инструменты, четвёртый варил кушанье, пятый шил одежду, шестой копал землю, так что все отрасли работ одновременно и дружно подвигались вперёд; потом продукты этих работ обменивались один на другой; когда вся семья садилась обедать, тут излишek дичи одного обменивался на излишek рыбы другого; тут съестные припасы, добытые одним, оплачивали труды других, посвящавших свои силы на приготовление кушанья, на шитьё одежды, на сооружение луков, членков и удочек. Этот обмен был выгоден для каждого, потому что вследствие такого обмена каждый пользовался разнообразным столом, каждый был одет, каждый, кому надо было охотиться или ловить рыбу, был снабжён необходимыми инструментами. Труд каждого был гораздо производительнее, чем труд одинокого колониста, потому что каждый посвящал своему занятию всё своё время и всё своё внимание, не

кидаясь от одной работы к другой и не развлекаясь посторонними заботами и соображениями.

Эта небольшая семья колонистов служит прототипом общества; в ней, как и в самом многолюдном обществе, происходит разделение труда и обмен услуг; эти два явления заключают в себе источник всех благотворительных действий, которые существование общества производит на материальное и нравственное положение отдельного человека. Чем многолюднее общество, тем значительнее может быть разделение труда, тем деятельнее, умнее, богаче и свободнее может становиться человек, тем сильнее должны понижаться ценности предметов и тем сильнее должна возвышаться их польза.

Так может быть и так должно быть, но так не бывает в действительности, потому что люди, кроме разделения труда и обмена услуг, всегда вносят в каждое зарождающееся общество элемент присвоения чужого труда. Этого ядовитого зерна достаточно, чтобы отравить все блага общественной жизни и породить все междуусобные распри, которые составляют историю и в которых до наших времён истощаются физические и умственные силы людей. Начинается с того, что муж бьёт свою жену и побоями принуждает её работать, в то время как сам он лежит на спине и греется на солнце. Таким образом нарушается естественное разделение труда и свободный обмен услуг. Мужчина берёт себе большее количество продуктов и меньшее количество труда; для установления равновесия в обмене он отпускает женщине несколько ударов кулаком по лицу или палкой по спине, и равновесие действительно восстанавливается, потому что возражения женщины умолкают после получения подобной монеты — и обмен услуг продолжается, несмотря на явное нарушение справедливости. Как муж присвоил себе значительное количество труда жены, так родители присваивают себе значительное количество труда детей; братья поступают точно так же в отношении к сёстрам, и старший брат в отношении к младшему; потом, когда дети становятся взрослыми людьми, а родители — дряхлыми стариками, то первые эксплуатируют последних и, наконец, измучив их до крайности непосильными работами, предоставляют им полную свободу умереть с голоду.

Войны и порабощение начинаются, таким образом, в самом семействе и, начавшись однажды, не останавливаются ни на одну минуту; каждый из членов семейства бывает постоянно то победителем, то побеждённым, то рабовладельцем, преподающим осязательные внушения слабейшему род-

ственнику, то рабом, испытывающим убедительность таких же наставлений со стороны сильнейшего. Значительная доля труда и изобретательности, большое количество физической силы и нравственной энергии тратятся на постоянно повторяющиеся натиски и отпоры, на завоевательные попытки и на отражение таких попыток. При борьбе с природою человек никогда не встречает сознательного сопротивления своему сознательному нападению; при борьбе человека с человеком коса находит на камень: насилие встречается с насилием, хитрость отражается хитростью, суровая воля рабовладельца натыкается на пассивное, но сознательное упорство раба. Борьба затягивается, усложняется и принимает на себя бесконечное разнообразие видоизменений. Семейство оказывается для первобытного человека превосходной школой безнравственности. Из этой школы он выносит очень основательные сведения по части естественного гладиаторства и самородного макиавеллизма; за пределами семейства он встречается с воспитанниками других учебных заведений, в которых преподавались те же элементарные науки, с некоторыми изменениями и дополнениями в программе и в плане. Встретившиеся юноши начинают пробовать друг над другом силу и убедительность своих научных аргументов и стратегических приёмов. Пределы диспутов расширяются; первобытные силлогизмы совершаются и усложняются. Война, политика рабства, эксплоатация, воровство и грабёж— все эти различные видоизменения одного общего начала приводятся в стройные и красивые системы. Человеческий ум развёртывается во всём своём величии и блеске и производит в этом направлении такие же превосходные усовершенствования, какими являются в области производительного труда паровые машины и приложение химии к земледелию. Не рискуя ошибиться, можно даже сказать, что элемент присвоения разился гораздо быстрее, чем элементы труда и обмена услуг; этот первый элемент достиг полнейшего совершенства и успел уже просочиться в практическое применение тех открытий, которые подарило человечеству естествознание, составляющее одно из важнейших и плодотворнейших проявлений элемента труда. Элемент присвоения преобладает во всех существующих обществах, везде и всегда искажает природу человека и во всех бедствиях частной и общественной жизни является единственной причиной страданий и преступлений.

Дойдя до этого элемента и указавши читателю, я уже вышел из области гипотез и теоретических выкладок и стою теперь на пороге истории, на почве действительных фактов.

Здесь я считаю удобным остановиться на несколько минут, оглянуться назад и в сжатом очерке напомнить читателю добытые нами результаты, составляющие в своей совокупности физиологическую часть истории труда. Мы видели, что человек был слаб и беден, пока он оставался одиноким; силы природы, окружавшие человека, не приносили ему почти никакой пользы, а все удобства жизни, начиная от самой грубой пищи, имели в его глазах самую значительную ценность; когда число людей увеличилось, тогда люди стали помогать друг другу и совокупными силами успели одержать над природою много важных побед; каждая такая победа увеличивала пользу сырого материала и уменьшала ценность предметов потребления. Каждая победа человека над природой давала ему в руки новые орудия и таким образом прокладывала ему путь к новым и более важным победам. Начавши обработку земли на сухих холмах, человек спускался в тучные долины, когда увеличившееся число людей и усовершенствование орудий давали ему возможность вырубить леса и осушить болота, покрывавшие плодородную почву. Овладевши тучной землём, человек становится богатым; в основании его богатства лежало знание, дававшее ему господство над природой; знание приобретается и развивается вследствие частых и разнообразных сношений людей между собой. Сношения эти завязываются и поддерживаются разнообразием занятий; разнообразие занятий возможно только в том случае, когда существует множество небольших, тесных центров притяжения. Эти тесные центры образуются сами собой в тех местах, в которых общественные аномалии не парализуют естественного развития человеческого труда. Общественные аномалии всякого рода выросли из элемента присвоения чужого труда, а этот враждебный элемент возник в доисторические времена в семейном быту и из него раскинул свои ветви по всем отраслям человеческой деятельности.

Вот беглый перечень тех мыслей, которые были изложены на предыдущих страницах. Совокупность этих мыслей указывает на ту великую и светлую часть, которая должна составлять естественное достояние людей; часть эта не имеет ничего общего с теми мрачными явлениями, которые наполняют всемирную историю и обращают на себя внимание современного наблюдателя. Люди сбились с настоящего пути, исказили свою природу и до сих пор продолжают мучить друг друга. Факты эти очень достоверны и тем более печальны. Но эти факты не дают нам права думать, чтобы светлое будущее было недостижимо. Надо помнить, что люди потратили

много тысячелетий на то, чтобы ознакомиться с природой; надо помнить, что они до сих пор не знают её вполне, и надо помнить, кроме того, что человек есть самое сложное явление природы, всего менее доступное непосредственному наблюдению и почти совершенно недоступное опыту. Очень естественно, что величайшее число ошибок, теоретических и практических, относится именно к человеку как самому сложному, самому неизвестному и в то же время самому интересному предмету во всей природе. Очень естественно, что астрономия и химия уже в настоящее время вышли из тумана произвольных гаданий, между тем как общественные и экономические доктрины до сих пор представляют очень близкое сходство с отжившими признаками астрологии, алхимии, магии и теософии. Очень вероятно, что и эти кабалистические доктрины сложатся когда-нибудь в чисто научные формы и со временем обнаружат свою влияние на практическую жизнь, со временем убедят людей в том, что людоедство не только безнравственно, но и невыгодно. Со временем многое переменится, но мы с вами, читатель, до этого не доживём, и потому нам приходится ублажать себя тем высоко бесплодным сознанием, что мы до некоторой степени понимаем нелепость существующего.

«— И это называется нигилизмом?

— И это называется нигилизмом! — повторил опять Базаров, на этот раз с особенной дерзостью»<sup>79</sup>.

### XIII

Когда человеку хочется есть и когда он видит у себя под рукою приготовленный запас пищи, то в нём тотчас рождается влечение взять эту пищу в руки и отправить её к себе в рот. Это влечение разделяют с человеком все животные, с тою только разницей, что они в подобных случаях обходятся без пособия рук. Можно было бы подумать, что это действие над пищей совершается машинально или инстинктивно, т. е. вообще без посредствующего процесса мысли. Но, во-первых, такие слова, как «машинально», «инстинктивно», сами по себе ровно ничего не объясняют, а во-вторых, есть и прямые опыты, доказывающие, что деятельность мозга обусловливает собой даже эти простейшие поступки: голуби и куры, у которых французский физиолог Флуранс снимал передние полушария головного мозга, глотали пищу только в том случае, когда её клали им в рот и проталкивали до горлового отверстия; когда же их оставляли в покое, то они умирали

с голода среди целых куч хлебных зёрен. Итак, мы с полным основанием можем сказать, что человек захватывает приготовленный запас пищи вследствие размышления. Конечно, размышление это в высшей степени просто, потому что, как мы уже видели, все животные размышляют точно так же. Но именно по своей простоте это размышление, доступное всем людям без исключения, оказывало и до сих пор оказывает на судьбу нашей породы такое могущественное влияние, каким не пользуются ни чистейшие нравственные истины, ни величайшие научные открытия. Из этого размышления развилось всё, что составляет красоту и гордость нашей цивилизации, и всё, что составляет её позор и страдальческий крест.

Запас пищи, найденный человеком, мог быть приготовлен природою или другим человеком; захват пищи в первом случае является зародышем труда, а во втором он оказывается присвоением чужого труда и кладёт основание борьбе между людьми и порабощению одного человека другим. В жизни нашей породы встречались несчётное число раз оба эти случая, и из них развивались все их неизбежные последствия. Человек, присвоивший себе пищу, приготовленную природой, старался устроить так, чтобы природа дала ему новый запас, и эти старания постепенно превращали охотника в пастуха, потом в земледельца; эти же старания рядом с земледельцем создавали кузнецов, портных, ткачей и всех других ремесленников, вооружающих человека рабочими инструментами, снабжающих его одеждой, устраивающих его жилище и доставляющих ему на счёт окружающей природы все возможные удобства жизни. Из этих же стараний развились искусство и наука, увеличивающие силу человека над природой, расширяющие его ум, приготовляющие ему бесконечное разнообразие наслаждений и доставляющие ему возможность уважать самого себя и, анализируя себя и других, сознательно прощать и любить заблуждающихся людей, так дорого платящих за свои заблуждения. Между тем второй случай — захват пищи, приготовленной человеком, — повторялся ежедневно, и следствия, неизбежно вытекающие из него, развивались гораздо быстрее, чем те благодетельные явления, в основании которых лежал чистый труд, не политый слезами и не пропитанный человеческой кровью.

Эта несоразмерность развития существует и, быть может, даже увеличивается в наше время. Всемирная история до сих пор принуждена заниматься исключительно политической жизнью людей, потому что, действительно, факты политической жизни совершенно заслоняют собою те проявления

мысли, энергии и творчества, которые происходят в лабораториях, в мастерских, на полях, везде, где человек подмечает тайны природы или вводит в процесс производства творческие силы, которые уже исследованы и обузданы. Историю интересует преимущественно органическое развитие государственных форм, последовательная смена систем, существенные изменения в законодательстве и в международных отношениях, пробуждение в массах политического смысла и национального чувства.

Кажется, набросанная мною рамка достаточно широка; я не думаю, чтобы кто-нибудь из современных историков увидел в подобном определении задач истории признаки неуважения к науке или попытку исказить и унизить её настоящее значение. Между тем не трудно заметить, что элемент присвоения составляет единственный предмет изысканий историка. В этом нисколько не виноват историк, потому что такова действительная жизнь, которую исследователь не имеет права украшать и разглаживать. Государственные формы, политический смысл и даже национальное чувство составляют прямое следствие элемента присвоения, т. е. все эти вещи или произошли от присвоения, или возникли как отпор присвоению. Государства, все без исключения, порождены элементом присвоения; прошу читателя не видеть в этой мысли ничего безнравственного и не искать в ней никакого лукавства; я вовсе не хочу сказать, чтобы все основатели государств были люди буйные и одержимые жадностью к чужой собственности; если такие наклонности и существовали у некоторых викингов, конунгов, шейков и других эмбриологических властителей, то это обстоятельство вовсе не может быть возведено в правило. Многие государства возникали потому, что жителям известной земли необходимо было сгруппироваться для отражения нападающих врагов. В других случаях государство основывалось потому, что жителям необходимо было существование такой власти, которая разбирала бы их ссоры и своим вмешательством отвращала бы кровопролития. При таких условиях основание государства было благодеянием, но люди нуждались в этом благодеянии только потому, что заезжали в чужую личность и захватывали чужой труд. Нападавшие враги и ссорившиеся единоплеменники, по всей вероятности, должны быть признаны людьми; следовательно, то зло, в отпор которому возникло государство, заключалось всё-таки в попытках одних людей пользоваться трудом других. Не было ни одного государства, которое было бы основано с той целью, чтобы отражать зверей или общими силами граждан разрабатывать землю,

следовательно, элемент присвоения так же необходим для развития политических учреждений, как частица дрожжей необходима для того, чтобы произвести в хлебном тесте брожение. Политическое развитие, сообщающее присвоению правильную форму, составляет очень полезное лекарство, но всякий знает, что лекарство есть горькое следствие болезни.

Национальное чувство, к которому каждый благомыслящий человек должен питать глубокое уважение, составляет прямое следствие того недоверия и антагонизма, которые во-дворились между отдельными группами людей вследствие взаимных обид и нападений, клонившихся всё-таки к присвоению труда и его продуктов. Национальное чувство просыпается тогда, когда нации приходится защищать себя от порабощения; так было у нас в эпоху Минина и в 1812 году; так было в Испании во время войн её с Наполеоном, в Германии — во время её поголовного восстания в 1813 году, во Франции — при революционной борьбе её с европейскими коалициями, в Италии — с самого начала нынешнего столетия, в Греции, возмущившейся против турецкого господства... Везде это национальное чувство делало чудеса и вызывало к жизни народ, находившийся в самом бедственном положении, но везде это чувство возбуждалось предшествовавшими страданиями или угрожавшими опасностями; везде проявление этого чувства сопровождалось очень тягостными пожертвованиями, которые были необходимы, но всё-таки оставляли после себя глубокие следы в материальном благосостоянии народа.

Эти соображения приводят к тому неотразимому заключению, что элемент присвоения остаётся чрезвычайно вредным даже в тех случаях, когда он, возбуждая против себя энергический отпор, приводит в движение самые возвышенные и благородные страсти человеческой природы. Поэты и сентиментальные историки, имеющие страстное влечение ко всему грандиозному, могут с особым восхищением оставляться на тех исторических эпохах, в которых целый народ поднимался, как один человек; поэтам свойственно видеть в каждом явлении его красоту и картинность; им свойственно принимать отдельных людей за мелкие камешки огромной мозаики; но человек, не одарённый от природы таким пылким эстетическим чувством, человек, неспособный, подобно художнику Нерону<sup>80</sup>, зажечь Рим, чтобы получить понятие о разрушении Трои, такой человек видит величайшее доказательство силы зла в том обстоятельстве, что даже проявление лучших сил и страстей целого народа всегда бывает похоже на страшную конвульсию больного

организма и почти всегда ведёт за собою упадок сил и значительное увеличение индивидуальных страданий и общественных тягостей.

В истории трудно отыскать хоть один такой факт, в котором энергия народа, его героические усилия, его жертвы, приносимые трудом и кровью, произвели бы в его образе жизни действительное улучшение, соответствующее подобным затратам. Везде и всегда народ поднимался, как один человек, против одного из проявлений несправедливости и присвоения; а в это время десятки и сотни проявлений того же элемента продолжали процветать и, пользуясь общею суматохою, пускали глубже свои корни в живые силы народа и истощали их больше прежнего. Поэтому все великие эпохи дали до сих пор людям несколько пламенных стихотворений, несколько красноречивых страниц в истории да, кроме того, приращение налогов и то чувство утомления, которое всегда следует за напряжением сил. Все эти мысли, конечно, вовсе не относятся к России, потому что в отношении к ней я нахожу удобным соблюдать то правило вежливости, по которому о присутствующих не говорят.

## XIV

Элемент присвоения, конечно, составляет зло; можно сказать больше: он составляет источник и причину всякого зла, а между тем этот ядовитый элемент, этот Ариман человеческой природы, сам вытекает из совершенно безвредного свойства нашего ума, и притом из такого свойства, которое мы никак не сумели бы устраниТЬ, если бы нам была представлена возможность переделать по нашему благоусмотрению все физические и интеллектуальные способности человека. Это свойство состоит в том, что ум наш всегда начинает свою деятельность с самых простых процессов мысли, и уже потом, укрепляясь и совершенствуясь, переходит к более сложным процессам, соображает вероятия и отдалённые последствия, рассматривает и обсуживает явления с разных сторон и точек зрения. У всякого животного есть потребности и желания, имеющие связь отчасти с сохранением жизни неделимого, отчасти с поддержанием жизни породы. Мозговые силы животного посвящаются исключительно изысканию средств, ведущих к удовлетворению этих потребностей и желаний. Руководствуясь своими внешними чувствами — зрением, слухом, обонянием, осязанием и вкусом — животное соображает, итти ли ему направо или налево, тро-

зит ли ему опасность или ждёт его наслаждение. Животное руководствуется, конечно, иезуитскою нравственностью: цель всегда оправдывает в его глазах средства, и в выборе средств животное обнаруживает кроме неразборчивости крайнюю односторонность и близорукость соображения, в чём оно далеко превышает иезуитов. Рыба хватается за червяка, не обращая внимания на крючок, в котором заключается весь смысл трагического эпизода; мышь развязно вбегает в мышеловку, руководясь запахом мяса, и не даёт себе труда заметить, что в общем виде снаряда есть что-то странное и зловещее. Так действуют животные и почти так действуют дети и дикари. Океанийские островитяне, приезжая на европейские корабли, обыкновенно начинают с изумительной ловкостью воровать всё, что приходится им по душе. Их за это бьют очень сильно верёвками, но, конечно, это их не унимает. Нельзя сказать, что воровство было у них принятым обычаем или чтобы оно составляло их болезненную мономанию; нельзя себе представить, чтобы они переносили с совершенным равнодушием удары верёвками; их поступки объясняются всего удовлетворительнее крайней простотою тех умственных направлений, на которые способен их мозг.

Дикарь рассуждает так: я вижу блестящую пуговицу, она мне нравится, следовательно... тут рассуждение обрывается, потому что дело сделано, пуговица очутилась в руках нашего мыслителя, и тут начинается новый ряд соображений, клонящийся к тому, чтобы спрятать приобретённое имущество и напустить на свою физиономию выражение полнейшей невинности. Процесс мысли, разрешившийся в приобретении пуговицы, совершился с быстротой молнии; дикарь схватил понравившуюся ему вещь с такой же непосредственной жадностью, с какой рыба хватает червяка. Преимущество дикаря над рыбой ограничивается в этом случае тем, что дикарь в одно мгновение успевает принять некоторые предосторожности, которые всегда останутся недоступными самой гениальной рыбе. Сходство же дикаря с рыбой состоит в том, что и тот и другая не способны ни на минуту усомниться в выгодности своего предприятия и отнестись к нему критически; желание возникло и тотчас удовлетворяется с большей или меньшей степенью искусства, проворства и осторожности. Что будет потом,— об этом дикарь потом и подумает, потому что в его голове не удерживается сложный ряд мыслей, в котором причины связывались бы со следствиями.

Если мы разберём значение нашего национального «авось», то заметим в нём несомненное родственное сход-

ство с умозрениями океанийца. Действия на-авось не имеют ничего общего ни с мужеством героя, ни с сознательным риском смелого спекулятора; в них просто выражается неумение и нежелание додумать до конца, неспособность ума к сложным выкладкам и леность мысли, ведущая за собой необходимость оставлять в тумане те следствия, которыми непременно должен закончиться данный поступок. Строгая общественная нравственность, заключающаяся в том, что каждая отдельная личность сознательно несёт ответственность за свой образ действий и отдаёт себе и другим отчёт в каждом своём поступке,— такая нравственность совершенно немыслима в такой среде, в которой «авось» составляет основание практической философии. Нравственность людей вовсе не зависит от хороших качеств их сердца или их натуры, от обилия добродетели и отсутствия пороков. Все подобные слова не имеют никакого осознательного смысла. Нравственность того или другого общества зависит исключительно от того, насколько члены этого общества сознательно понимают свои собственные выгоды. Красть невыгодно, потому что если я обокрали удачно сегодня, то меня так же удачно могут обокрасть завтра, не говоря уже о том, что я могу попасться и получить более или менее серьёзную неприятность. По тем же причинам невыгодно убивать; точно так же невыгодны и всякие другие посягательства на личность и собственность ближних и дальних. Если бы все члены общества прониклись сознанием этой невыгодности, то преступления были бы немыслимы, и вся непроизводительная трата сил на совершение, преследование, предотвращение и наказание преступлений сделалась бы излишней и перестала бы существовать. Но проникнуться таким спасительным сознанием не может ни дикарь, ни любитель слова «авось», ни пролетарий, которого мысль постоянно направлена на борьбу с голодом. Чтобы быть нравственным человеком, необходимо быть до известной степени мыслящим человеком, а способность мыслить крепнет и развивается только тогда, когда личность успевает вырваться из-под гнёта материальной необходимости.

Человек не получает от природы ничего готового ни вне себя, ни внутри себя; ему самому надо устроить себе оружие, рабочие снаряды, одежду, жилище и даже ту землю, в которую он бросает семена; точно так же ему самому надо укрепить свои мускулы посредством упражнения и развернуть силы своего мозга также посредством упражнения. Пока дикарь доберётся до хороших орудий, ему приходится пробоваться плохими; целые поколения действуют камен-

шими топорами, потом другие поколения работают медными, и так идёт дело в продолжение целых столетий. Точно так же дикарю приходится изворачиваться в жизни работею плохо развитого мозга, и весь домашний и общественный быт дикаря складывается сообразно с несовершенными направлениями недоразвитого органа мысли. Всякое усовершенствование мозга даёт себя чувствовать и в улучшении орудий, и в увеличении богатства, и в возвышении общественной нравственности. Но мозг совершенствуется чрезвычайно медленно, потому что вся жизнь дикаря проходит в постоянной заботе о пропитании, и вся наличная мозговая сила тратится на прискание мелких средств, ведущих к мелким целям. Тут некогда припомнить и обобщать опыты, и потому знание увеличивается и круг мыслей расширяется только тогда, когда опыт бьёт в глаза и насилино втирается в сознание. Это детство человеческого ума не только неизбежно, но даже совершенно необходимо. Если бы первобытному человеку был вложен в голову совершенно развитой мозг, то, вероятно, этот мозг был бы почти таким же мёртвым капиталом, каким было бы ружьё в руках дикаря, совершенно не знакомого с его употреблением. Мы способны пользоваться только тем, что мы сами выработали. Если человек своими трудами приобрёл себе тысячу рублей, то они пойдут ему в прок, потому что, приобретая рубли, он приобретал, кроме того, уменье обращаться с ними. Но если вы подарите десять тысяч такому человеку, который не умел приобрести ни копейки, то легко может случиться, что ваш подарок будет разбросан на пустяки или заперт в сундук. Точно так же развитой мозг, доставшийся человеку как милостыня природы, мог быть растрячен на мелочи или мог погрузиться в сонное блаженство, за которым непременно последовали бы вялость и расслабление. Всё, что живёт в природе, растёт и развивается, подвергаясь в своём развитии болезням, опасностям и тяжкой борьбе за существование. Ум человека как самое сложное явление в природе подвергается в большей степени, чем что-либо другое, этому общему закону всего существующего. Присвоение чужого труда, вражда между людьми и все ужасы варварства вытекают прямо из тех простейших процессов мысли, которые одни доступны младенческому уму дикаря. Все эти мрачные явления составляют неизбежную детскую болезнь нашей породы, но детство и его болезни не должны продолжаться вечно, и потому в наше время следует по крайней мере отдавать себе отчёт в том, какие именно условия удерживают различные группы людей в состоянии младенчества и пре-

вращают временные болячки в постоянно открытые фонтанели, из которых сочатся страдания для одних и доходы для других.

## XV

Грубое присвоение, заключавшееся в грабеже и сопровождавшееся убийствами, так естественно вытекает из слабости мысли у дикарей и из недостаточного количества пищи, добываемой плохими орудиями первобытных людей, что не сговариваются останавливаться на объяснении этого явления. Несколько удачных набегов, несколько безнаказанных убийств приохочивали дикаря к таким занятиям, развивали в нём дух молодечества, возвышали его в глазах единоплеменников и собирали вокруг него шайку людей, искавших добычи и называвших её славою. Так формировалось зерно военного сословия; оно скоро начинало чувствовать презрение к тем жалким людям, которые пашут землю и пасут стада; потом жалкие люди порабощались; их заставляли платить дань, и когда это взимание известной части продукта приводилось в правильную форму, тогда группа людей, отмечаясь каким-нибудь общим названием, вступала в историческую жизнь под предводительством поработивших её воинов.

Рядом с этим простейшим присвоением идёт с незапамятных времён другой вид присвоения, более сложный. Рядом с откровенным грабежом развивается торговля, которую многие учёные до сих пор считают величайшою благодетельницею человеческого рода. Люди всегда нуждались и до сих пор нуждаются во взаимном обмене услуг и продуктов; один производит хлеб, другой выделяет ткачи; если первый даст второму излишек своего хлеба и возьмёт у него взамен излишек его тканей, то положение обоих значительно улучшится, потому что оба будут сыты и одеты. Этот обмен услуг производится очень легко и удобно, если земледелец и ткач живут между собою в близком соседстве; но если они живут в разных землях и если между их землями лежат горы, реки, пустыни и моря, то прямой обмен становится невозможным; тогда является услужливый джентльмен, который ткачу привозит хлеб, а земледельцу ткани; земледелец и ткач — оба очень рады, потому что продукты эти им необходимы, а добрый джентльмен ещё более рад тому, что ему удалось услужить таким достойным людям. Но услужливость и добродушие джентльмена обходятся очень дорого и ткачу и земледельцу. Ткач получает очень

мало хлеба, а земледелец очень мало тканей; ткач за малое количество хлеба отдаёт все свои ткани, а земледелец за малое количество тканей отдаёт весь хлеб, который он может сберечь от своего личного потребления. Ткач сидит впроголодь, а земледелец оказывается полуодетым; зато добрый джентльмен питается изысканными кушаньями и одевается с утончённым изяществом; в его руках остаётся весь хлеб, который не доходит до ткача, и все ткани, которых не получает земледелец; эти излишки продуктов он везёт к таким людям, которые производят табак или пряности; тут опять происходит та же история: джентльмен берёт у них как можно больше табаку и даёт им как можно меньше хлеба и тканей; потом он едет с табаком в такое место, где добываются меха, и опять берёт очень много мехов и даёт очень мало табаку.

Таким образом, услужливый джентльмен прогуливается по разным землям, осыпает своими благодеяниями жителей всех географических широт и долгот, не увеличивая ни на один золотник количества их продуктов, оставляет у себя в руках столько хлеба, тканей, мехов, табаку и других удобств, сколько можно оттягивать у производителей и потребителей. Конечно, эти удобства остаются в руках торговца не в первоначальном своём виде; они превращаются в более удобную форму золотых и серебряных монет, но сущность дела от этого не изменяется. Интересы торговца идут постоянно вразрез с выгодами и потребностями всех тех людей, с которыми он приходит в соприкосновение. Ткач и земледелец могут обменивать между собой свои продукты так, что рабочий день ткача будет отдаваться за рабочий день земледельца, и для обоих такой обмен будет выгоден, потому что оба хлопочут не о том, чтобы увеличить общую сумму своего продукта, а только о том, чтобы изменить его форму. Но между ткачом и земледельцем появляется посредник, у которого нет никакого продукта; он берётся перевезти хлеб в такое место, где производятся ткани, и обещает возвратиться к земледельцу с грузом тканей, соответствующим взятому грузу хлеба. Очевидно, что и ткачу и земледельцу выгодно, чтобы на перевозку истратилось как можно меньше продукта, но торговцу-перевозчику выгодно, напротив того, чтобы перевозка обошлась ткачу и земледельцу как можно дороже, потому что вся сумма продукта, поглощённая перевозкой, идёт в его пользу. Поэтому ткач и земледелец желают оба, чтобы обмен между ними совершился как можно легче, чтобы расстояние между ними сокращалось и чтобы число и величина препятствий станови-

лись как можно меньше; ткач и земледелец стараются сблизиться между собой и завязать непосредственные сношения. Купец, напротив того, желает, чтобы производитель и потребитель были как можно дальше друг от друга, чтобы непосредственные сношения между ними были совершенно невозможны, чтобы препятствия, лежащие между ними, были или, ещё лучше, казались обеим сторонам чрезвычайно значительными. Там, где между производителем и потребителем нет препятствий, там не нужно посредника, там роль курица равняется нулю. Когда увеличиваются расстояния и препятствия, тогда возрастают важность и барыши купца, который, наконец, совершенно порабощает и производителя и потребителя. Первому он назначает произвольно малую цену; со второго берёт произвольно большое количество денег, продукта или труда; оба, производитель и потребитель, доходят до крайней степени нищеты и зависимости, а богатеет и усиливается только их общий благодетель, служивый джентльмен, не производящий ничего и совершающий постоянно прогулки от ткачей к землевладельцам, от землевладельцев к меховщикам, от меховщиков к плантаторам пряностей и т. д.

Обмен услуг и продуктов составляет ту общую цель, к которой стремятся все люди; торговля есть дорога, ведущая к этой цели; чем эта дорога прямее и короче, тем выгоднее для производителя и потребителя; чем она длиннее и запутаннее, тем выгоднее для торговца, стоящего между производителем и потребителем. Купить дёшево и продать дорого — вот то золотое правило, которое всегда руководило торговцами, а это правило может быть выполнено в самых роскошных размерах тогда, когда производитель и потребитель не знают друг друга и не имеют возможности усвоиться между собой насчёт цены и достоинства продуктов. Прямая выгода торговца побуждает его мешать сношениям производителя с потребителем и держать того и другого в состоянии невежества и такой нищеты, которая принуждала бы их отдавать весь свой труд или все продукты труда за кусок хлеба или за лоскут ткани, брошенный им сердобольным торговцем.

Средства мешать сношениям людей между собою и поддерживать между ними невежество и бедность очень незамысловаты; они были известны всем торговцам древнего мира и в существенных чертах своих остались неизменными до наших времён. Морская торговля и морской разбой постоянно помогали друг другу; финикияне, малоазийские греки и жители островов Архипелага с одинаковым успехом занимались и

тем и другим. Когда в каком-нибудь поселении проявлялось желание жителей удовлетворять своим потребностям без помощи торговцев, когда зарождались первые начатки разнообразия занятий и когда, таким образом, ткач пытался поселиться рядом с земледельцем, — тогда, конечно, торговцы старались немедленно искоренить такие предосудительные стремления. К мятежному поселению приставала сильная флотилия; с кораблей сходили вооружённые люди; mestechko разорялось; часть его жителей погибала в свалке, а кто оставался в живых и не успевал укрыться в какую-нибудь трущобу, тот обращался в товар и продавался в рабство в таком месте, где за рабов давали хорошую цену. После такого разгрома оставшиеся жители вынуждали из своих убежищ и, конечно, принуждены были употреблять все свои силы на добывание пищи; о ремесленных занятиях нечего было и думать; людей оставалось слишком мало, да и все заведения вместе с орудиями производства были истреблены разгневанными торговцами. Разумеется, зависимость оставшихся жителей от соседних воинов и торговцев становилась совершенно безответственной, и всякое стремление к промышленной самостоятельности затихало на многие десятки лет.

Сила торговцев состояла преимущественно в том, что в их руках была монополия перевозочных средств; они были владельцами кораблей и мореплавателями; они знали торговые пути, они умели обходить подводные камни и выбирать для своих путешествий благоприятное время года; если дело шло о сухопутной торговле, то им были известны свойства земель и нравы жителей, мимо которых лежал путь их караванов; они знали, как проходить через песчаные пустыни и где отыскивать в них оазисы и источники воды; они держали стада верблюдов, приученных ко всем тягостям походной жизни, и, наконец, как сухопутные, так и морские торговцы знали в совершенстве, в каких краях господствует изобилие или недостаток в тех или других произведениях, т. е., другими словами, на каком рынке можно купить какой-нибудь предмет дёшево или продать его за дорогую цену. Все эти знания и преимущества оберегались торговцами самым ревностным образом: торговые пути финикиян и карфагенян считались государственной тайной, и путешественники этих наций распространяли умышленно самые нелепые сказки о тех далёких землях, которые они посещали. Если у какого-нибудь соседнего племени заводились корабли, то купцы, видя в них будущих конкурентов, при первой возможности захватывали их в плен или пускали их ко дну; иногда тем и кончалось дело, а иногда обиженное племя затевало войну, по-

сле которой победители становились властителями моря и на несколько времени избавлялись от всякого соперничества. С воинами, не пускавшимися в торговые предприятия, купцы жили в самых дружеских отношениях; воины были самыми лучшими покупателями; они сбывали купцам захваченных плеников и ту часть добычи, которая не была удобна для их личного потребления; тем же путём уходила значительная часть той дани, которую воины собирали натурою с поработённых земледельцев и со всей трудящейся массы; купцы давали им взамен предметы роскоши, привезённые из далёких земель; за эти предметы воины давали очень хорошие цены и находили такие покупки чрезвычайно выгодными, потому что продукты, которыми они расплачивались, были произведены работою простых смертных и не стоили самим героям ни малейшего личного труда. Доброе согласие между воинами и купцами всею своей тяжестью лежало на плечах трудящегося большинства; чем туже набивался кошелёк торговца и чем чаще появлялись затейливые кушанья на столе воина или пёстрые ткани в его одежде, тем сильнее голодал земледелец, тем грубее становились его орудия и тем полнее делалось его порабощение.

Древняя история представляет много примеров таких зачинавшихся цивилизаций, которые сначала были приостановлены войной и торговлей, а потом погибли без следа под грудою благоденствий, насыпанных на развитие народа щедрыми руками купцов и героев. Война и торговля как два главные вида присвоения возникают чрезвычайно рано в каждом образующемся обществе людей; история не может проследить их происхождения, потому что она везде находит их уже существующими; история каждого народа начинается даже обыкновенно с каких-нибудь сказочных преданий о военных подвигах и о приобретении богатой добычи. Так как добыча эта наверное куда-нибудь сбывалась и на что-нибудь обменивалась, то, очевидно, война и торговля относятся к разряду таких фактов, которые, подобно языку, мифологии и парварским начаткам земледелия, зарождаются в глухие времена неопределенной древности. Война и торговля совершенно доступны дикарям, находящимся на очень низкой степени умственного развития. Для войны требуется физическая сила, из которой естественным образом развивается самонадеянность и отвага; а для торговли необходима хитрость, т. е. умение прикладывать мелкие средства к достижению мелких целей. Для войны не требуется никаких знаний, а при торговле принимаются в расчёт только такие знания, которые легко усваиваются дикарем и не нуждаются в иссле-

довании, в анализирующем труде мысли. Торговцу надо помнить дороги и подводные камни, надо применяться к обычаям иностранцев и знать по нескольку слов из их языков, надо соображать, куда везти купленный товар и что брать за него в обмен. Все эти сведения, при ограниченном объёме торговых операций, приобретаются очень легко, путём простого навыка, без содействия тех сложных процессов мысли, к которым неспособен мозг первобытного человека.

## XVI

Могущество торговца и его господство над первобытным обществом основаны преимущественно на том обстоятельстве, что он один владеет перевозочными средствами. Когда число людей увеличивается и население становится гуще, тогда власти торгового сословия наносится первый значительный удар; между деревнями, mestечками и городами проводятся дороги, которые дают каждому из жителей возможность нести и везти свои продукты на различные рынки. Когда не было дорог, тогда каждый производитель поневоле принуждён был продавать свои произведения на месте странствующему купцу, у которого были лодки и корабли для речной и морской перевозки или верблюды, волы, ослы и мулы для перевозки через горы, луговые степи и песчаные пустыни. Чем лучше становятся дороги, тем доступнее делается перевозка каждому из производителей; шоссейные дороги покрываются целыми обозами сельских продуктов, а когда шоссе в свою очередь сменяется железою дорогой, тогда длинные ряды вагонов почти совершенно уничтожают расстояние между производителем и потребителем, так что купец, назначавший в былое время свои цены с диктаторским самовластием, превращается теперь в скромного комиссionера, получающего за свой труд определённый процент. Во время владычества купца, при отсутствии путей сообщения, значительное количество человеческого труда тратилось на перемещение продуктов. Целые легионы разных погонщиков и ямщиков проводили всю свою жизнь в странствовании по горам и пустыням; к этому же классу людей следует отнести лодочников, бурлаков и матросов; все они не производили ни одного зерна, и пропитание их целиком ложилось на земледельцев.

Всякое улучшение дорог клонится к уменьшению этой непроизводительной траты труда: на шоссе тройка лошадей может свезти тот груз, который на простой дороге свезут пять лошадей; следовательно, как количество лошадей, так

и количество людей, трудящихся при перевозке, уменьшается почти на половину при переходе с простой дороги на шоссе. Паровозы сгоняют с дороги всех лошадей и почти всех людей; так точно поступают речные пароходы с бурлаками и морские пароходы с матросами купеческих судов; в экономии оказывается огромная масса лошадиного и человеческого труда, и эта экономия на первый раз производит тягостный застой рабочей силы, потому что люди, привыкшие к известному роду занятий, не знают, куда пристроить себя; но застой этот не может быть продолжителен, потому что никогда и нигде ещё земледелие не доходило до такой степени совершенства, при которой приложение новых рабочих сил к земле было бы делом излишним. Мы теперь даже не знаем, может ли быть достигнуто такое положение; вероятнее то, что производительные силы земли могут увеличиваться безгранично и что каждое новое приложение труда к обработке земли будет всегда вознаграждаться соответственным приращением продукта. Если даже производительные силы земли имеют пределы, то пределы эти далеко не достигнуты, и для нас, с ближайшим нашим потомством, недостижимы; следовательно, во всяком случае экономия труда по теории должна быть признана выгодной; если же мы видим иногда в истории и в жизни, что устранение людей от производительных занятий ведёт за собой множество индивидуальных страданий, то мы должны искать причины этих страданий не в развитии путей сообщения, а в тех обстоятельствах, которые предшествовали этому развитию.

Преобладание военного и торгового элемента всегда и везде мешает разнообразию занятий, затрудняет сношение и сближение между людьми, делает невозможными прямой обмен продуктов и быстрое обращение мыслей и, таким образом, удерживает массы на самом низком уровне промышленного и умственного развития. Каждая отдельная личность в этой массе порабощена, затёрта произволом и задавлена утомительным однообразием неблагодарного труда. Такая личность не знает ни своих сил и способностей, ни тех отраслей деятельности, к которым могут быть применены эти способности. Для такой личности каждая важная перемена, даже самая благодетельная, составляет истинное несчастье, потому что застаёт её всегда врасплох и всегда повергает её в безвыходное недоумение. Приложение рабочим силам всегда найдётся, но чтобы искать, необходима сметливость и предприимчивость, а эти свойства не существуют, потому что они систематически истреблялись всей совокупностью обстоятельств, развившихся из элемента при-

своения в далёком историческом и доисторическом прошедшем. Само собою разумеется, что эта совокупность неблагоприятных обстоятельств не могла произойти от развития путей сообщения, которое, напротив того, составляет первый шаг к освобождению человеческой личности и к возвышению благосостояния трудящихся масс. Сначала пути сообщения облегчают перевозку, но потом они мало-помалу избавляют производителя от необходимости перевозить продукты.

Эта последняя мысль может показаться парадоксальной, но не трудно убедиться в том, что она не заключает в себе ни малейшей натяжки. Всякое усовершенствование в путях сообщения передаёт, как мы видели, в руки производителей часть барышей, достававшихся прежде посредникам, т. е. торговому классу. Когда купец становился богатым, то он употреблял своё богатство или на расширение торговых операций, или на удовлетворение тем прихотям, которые естественным образом возникают у обеспеченного человека. В первом случае господство купца над производителями, потребителями и мелкими торговцами становилось тем неотразимее, чем большее количество капитала пускалось в обращение. В увеличении этого господства не было, конечно, ничего утешительного ни для целого общества, ни для трудающейся массы. Во втором случае купец тратил своё богатство в больших торговых и промышленных центрах страны; через это увеличивалась притягательная сила этих центров, которые и без того высасывали из провинций лучшие соки их продуктов; кроме того, такая трата богатства поощряла производство предметов роскоши, а это производство несомненно и вредно в том обществе, в котором большинство членов нуждаются в самом необходимом. Положение дел совершенно изменяется, когда огромный барыш купца разделяется между производителями так, что каждый из них получает небольшой излишек. Этот излишек тратится непременно или на то, что необходимо для личного потребления, или на улучшение орудий производства.

У нас есть в обществе недоверчивые читатели, которые, считая себя практическими людьми, немедленно поразят мою аргументацию словами: «Мужик пропьёт! Чем больше получит, тем больше в кабаке оставит!» Как ни сильно звучит в этих словах практическая нота, тем не менее приходится признать возражение недоверчивых читателей совершенно неосновательным. И статистические таблицы, и наблюдения всевозможных путешественников, и доклады разных специальных комиссий доказывают самым положитель-

ным образом, что пьянство и всякое безобразие развивается всего сильнее в бедных странах и в беднейших классах. Люди пьют с голода, что имеет и физиологическое и экономическое основание. Чарка водки дешевле хорошего куска мяса, а между тем алкоголь уменьшает количество выдыхаемой углекислоты и, замедляя, таким образом, перегорание органических тканей, даёт работнику возможность поддерживать свои силы меньшим количеством пищи.

Устранив таким образом возражение отечественных практиков, производящих свои глубокомысленные наблюдения на пространстве десяти квадратных вёрст, я повторяю, что излишок, достающийся производителям, будет истрачен ими или на пищу, платье и жилище, или на рабочие инструменты. В том и в другом случае общество получает прямую выгоду. Когда производитель сыт, одет и живёт в сухом, тёплом и светлом помещении, тогда он работает больше, охотнее и успешнее. Здоровье его улучшается, средняя продолжительность жизни увеличивается, способность размножения становится сильнее, и общество растёт и богатеет; вместе с многолюдством является разнообразие занятий, развивающее предпримчивость и изобретательность; движение идей усиливается вместе с обменом продуктов, и общество во всех своих слоях с каждым годом становится богаче, деятельнее и счастливее. То же самое происходит в том случае, когда производитель затрачивает свой излишек на улучшение орудий, потому что за улучшением орудий, конечно, следует приращение продукта, которое ведёт за собой новое улучшение и, таким образом, подаёт сигнал к постоянно ускоряющемуся движению вперёд. Движение это совершается тем скорее, чем меньше труда и времени тратится на перевозку, а я сказал уже выше, что улучшение путей сообщения не только облегчает перевозку, но даже постепенно устраниет её необходимость.

Вот как это делается: когда производители увеличивают количество своих закупок и заказов, то такое увеличение очень скоро замечается фабрикантами и ремесленниками; производителей так много, что если каждый из них прибавит только по пяти копеек к своим ежемесячным расходам, то эта прибавка составит уже заметный расчёт для их поставщиков. Поставщик, постоянно получающий много заказов из одного места, постарается, конечно, приблизиться к этому месту, рассчитывая совершенно основательно, что заказов будет тем больше, чем меньше будут препятствия, заключающиеся в расстоянии и в перевозке. Когда к кузнецу, живущему в городе, постоянно приводят для ковки по деся-

ти лошадей в день из большого села, лежащего вёрст за пятнадцать от городской заставы, то кузнец может совершенно основательно предположить, что в этом селе куют лошадей только те мужики, у которых есть надобность побывать в городе; кто победнее, кто бережёт каждый час времени, тот оставит свою лошадь некованной, а между тем и этот мужик подковал бы свою лошадь, если бы кузнец жил в селе; далее, кузнец соображает, что у него в городе много конкурентов и что городской работы на всех нехватает; тогда он переселяется на лоно сельской природы, к великому удовольствию мужиков и к великой пользе всех лошадиных ног. Так точно рассуждает и поступает плотник, которого часто требуют с топором в село для сооружения изб, амбаров, скотных дворов и всяких других хозяйственных построек. Пока мужики ходили в лаптях, сапожнику нечего было делать в селе, и те богатые крестьяне, которые могли позволять себе эту роскошь, принуждены были покупать сапоги в городе; когда выгодный сбыт сельских продуктов помимо благодетельных купцов дал возможность всем мужикам обуваться по-человечески, тогда в селе появился свой сапожник. Чем богаче становятся крестьяне, тем больше заводится в их селе ремесленных и торговых заведений; образуется местный центр, удовлетворяющий всем потребностям местных жителей; крестьянин кормит ремесленника и сбывает таким образом свой хлеб, а ремесленник одевает и обувает крестьянина и сбывает таким образом свой труд. Сырые продукты, получающиеся на месте, тут же, на месте, перерабатываются, потребляются и возвращаются земле в виде разнообразного удобрения. Крестьянину незачем ехать в город ни для продажи, ни для покупки; стало быть, его производство увеличивается всем тем количеством труда и времени, которое прежде тратилось на разъезды. Но если мы припомним первоначальную причину этого сбережения, то мы увидим, что она заключается в том улучшении путей сообщения, которое избавило крестьянина от тиранической власти купца и увеличило заработок первого, уменьшив хищные барышни последнего.

## XVII

Пути сообщения приносят обществу значительнейшую долю пользы в том случае, когда они содействуют образованию и развитию мелких местных центров; эти местные

центры противодействуют притягательной силе больших центров и распространяют во всей стране то разнообразие занятий, которое прежде сосредоточивалось исключительно в главных городах. Чтобы достигнуть этой цели, пути сообщения должны быть пролагаемы и улучшаемы именно так и именно там, где и как того требуют выгоды производителей и потребителей. Надобно, чтобы производитель прямо с своего поля или гумна мог везти хлеб на ближайший рынок по такой дороге, на которой по крайней мере не вязли бы по ступицу колёса телеги и не надрывались бы животы лошадей; необходимо, следовательно, чтобы пути сообщения устраивались и улучшались прежде всего между отдельными деревнями и между деревнею и ближайшим городом; необходимо, чтобы облегчалась та часть перевозки, которая падает прямо на одного производителя.

Большая часть экономистов рассуждает иначе. Они очень мало заботятся о движении продуктов и о разнообразии занятий в самом обществе; всё внимание их устремлено на торговлю общества с другими обществами; сравнительное богатство различных государств определяется, по их мнению, теми количествами продуктов, которые вывозятся за границу или ввозятся из-за границы; чем сильнее вывоз перевешивает ввоз, тем радостнее бываются патриотические сердца экономистов. Рассуждая таким образом и питая самую нежную привязанность к барышам купца, эти мыслители заботятся исключительно о таких путях сообщения, которые связывают между собою большие центры, или о таких, которые соединяют большой центр с приморским пунктом, отпускающим продукт за границу. Эти пути приносят самую существенную выгоду торговцам и не доставляют никакой выгоды производителям; продукт, свезённый в один из центров, сосредоточился уже в руках купцов; следовательно, перевозка этого продукта в другой центр или в приморский пункт составляет заботу торговцев, и облегчение этой перевозки ведёт за собою только увеличение купеческих барышей и расширение торговых операций.

В это самое время производители, которым приходится везти продукт из своих деревень в ближайшие города, за пятьдесят или шестьдесят вёрст, попрежнему калечат своих лошадей и ломают свои телеги, так что тяжёлая часть перевозки попрежнему лежит на производителях, между тем как она снята с торговцев. Ну, конечно, экономисты, принадлежащие, повидимому, к той школе эстетиков, которая признавала только высокое и прекрасное, не снисходят до рассмотрения низких предметов серой производительской

жизни. Статистика не отмечает числа испорченных мужицких лошадей и поломанных колёс, и поэтому экономисты сожалеют только о тех возвышенных трудностях, с которыми приходится бороться купеческим капиталам, обращённым на заграничную торговлю; а между тем недурно было бы помнить, что благосостояние всего общества зависит гораздо больше от числа сытых людей и здоровых лошадей, работающих в поле, чем от числа рублей, долларов или фунтов стерлингов, составляющих годовой барыш того или другого первоклассного негоцианта. Поэтому экономистам и всем другим людям, болеющим душою об общественном благе, вовсе не мешало бы от времени до времени переносить своё просвещённое внимание с великих и прекрасных линий железных дорог на низкие и пошлые предметы, называющиеся в просторечии грязными посёлками. В них-то именно и заключается вся сила путей сообщения, та сила, по крайней мере, которая может накормить и одеть мужика, научить его уму-разуму и сделать его зажиточным и полезным человеком.

Дороги, реки и каналы страны могут быть названы кровеносными сосудами, в которых обращаются питательные соки общественного организма; все люди, правильно понимающие действительные интересы общества, должны желать, чтобы эти питательные соки обращались как можно равномернее и быстрее, чтобы они не застаивались ни в каком месте кровеносной системы, чтобы нигде не происходило приливов и чтобы ни одна часть страны не страдала малокровием. Любители общественного блага, заграничной торговли и купеческих барышей находят, напротив того, что о быстроте и равномерности внутреннего обращения заботиться не стоит. Они полагают, что счастье страны будет совершенно обеспечено, если окажется возможность вскрыть одну из больших артерий и затем постоянно отсылать за море бочки вытекающей крови. Чем больше можно будет отослать этой крови и чем быстрее она будет притягиваться к ране и вытекать наружу, тем богаче и могущественнее будет становиться весь организм общества. Это сравнение употреблено здесь вовсе не для красоты слога. Не трудно будет доказать, что оно буквально верно. Панегиристы заграничной торговли советуют тем странам, в которых мало развита мануфактурная деятельность, вывозить сырье продукты и обменивать их на иностранные сукна, шёлковые и бумажные материи, стальные орудия и всякие другие фабричные произведения. Так делается теперь во многих странах, но панегиристы доказывают, что так и всегда должно делаться,

потому что некоторые государства должны быть чисто земледельческими, а другие — промышленными; затем дело считается решённым в теории, и все усилия направляются к тому, чтобы на практике усилить вывоз сырых произведений из тех стран, которым велено быть чисто земледельческими.

Но тут представляется маленькое затруднение. Земля рождает хорошо в продолжение нескольких лет, а потом становится скопою, и чем дальше, тем хуже, так что даже оставление земли под паром не поправляет дела. Тогда истощённый участок покидается, и вместо него разрабатывается полоса новой земли; это разрабатывание сопряжено со значительными трудностями и только на ограниченный промежуток времени поправляет положение земледельца, потому что новая земля также истощается и начинает отказывать в урожаях. Снова является необходимость распахивать новь, и так продолжается до тех пор, пока не окажется, что вся земля выпахана и истощена. А потом? Потом человеку приходится бежать куда-нибудь вдаль, искать опять новых земель, как бегут американские земледельцы на запад с таких земель, которые только пятьдесят лет тому назад были заселены. Но ведь и запад не бесконечен; придётся когда-нибудь добежать до Великого океана и повернуть назад, на опустошённую глушь, поросшую бурьяном и сорными травами. Вывозить сырой продукт — всё равно, что срезывать верхние слои земли и отправлять их за море; срезавши несколько слоёв, человек находит, что больше нечего резать, потому что он дошёл уже до того грунта, который не даёт ему пищи и, следовательно, для продажи за границу также не годится. Нельзя не согласиться с тем, что такой образ действий в народном хозяйстве совершенно соответствует вытягиванию крови из животного организма. Всякому деревенскому свинопасу известно, что земля рождает хлеб хорошо тогда, когда её удобряют; а удобрение есть тот же сырой продукт, прошедший через желудки людей и животных и возвращающийся в землю. Если продукт отправить за границу, то с удобрением приходится проститься. Те хозяева, которые держат скот для удобрения и в то же время отправляют целые обозы зернового хлеба на далёкие рынки, утешают себя сладкими, но обманчивыми мечтами. Земля их медленно истощается. Чтобы сохранять и увеличивать свою производительную силу, земля должна получать обратно в виде удобрения весь сырой продукт, снятый с неё при уборке хлеба. Если мы будем давать ей только часть этого продукта, то она будет становиться беднее, хотя, конечно,

не так быстро, как в том случае, когда бы мы не возвращали ей ничего. Цветущее земледелие существует только в тех странах, в которых весь сырой продукт перерабатывается и съедается на месте, а это возможно только в тех частях земли, в которых разнообразие занятий и развитие промышленности позволяют людям сдвигаться в тесные группы и устраивать множество мелких центров. Земледелие идёт хорошо в Англии, ещё лучше в Бельгии и в Северной Германии, т. е. именно в тех странах, в которых все-го сильнее развита мануфактурная деятельность. Земледелие идёт плохо в России, в Турции, в южных штатах Америки, т. е. именно в тех странах, которые обречены учёными людьми на исключительно земледельческую роль.

Из этого следует заключение, что чисто земледельческая страна, с успехом занимающаяся земледелием, есть чистейший миф. Создание этого мифа, стоящего рядом с законами Мальтуса и Рикардо, делает величайшую честь блестящей фантазии учёных изобретателей, но к явлениям и фактам действительности этот миф относится точно так же, как относятся к ним Оберон и Титания<sup>81</sup>. В действительности есть земли, производящие в изобилии хлеб и ткани, сырье продукты и фабричные изделия, и есть другие земли, которые не производят ничего, кроме сырья, но зато и сырья производят мало. На этих последних землях вовсе не лежит какая-нибудь печать отвержения; они могут также завести у себя мануфактуры, оживить своё население разнообразием занятий и устроить множество мелких центров производства и потребления. Когда они сделают это, тогда и сырьё будет рождаться у них в большем количестве, а пока они будут слушать мудрых экономистов и гнаться только за усилением вывоза, до тех пор им придётся только дивиться тому, как это чисто земледельческая страна не может завести у себя порядочного земледелия; чем сильнее и продолжительнее будет упорство в этом направлении, тем полнее будет истощение земли и тем ужаснее будут нищета, невежество и порабощение жителей.

Из всего, что было говорено выше, следует, что пути сообщения полезны тогда, когда пробуждают местную жизнь и содействуют образованию мелких центров. Но путями сообщения может овладеть торговый элемент или какая-нибудь другая сила, развивающаяся из того же общего начала присвоения,— и тогда пути сообщения, проложенные не там, где следует, могут только ускорить движение общества к истощению земли, к подавлению всякой внутренней промышленности и к порабощению жителей, обречённых на веч-

ное однообразие труда и на безвыходную зависимость от наглого произвола торговцев и от беспрерывных колебаний цен на далёких рынках.

## XVIII

Чтобы передвигать или перевозить с места на место сырой материал, человеку надо знать только величину и вес его, т. е. такие свойства, которые определяются простым свидетельством чувств. Чтобы производить в этом материале механические или химические изменения, необходимо иметь более подробные и специальные сведения о свойствах материи. Поэтому умение перерабатывать сырой материал развивается в человеческих обществах уже тогда, когда существуют перевозочные средства и пути сообщения. В самом грубом быте дикарей проявляется уже способность изменять форму материи, но эти зародыши ремесленной деятельности относятся к высшим видам развитой промышленности точно так же, как начатки варварского земледелия относятся к подвигам научной агрономии. Дикарь умеет добыть себе огня трением двух кусков дерева; он умеет изжарить кусок мяса или сварить пойманную рыбу; он умеет превратить палку в лук и заострить оконечность твёрдого кремня; но все эти операции скользят по поверхности материи, производят в ней незначительные изменения и доставляют дикарю очень ограниченную власть над окружающей природой. Дикарь убивает зверя тяжёлым камнем, но он не знает, что в этом самом камне заключается железная руда и что из этой руды можно сделать топор, которым очень удобно будет убивать зверей и рубить деревья. Поваливши зверя, дикарь сдирает с него шкуру и набрасывает её себе на плечи, но он опять-таки не знает, что шерсть, покрывающая шкуру, может быть переработана в такую материю, которая гораздо удобнее самой шкуры может служить одеждой. Кроме того, дикарь не знает, что шкуру можно выделать и превратить в кожу, которая доставит очень удобную обувь.

Таким образом, звериная кожа, способная дать дикарю суконный плащ и сапоги, даёт ему только какую-то неуклюжую и неудобную накидку. Силы природы остаются под спудом, потому что у дикаря нет тех сведений о свойствах материи, которые необходимы для того, чтобы вызвать эти силы к целесообразной деятельности. Те немногие и незначительные изменения, которым дикарь умеет подвергать сырой материал, требуют от дикаря больших усилий и дают

сму ничтожные результаты; много времени и труда уходит на перемещение материи и также много на перемену формы, так что на самое важное дело человека, на обрабатывание и улучшение земли, единственного источника всякого богатства, дикарь может употреблять очень мало времени и физических усилий.

Улучшение перевозочных средств уменьшает трудности передвижения, а улучшение механических и химических процессов производства точно так же уменьшает трудности превращения. Вся масса сберегаемой силы должна тогда обращаться на землю, и это увеличение в средствах обработки должно вести за собою соответствующее превращение в количестве сырого продукта. На мельнице вода, ветер или пар превращают зерно в муку и выполняют, таким образом, ту работу, которую прежде должны были совершать тысячи человеческих рук или сотни лошадиных сил; в это время освобождённые люди и лошади могут прилагать свой труд более производительным образом, увеличивая количество того зерна, которое должно быть превращаемо в муку. Приложение паровой силы к прядильной машине и к усовершенствованному ткацкому станку даёт возможность шести женщинам превращать в ткань такое количество шерсти, которое сто лет тому назад, в тот же промежуток времени, требовало для своей переработки усиленного труда нескольких сот мужчин; эти освободившиеся работники могут посвятить свои силы тщательному уходу за скотом, могут улучшить породу овец обильным и отборным кормом и могут, таким образом, значительно увеличить то количество шерсти, которое должно быть превращаемо в ткань.

Усовершенствование механических и химических процессов, сберегающее ту рабочую силу, которая должна быть употребляться на переработку материала, ведёт за собою, кроме того, сбережение в той массе сил, которая тратилась на перемещение. Положим, что страна производит хлеб и железную руду; если она будет отправлять за границу то и другое, то на перевозку этого сырья потребуется много повозок, вагонов или кораблей, потому что хлеб и руда занимают много места и представляют сравнительно с своей ценностью очень громоздкий и тяжёлый груз. Но если хлебом кормить дома работников, которые будут превращать руду в полосовое или листовое железо, то этот новый продукт может быть отправлен на меньшем количестве повозок, между тем как ценность его будет соответствовать ценности руды, сложенной с ценностью съеденного хлеба. Если листовое и полосовое железо будет превращено внутри страны в

стальные ножи, то ценность этих ножей будет также соответствовать ценности употреблённого железа, сложенной с ценностью того хлеба, который съедят новые работники; а для перевозки ножей потребуется ещё меньше повозок, чем сколько требовалось для перевозки листового и полосового железа.

Если мы подумаем теперь, сколько повозок надо было бы употребить для вывоза железной руды и всего хлеба, съеденного всеми работниками, и если мы сравним это количество с тем, которое потребуется для вывоза ножей, сделанных из той же массы руды, то мы увидим, что первое количество по крайней мере в двадцать раз больше второго. Это докажет нам, что всякая переработка сырого продукта на месте сберегает огромную массу сил, которые иначе пришлось бы издержать на перевозку. Руда и хлеб комбинируются между собою и сжимаются в форму ножей, которые можно везти на край света. Точно так же шерсть и хлеб сжимаются в форму сукна, хлопок и хлеб — в форму кисеи, лён и хлеб — в форму полотна или кружева, и при всех этих операциях постоянно сберегается значительное количество перевозочной силы; а так как всякая трата труда на перевозку сама по себе непроизводительна, то всякое сбережение в этом деле приносит обществу чистую выгоду.

Эти соображения составляют также довольно увесистый аргумент против мечтателей, превозносящих вывоз сырья и прелести исключительного земледелия. В Великобритании все паровые машины, вместе взятые, заменяют собою ручной труд пестисот миллионов людей, и большая часть этих машин употребляется на сжимание хлеба и шерсти в сукно, хлеба и хлопка в разные ткани, хлеба, угля и руды в стальные орудия; можно себе представить, сколько человеческой силы сберегается для земледелия и для изучения свойств природы; если далеко не вся масса сбережённой силы употребляется производительно, то в этом виноваты уродливые условия английского землевладения и распределения имущества, т. е. такие обстоятельства, которые завещаны настоящей эпохе теми мрачными временами, когда элемент призыва не встречал себе никакой задерживающей плотины.

## XIX

Чем сильнее развивается в каком-нибудь обществе способность перерабатывать сырой материал на месте, тем большее количество даров природы находит себе полезное упот-

ребление. Одинокий поселенец всегда беден и, кроме того, по необходимости расточителен. Чтобы расчистить себе несколько акров или десятин земли, он часто сжигает сотни деревьев; этот обычай до сих пор существует в наших северных губерниях и в американских поселениях на Далёком Западе; зола сожжённых деревьев идёт на удобрение земли, между тем как в заселённой и промышленной земле все составные части дерева нашли бы себе полезное приложение: ствол превратился бы в доски, кора пошла бы на дубление кожи, и даже тонкие ветки нашли бы себе душеспасительное педагогическое применение. В бедном поселении изношенные тряпки выбрасываются, а в промышленном городе они идут на выделку бумаги; гвозди, выскаивающие на улицах из подков лошадей, превращаются в ружейные стволы; медные опилки употребляются на приготовление краски, обрезки кожи — на производство клея, кости мёртвых животных — на очистку сахара; из уличных нечистот добывается аммониак, составляющий одну из составных частей нашатырного спирта. Словом, в больших и промышленных городах не теряется почти ни одна частица материи; здесь деятельность и изобретательность людей повторяют в меньших размерах то вечное круговращение вещества, которое составляет собою жизнь природы. Разнообразие занятий даёт возможность каждому отдельному человеку проявить свои индивидуальные способности в соответствующей им форме деятельности, и это же самое разнообразие занятий позволяет одной отрасли промышленности извлекать пользу из тех, повидимому, негодных остатков и обрезков, которые выбрасываются ремесленниками другой отрасли. Таким образом, сильно развитое уменье производить механические и химические изменения в форме вещества распределяет самым выгодным образом как человеческие силы, так и частицы сырого материала.

Те земли, в которых мануфактурная промышленность доведена до высокой степени совершенства, несут, конечно, свою долю страданий, произведённых элементом присвоения, но положение этих земель по всей справедливости может быть названо счастливым, если мы сравним его с участью тех стран, в которых свирепствует исключительное земледелие. Как ни тяжела жизнь английского или бельгийского пролетария, она всё-таки показалась бы лёгкою негру, работающему на сахарных плантациях Ямайки или разводящему хлопок в Каролине. В чисто земледельческих южных штатах силы человека тратятся самым нерасчётыливым образом, и рабство держится в них именно потому, что отсутствие разнообразия в занятиях лишает работника всякой возмож-

ности применять к производству силы своего мозга. Человек делает то, что мог бы делать вол, но так как самый глупый человек умнее самого умного вола и так как самый сильный человек слабее самого слабого вола, то, очевидно, заменять рабочий скот людьми чрезвычайно невыгодно, потому что значительнейшая доля человеческой силы (мозг) остаётся незанятою и теряется даром, между тем как призываются к деятельности та часть человеческого организма (мускулы), которая в человеке слабее, чем в каждом из выочных животных. Плантатор, распоряжающийся таким образом с своими неграми, похож на охотника, который лягавую собаку пустил бы в погоню за зайцем, а борзую заставил бы отыскивать дичь. Было бы неосновательно думать, что плантаторы чувствуют особенную нежность к рабству и к такой методе земледелия, которая истощает почву; они сами попали в заколдованный круг; тираническое господство английской торговли поддерживало у них исключительное земледелие; исключительное земледелие, как и всякое однообразие занятий, мешало ассоциации человеческих сил и тесному группированию населения; разбросанность населения не позволяла людям побеждать те препятствия, которые встречают земледельца на богатой почве долин и речных берегов; необходимость ограничиваться обработкой тощей земли холмов поддерживала бедность; бедность мешала усовершенствованию орудий; плохие орудия укрепляли рутину земледельческих приёмов; рутинные приёмы вели к отупению работника; тупой работник мог очень легко быть заменён рабом, а когда рабство пустило свои корни, тогда потерялась всякая возможность освободиться от торгового ига Англии и завести свои мануфактуры. Вызванное к жизни бедностью и рутиной, рабство в свою очередь сделалось самым твёрдым оплотом рутины и бедности; заколдованный круг оказался, таким образом, замкнутым, и он может быть разбит только таким событием, которое, как теперешняя американская война, не зависит ни от плантаторов, ни от их негров, ни от торговых оптиматов Англии.

Где нерасчётиво тратится высший вид материи, заключающийся в человеческих силах, там тратится так же нерасчётиво низший вид материи, состоящий в разнообразных сырых продуктах почвы. Во всех исключительно земледельческих странах природа каждый год формирует и каждый год разрушает огромное количество такого материала, который при надлежащей обработке мог бы доставить человеку множество разнородных удобств жизни. В южных штатах стебли хлопчатника сжигаются на плантациях, между тем

как в них заключаются превосходные волокна, из которых можно было бы сработать отличные ткани. Семена этого растения могли бы дать большое количество масла, но об нём никто не заботится. Бананы кроме плодов могут давать с каждого акра от девяти до двенадцати тысяч фунтов волокна, которое годится на всякое производство, начиная от выделки канатов и кончая фабрикацией тончайшей кисеи; и никто этим не пользуется в такой стране, в которой рабочий класс ходит почти в первобытной наготе. Почва плантаций истощается до последних пределов тупым упорством распорядителей, добывающих постоянно один и тот же продукт: хлопок, или сахарный тростник, или рис, или кофе; а в это самое время оставляются без всякого внимания сотни деревьев, кустарников и трав, которые природа производит даром и которые дают или волокна, годные для пряжи, или превосходные красильные вещества. Рутина ничего не видит и портит всё, что попадается ей в руки; а рутина совершенно неизбежна в чисто земледельческих странах, потому что предприимчивость вызывается только разнообразием занятий.

Развитие механических и химических процессов, превращающих сырой материал в предмет, годный для потребления, или в орудие, облегчающее дальнейшее производство, составляет для общества важнейший шаг вперёд — к богатству, к свободе и к мирному наслаждению разумной трудовой жизнью. Человеческая личность развилась всего роскошнее и выбилась из-под средневекового гнёта феодалов всего полнее именно в тех странах, в которых развернулась разнообразная ремесленная деятельность. Эпоха освобождения и возвышения человеческого достоинства совпадает везде с эпохой пробуждения технической изобретательности и предприимчивости. Человек, начинающий чувствовать себя властелином природы, не может оставаться рабом другого человека. Но элемент присвоения, отравивший торговлю и извращающий в свою пользу пути сообщения, не может и в этом случае оставаться в бездействии. Когда сделано какое-нибудь открытие, то близорукие люди стараются прежде всего не о том, чтобы обратить это открытие против инертного сопротивления природы, а о том, чтобы сделать из него оружие против тех людей, которым оно неизвестно или недоступно. Положим, что в одной земле открыта возможность прилагать силу пара к производству тканей; эта земля родит лён; сделанное открытие даст средства производить огромное количество полотна, употребляя на эту работу малое количество труда; стало быть, труд сберегается и мо-

жет быть приложен к дальнейшему усовершенствованию в разведении льна. Кроме того, жители страны становятся богаче, потому что каждый из них вместо одной рубашки может приобрести себе дюжину. Так должно быть, но бывает совсем не так. Люди, разжившиеся торговлей, тотчас заводят себе новые машины, а те люди, которые не могут завести машин, принуждены покупать полотно почти по той цене, по которой оно продавалось до изобретения и применения паровых двигателей. Прежде в стране было множество ткачей, работавших на ручных станках, в свою собственную пользу; теперь обладатели машин совершенно отбивают у них работу; они, обладатели машин, понижают цену полотна как раз настолько, насколько нужно, чтобы убить мелкую промышленность, но совсем не настолько, насколько они без убытка себе могли бы понизить цену вследствие облегчений, произведённых новым открытием.

Таким образом, роковой удар, нанесённый мелким производителям, вовсе не уравновешивается той ничтожной пользой, которую получают потребители. Вся выгода валится в карман посредника, стоящего между производителем, т. е. подёнщиком, работающим на фабрике, и потребителем, т. е. человеком, покупающим полотно. Если бы человеческий труд в данной стране распределялся по различным отраслям производства совершенно расчётливо, так, чтобы не терялись ни время, ни способности работников, тогда, конечно, ткачи, принуждённые оставить свои ручные станки, могли бы тотчас приняться за земледелие и обогатить страну приращением сырого продукта. Но в действительности бывает сплошь и рядом так, что одни работники голодают от недостатка работы, между тем как несколько других отраслей промышленности в той же стране могли бы много выиграть, если бы привлекли к себе большое количество рабочих рук. Ланкаширские работники сидят без дела вследствие недостатка хлопка и терпят крайнюю степень нужды, а между тем земля Англии всё ещё далеко не так хорошо обработана, как того требует современное положение агрономической науки. А происходит такая неурядица оттого, что и мануфактуррист и землевладелец стараются извлечь свои барыши и ренты не из природы, а из тощих кошельков потребителей и из того куска хлеба, который они бросают производителю. Об увеличении количества и об улучшении качества продукта заботятся очень немногие капиталисты, а возвысить цену своих произведений и понизить задельную плату работников стараются все. Но кошельки покупателей могут быть истощены, и желудки работников также только

до известной степени способны переносить лишения; между тем богатство и силы природы совершенно неистощимы. Кто борется с природой, тот обогащает и самого себя и всех окружающих людей; кто обирает людей дозволенными или недозволенными средствами, тот разливает вокруг себя бедность и страдание, которые непременно рано или поздно, тем или другим путём доберутся и до него самого.

Если внутри каждой промышленной страны происходит постоянная борьба между перепутанными интересами различных людей, содействующих производству, то, конечно, та же бесплодная и гибельная борьба, в больших размерах и с большим ожесточением, разыгрывается во всех международных промышленных сношениях. Та страна, в которой открыто средство ткать полотно паровыми машинами, будет употреблять все усилия, чтобы помешать другой стране, производящей шёлк, в применении новых машин к выделке атласа, тафты и других материй. Между тем обеим странам было бы положительно выгодно, если бы в одной производилось как можно больше полотна, а в другой как можно больше шёлковых тканей. Обмен между обеими землями усилился бы, и жители обеих земель могли бы пользоваться в изобилии бельём и шёлковым платьем. Но международной торговлей и фабричной промышленностью управляют не жители, а капиталисты, которые по своему неведению воображают себе, что им нет никакого дела до общего уровня народного благосостояния. Неведение капиталистов внушает им своеобразные расчёты и предвзятые идеи, которым эти джентльмены служат с непоколебимым постоянством и иногда с изумительным самоотвержением. Капиталисты, затратившие свои капиталы на сооружение фабрик, воображают себе, что им необходимо перерабатывать на своих фабриках весь сырой продукт, получающийся с полей, лесов, стад и рудников всего мира. Пусть обитатели всего земного шара занимаются земледелием, скотоводством и добыванием руды; пусть всё это сырьё везут к нам, в наш маленький уголок; за всё это мы сами будем давать такую цену, какую захотим; потом мы сами всё это переработаем на наших фабриках нашими неизмеримо могущественными машинами, и, наконец, пусть обитатели всего земного шара покупают у нас всё, что им нужно для одежды, всё, что им нужно для украшения и комфорта, всё, что им нужно для работы, начиная от железного гвоздя и кончая паровым локомотивом. Чем меньше будет фабрик и чем больше они будут централизованы, тем бесконтрольнее будет наше господство над миром. Мы всем и всему будем назначать цены; от нас будут

зависеть и плантатор, разводящий хлопок, и работник, занимающийся на нашу фабрику, и всякий человек, желающий купить платье или орудие. Захотим помиловать — помилуем; захотим без хлеба оставить — оставим; всё это будет в наших руках, и власти нашей не будет предела.

Вот чего желают, вот о чём по крайней мере мечтают многие капиталисты; эти золотые грёзы понемногу осуществляются; Англия, классическая страна капитала, действительно держит в крепостной зависимости производителей многих плодородных и обширных земель. Ирландия, Португалия, Турция, Ост-Индия, Вест-Индия, Южные штаты, Бразилия продают ей свои сырье продукты и покупают у неё каждый лоскут материи и каждый обделанный кусок железа по той цене, которую ей заблагорассудится назначить. Внутри самой Англии тысячи рабочих рук находятся в полном распоряжении капиталистов; тысячи желудков, соответствующих этим рукам, ожидают от них манны небесной и по желанию тех же капиталистов могут быть поражены всеми язвами египетскими. Мечта таких капиталистов была бы совершенно осуществлена, и блаженство этих столпов отечества было бы безоблачно, если бы только им удалось подорвать все фабрики, существующие во Франции, в Бельгии, в Германии и в других странах, не пожелавших ограничиваться поставкой сырья в Англию. К этой-то цели и направляются усилия близоруких капиталистов всех наций. Подорвать иностранных соперников и отбить у них выгодный рынок — это считается подвигом просвещённого патриотизма, хотя от этого подвига не выигрывает никто, кроме капиталистов. Они понижают цены на свои произведения, работают себе в убыток, несут огромные потери, а потом, подорвавши иностранную промышленность, опять возвышают цены и с избытком вознаграждают себя за пожертвования, положенные на алтарь отечественной славы. Вся тяжесть этих патриотических операций обрушивается, конечно, на работников, которым никогда не удаётся полакомиться их сладкими последствиями. Когда фабрика работает себе в убыток, тогда хозяин понижает задельную плату, а когда фабрика приносит двойные барыши, тогда хозяин радуется и кладёт деньги в карман.

Вся эта система вечной войны между трудом и капиталом описана очень ярко в следующей речи, произнесённой несколько лет тому назад в Бредфорде, в Йоркшире, по поводу выборов:

«Эта система основана на иностранной конкуренции. Теперь я утверждаю, что принцип «покупай дёшево, про-

давай дорого», сталкиваясь с иностранным соперничеством, ведёт к разорению рабочих и мелких торговцев. Почему? Труд есть творец всякого богатства. Человек должен трудиться, прежде чем будет выращено одно зерно или соткан один ярд материи. Но в этой стране<sup>6</sup> работнику негде работать на себя. Труд отдаётся в наём, труд покупается и продается на рынке; следовательно, так как труд создаёт всякое богатство, то труд должен быть куплен прежде всего. «Покупай дёшево, покупай дёшево!»

Труд куплен на самом дешёвом рынке. Так начинается другая история: «Продавай дорого, продавай дорого!» Продавай — что? Продукт труда. Кому? Иностранцу — ай! и самому работнику. Так как труд не самостоятелен, то работник не принимает участия в выгодах, добытых его же усилиями. Покупай дёшево, продавай дорого! Как вам это нравится? Покупай дёшево, продавай дорого! Покупай труд работника дёшево и продавай этому же самому работнику продукты его же собственного труда дорого. Таким образом, каждая сделка между нанимателем и наёмником оказывается со стороны первого рассчитанным обманом. Труду приходится терпеть постоянную потерю, для того чтобы капитал мог разрастаться от вечного надувательства. Но на этом система не останавливается.

Приходится выдержать иностранное соперничество, т. е., другими словами, мы должны разорить торговлю других стран, как разорили труд нашей собственной страны. Как тут быть? Страна, платящая большие налоги, должна подорвать такую, которая платит малые налоги.

Конкуренция за границей постоянно увеличивается, стало быть, дешевизна должна также увеличиваться. Надо, стало быть, чтобы задельная плата в Англии постоянно понижалась. А как устроить её понижение? Излишком рабочей силы. А чем они производят излишок рабочей силы? Монополией земли, которая гонит на фабрику больше рук, чем сколько их требуется; монополией машин, которые выбрасывают эти руки на улицу; женским трудом, который прогоняет мужчину от станка; детским трудом, который, в свою очередь, прогоняет женщину. Тогда, наступив ногой на всю эту живую кучу излишка, они придавливают её каблуком и кричат: «Голодная смерть! Кто хочет работать? Лучше похлебка, чем совсем ничего!» И измученная толпа жадно хватается за их условия. Такова эта система в отношении к работнику. Но как действует она на вас, избиратели? Какое влияние производит она на домашнюю торговлю, на лавочника, на сбор в пользу бедных и на другие налоги? Каждому возрастанию

конкуренции за границей должно соответствовать увеличение дешевизны дома. Дешевизна труда увеличивается вследствие излишка рабочих рук, а этот излишек получается посредством усиления машин. Я спрашиваю ещё раз: как это действует на вас? Вот этот манчестерский либерал устраивает новую машину и за ненадобностью выбрасывает триста человек из фабрик на улицы. Лавочники! Триста покупателей убавилось. Плательщики! Триста бедных прибыло. Но заметьте! На этом зло не останавливается. Эти триста человек понижают задельную плату тех людей, которые остаются за работою. Хозяин говорит: «Теперь я убавляю вам плату». Люди упираются. Тогда он прибавляет: «Вы видите этих триста человек, которые только что ушли отсюда? Вы можете поменяться с ними местами, если хотите; они прибегут сюда на каких угодно условиях, потому что им приходится голодать». Люди чувствуют это и покоряются. Ах вы, манчестерский либерал! Фарисей из политиков! Эти люди слушают — добрался ли я до вас? Но зло и тут не останавливается. Люди, потерявшие работу, ищут себе занятий в других отраслях промышленности и везде понижают задельную плату своим появлением».

Из приведённого отрывка ясно, что усовершенствования в химических и механических процессах переработки очень часто приносят массе общества значительный вред, потому что эти усовершенствования всегда монополизируются теми самыми людьми, которые конфисковали в свою пользу все удобства и наслаждения жизни. Увеличивая могущество одних и бессилие других, открытия и изобретения увеличивают неравенство и порабощение. Если бы такое положение вещей не носило в самом себе зародыша разрушения, если бы можно было думать, что оно прочно и устойчиво, тогда надо было бы сознаться, что каждое наше открытие, улучшающее оружие монополистов, есть новое бедствие, обрушающееся на нашу породу. Теперь всеми сделанными открытиями пользуется ничтожное меньшинство, но только очень близорукие мыслители могут воображать себе, что так будет всегда. Средневековая теократия упала, феодализм упал, абсолютизм упал; упадёт когда-нибудь и тираническое господство капитала.

## XX

Ремесленники и фабричные работники посредством разных химических и механических процессов изменяют форму того сырого материала, который так или иначе производит

земля. В большей части случаев человек до сих пор делает очень мало для увеличения производительных сил земли. Роль земледельца почти везде ограничивается тем, что он приводит землю в соприкосновение с семенами и потом, через несколько месяцев, берёт себе то, что выросло на ниве. Сколько сырого материала произведёт земля и какого качества будет этот материал — это такие вопросы, на которые земледелец не сумеет дать определённого ответа. Мельник знает, сколько пудов муки выйдет из четверти зернового хлеба, и ткач знает, сколько аршин полотна он может выткать из данного количества пряжи; но земледелец, бросивший свои зёрна в землю, находится скорее в положении игрока, взявшего лотерейный билет, чем в положении ремесленника, способного высчитать будущие результаты своего труда. Что даст земля, что даст погода — это и возьмёт земледелец; успех его труда зависит от стечения многих благоприятных условий; успеху этому могут повредить множество случайных препятствий; зерно, положенное в землю, должно испытать не один видоизменяющий процесс, а целый ряд таких процессов, и этот длинный ряд видоизменений должен тянуться в продолжение нескольких месяцев. Чтобы управлять этими процессами, совершающимися в таинственных лабораториях природы, земледельцу необходимо обладать множеством сложных знаний, а так как до сих пор земледелие повсеместно находится в руках людей очень бедных и совершенно невежественных, то, разумеется, все процессы, относящиеся к созиданию сырых материалов, совершаются как придётся, по воле прихотливой судьбы и коварных стихий.

Земледелие зарождается в самой глубокой древности, в то время, когда фабричной промышленности совершенно не существует; но, зародившись так рано, земледелие останавливается на очень низкой степени развития и начинает совершенствоваться только тогда, когда между людьми существует уже привычка к общественной жизни, значительное разнообразие занятий и деятельное движение идей. Торговля, пути сообщения, многочисленные и разнородные фабрики должны познакомить человека со многими прекрасными результатами разумного труда и ассоциации и со многими печальными явлениями присвоения и раздора, прежде неожели появится мысль о рациональном земледелии. Исцарать землю заступом или плугом и засыпать борозды хлебными зёрнами может всякий дикарь, и мы, действительно, видим, что этими работами занимаются такие люди, которые отличаются от дикарей только платежом денежных или на-

туральных повинностей. Но чтобы довести шансы неурожаев до самой незначительной величины, чтобы обратить азартную игру земледелия в верное ремесло, чтобы развернуть и вызвать к деятельности скрытые силы земли, — человеку необходимо знать особенности различных слоёв земной коры, химические свойства составных частей почвы, условия жизни растительного организма, нравы насекомых, которые могут вредить посеву, признаки, по которым можно судить об атмосферических изменениях, степень зависимости этих изменений от гор, рек, лесов и других особенностей местоположения, степень влияния этих изменений на посевы и множество других одинаково важных подробностей. Физика, химия, геогнозия, метеорология, энтомология, физиология животного и растения находят себе непосредственное приложение к земледелию; большая часть этих наук возникла очень недавно; обе их стороны, теоретическая и прикладная, разработаны ещё очень неудовлетворительно; круг распространения знаний вообще и естественных наук в особенности чрезвычайно тесен; истины, открытые в лаборатории, проникают в мастерскую очень медленно и применяются к фабричному производству очень нерешительно; ещё медленнее прорываются они к земледельцу, работающему в поле, и ещё нерешительнее относится к ним практика сельского хозяйства.

В последнем случае медленность и нерешительность доходят до таких крайних пределов, что рациональная агрономия в передовых странах Европы представляется до сих пор чем то вроде затейливого эксперимента, не успевшего упрочить себе никакого значения в промышленной практике. Английские экономисты, например Мак-Куллох<sup>82</sup>, утверждают до сих пор, что выгоднее заниматься мануфактурным производством, чем земледелием, на том основании, что «нет пределов дарам природы в мануфактурных изделиях; напротив того, есть пределы, и не слишком отдалённые, её дарам в земледелии». Эта чрезвычайно странная мысль подкрепляется следующим рассуждением: «Самый огромный капитал может быть истрачен на сооружение паровых машин, и когда число их будет увеличено безгранично, то последняя машина будет так же сильна, как первая, и будет производить столько же продуктов и сберегать столько же работы. В отношении к земле вопрос становится совершенно иначе. Земли первого сорта оказываются быстро истощёнными, и если мы будем прилагать безграничные массы капитала даже к лучшим землям, то непременно будем получать с капитала постоянно уменьшающееся количество процентов» (Mac Culloch, Principles of Political Economy, p. 166).

Я привёл эти умозрения не для того, чтобы их опровергать: они уже, вероятно, опровергнуты в уме читателя тем простым аргументом, что самая отличная паровая машина не может произвести ни одного клочка шерсти или хлопчатой бумаги и что она приносит пользу только тогда, когда есть сырой материал, произведённый землёю посредственно (как шерсть) или непосредственно (как хлопок). Стало быть, если есть известные пределы производительности земли, то на этих же самых пределах должна останавливаться и деятельность машин. Но важно и любопытно заметить, как несокрушимо экономист уверен в том, что производительные силы земли ограничены. Эта уверенность возникает и поддерживается в таких мыслителях совершенно независимо от свидетельств естествознания; она существует даже наперекор этим свидетельствам. Если же целая доктрина, поддерживаемая такими людьми, которых многие считают умными и учёными, может говорить о земледелии и при этом оставлять совершенно в стороне современные попытки и будущие осмысленные надежды национальной агрономии, то это, очевидно, доказывает, что истины, вырабатываемые в лабораториях и кабинетах натуралистов, плохо проникают даже в смежные кабинеты других учёных и в миросозерцание той части общества, у которой есть лоск образования и досуг для размышления. Знания распределяются чрезвычайно неравномерно между различными слоями человеческих обществ; в низшие слои они проникают туго, а оставаясь в верхних слоях, они часто превращаются в красивую игрушку, развлекающую праздный ум, но неспособную помочь какой бы то ни было производительной работе. В одной части общества лежит масса бесполезного знания, а в другой части в это же самое время напрягаются человеческие силы до болезненного истощения — напрягаются в слепом, рутинном и, следовательно, неблагодарном труде. Соедините знание и труд, дайте знание тем людям, которые по необходимости извлекут из него всю заключающуюся в нём практическую пользу, и вы увидите, что богатства страны и народа начнут увеличиваться с невероятной быстротой.

К сожалению, в этой разрозненности труда и знания, проявляющейся в жалком состоянии современного земледелия, нет ничего случайного. Эта разрозненность служит верным симптомом и является неразлучным спутником слабости общественного движения. Где население разбросано по большому пространству земли, где все жители поневоле принуждены добывать себе хлеб первобытными приёмами грубого земледелия, где нет разнообразия занятий, там не может

быть и обмена продуктов, потому что нечего и не на что обменивать; там не может быть и путей сообщения, потому что нечего, некуда и незачем возить; там не может быть и живого обмена идей, потому что идеи такого общества также однообразны, как его материальные продукты; когда исторические события выдвигают среди такого населения на первый план группу предприимчивых и задорных личностей, то этим личностям бывает очень легко справляться с разбросанными, тупыми и невежественными обитателями страны. Эта выдвинувшаяся группа налагает на остальную массу произвольную дань и монополизирует в свою пользу материальные удобства и наслаждения, право носить оружие и любить отечество, право возмущаться оскорблениеми и воспитывать в груди преувеличенное чувство собственного достоинства, право совершать чудеса храбрости и изумлять потомство громом исторических подвигов. С течением времени эти монополизированные права изменяются, добыча, приобретаемая собиранием дани и войною, порождает роскошь и нечувствительно разнеживает непреклонные сердца героев, так что потребности их становятся менее кровожадными и более утонченными; герои начинают наслаждаться произведениями искусств и наполняют свои досуги рассуждениями о высоких и прекрасных предметах; возникает официальная и официозная наука, рождается на свет патентованная поэзия, мир обогащается великодушными меценатами и вдохновенными творцами од, элегий, дифирамбов, картин, статуй, портиков и мавзолеев. Историк с свойственным ему просвещенным и человеколюбивым восторгом повествует о смягчении нравов, о процветании наук и искусств, о приближении золотого века и о том, как роскошно развретываются самые блестящие способности человеческого ума.

По все эти прелести, восхищающие растроганного историка, относятся только к выделившейся группе, которая сначала обладала монополией военной доблести, а потом также исключительно стала пользоваться монополией эстетического развития и умственной деятельности.

Массе непросвещенной черни, грубой толпе тупых и невежественных людей безраздельно предоставлялось воинами, и точно так же предоставляется мыслителями и художниками, полное и неотъемлемое право работать, как прикажут, и платить, сколько потребуют. Выделившаяся группа похожа на маленькую статуэтку, а грубая масса — на огромную глыбу гранита; статуэтка стоит на глыбе; статуэтку обтачивают и шлифуют; ею восхищаются и любуются; она изменяет свой вид, и эти изменения тщательно записываются в большую

книгу, которая называется историей. Ряд этих изменений называется прогрессом и несказанно радует всех людей, одарённых добродушием и человеколюбием; а в это время глыба лежит себе смирно и позволяет себе только обрасти мохом, что также доставляет немалое удовольствие обожателям старины и любителям дикой прелести. Прогресс относится до сих пор к очень незначительной части человечества. Знания и идеи двигались в разных салонах и применялись к тому или к другому ремеслу только тогда, когда такое применение могло быть выгодно для одного из обитателей этих салонов. Фабричная промышленность опирается на физику, химию, механику, но фабричный работник так же мало знает эти науки и так же мало может пользоваться их результатами, как тот клапан паровой машины, который этому работнику приходится постоянно открывать и закрывать. Работник оказывается бессознательным орудием в руках фабриканта, обладающего вещественным и умственным капиталом; работник настолько же заинтересован в общем успехе предприятия, которому он содействует, насколько какой-нибудь наполеоновский солдат, дравшийся при Аустерлице, был заинтересован в династических замыслах своего полководца; предоставленный своим собственным наклонностям, наполеоновский солдат оказался бы человеком самым миролюбивым; выпущенный из-под направляющего контроля фабриканта, работник перестал бы производить предметы роскоши и совершать чудеса современной промышленной техники. Предметы роскоши не нужны покуда ни самому работнику, ни подобным ему людям, а чудеса техники до сих пор ещё слишком превышают общий уровень его умственного развития. Работник есть кусок той *chair à capot*, которая расходуется в промышленной войне, называющейся внутреннею и международною конкуренциею. Ожесточённость этой промышленной войны, приводящей в движение сотни колоссальных машин, тысячи рабочих рук и десятки изобретательных мозгов, вовсе не может служить мерилом благосостояния страны и доказательством развитости её жителей.

Чтобы судить о богатстве и образовании работающих масс, надо наблюдать их тогда, когда они сами задают себе работу и сами, в свою собственную пользу, выполняют заданный себе урок. Масса населения везде занимается земледелием, т. е. непосредственным добыванием пищи, с тех самых пор, как возникли и укрепились привычки оседлой жизни. С успехом земледелия связано теснейшим образом всё материальное и умственное благосостояние трудящейся массы, составляющей лучшую, значительнейшую и необхо-

димейшую часть всякого человеческого общества. Земледелие во всех странах земного шара находится до сих пор в младенческом состоянии; в одном месте оно идёт лучше, в другом хуже, но нигде общий уровень его не может удовлетворить самым снисходительным требованиям агрономической науки; в совершенном соответствии с жалким положением земледелия находится уровень материального довольства и интеллектуального развития масс; где земледелие идёт лучше, там и масса меньше голодает и меньше поражает наблюдателя своим невежеством; где земледелие идёт хуже, там оказывается всё безобразие нищеты и вся грязь невежества и вынужденной порочности. Но так как земледелие везде идёт неудовлетворительно, то и масса везде живёт бедно и мыслит плохо. Мы даже привыкли в этом отношении удовлетворяться малым и обнаруживать, таким образом, в деле меньшей братии похвальную умеренность требований. Мы неприворно восхищаемся, когда читаем в путешествиях или в статистических сочинениях, что в том или в другом государстве большая часть жителей или даже все жители умеют читать и писать. Конечно, это хорошо, но если восхищаться такими вещами и считать их крайней целью грёз и желаний, то это значит ставить развитию масс очень узкие рамки, это значит мириться с той перспективой, что наука, искусство, мысль в самом высоком значении этого слова навсегда будут составлять аристократическую привилегию ничтожного меньшинства. Точно будто масса состоит не из людей, а из оранг-утангов и точно будто бы широкое и полное умственное образование помешает человеку сеять хлеб или ткать холстину.

Соглашаясь таким образом урезать и сузить умственное развитие масс, довольствуясь для них грамотой, главными молитвами и четырьмя правилами арифметики, мы сами обрекаем современные общества на хилость и дряблость и сами роем перед нашей прославленною цивилизацией ту яму, в которую свалились уже в былое время многие цивилизации древнего мира.

## XXI

Все погибшие цивилизации успели выработать себе военное сословие, торговлю, дороги и корабли, науку, искусство и промышленную технику. Вавилония, Персия, Египет, Греция, Рим записали в историю воспоминание о многих победах, открыли несколько торговых путей и оставили отдалён-

иейшему потомству несколько удивительных образчиков зодчества, скульптуры, поэтического творчества или исторического изложения. Но ни одна из этих погибших цивилизаций никогда, в самый цветущий период своего существования, не доходила до рационального земледелия. Можно даже, не боясь ошибиться, утверждать положительно, что если бы та или другая из этих цивилизаций доработалась до рационального земледелия, то эта цивилизация пережила бы все остальные и наверное продолжала бы развиваться и совершенствоваться до наших времён. Внешние проявления тех болезней, от которых погибли древние цивилизации, чрезвычайно различны, но существенный и основной характер этих болезней везде и всегда остаётся неизменным. Везде и всегда цивилизации гибнут оттого, что плоды их растут и зреют для немногих. Немногие наслаждаются, немногие размышляют, немногие задают себе и разрешают общественные вопросы, немногие открывают мировые законы, немногие узнают о существовании этих законов и опять-таки немногие в пользу немногих прилагают к промышленному производству открытия и изобретения, сделанные также немногими, воображавшими себе в простоте души, что они работают для всех. А в это время, в славное время процветания наук и искусств, массы страдают, массы надрывают свои силы, массы своим нелепым трудом истощают землю, массы медленно роют в поле могилы для себя и для своего потомства; и действительно, массы беднеют, тупеют, вымирают, и роскошный цвет древней цивилизации вянет, потому что корень оказывается подгнившим.

Этот бесплодный, поверхностный и недолговечный характер цивилизации выражается в самых разнообразных исторических формах; иногда мы видим его в теократическом господстве жрецов, в другой раз — в завоевательных стремлениях политики, далее — в несоразмерном развитии внешней торговли, потом — в фабричной деятельности, далеко превышающей естественные потребности и даже силы известной страны. Сущность всех этих явлений остаётся тождественною: предрассудки поддерживаются для выгоды немногих; войны ведутся для славы немногих; корабли плавают по морям, а караваны ходят по пустыням для обогащения немногих; фабрики удовлетворяют уточнённым потребностям немногих и выдерживают ожесточённую иностранную конкуренцию, чтобы доставить барыш немногим. Во всех этих случаях рабочие руки отрываются от земли и употребляются на разные хитрые затеи, в то самое время, когда массы нуждаются в простом хлебе, и если не каждый год, то по

крайней мере в два года раз терпят голод и вымирают целыми поселениями. Чем больше разводится хитрых затей и чем хитрее становятся эти затеи немногих, тем хуже обрабатывается земля, тем быстрее истощаются её производительные силы, тем меньше получается сырых продуктов и, следовательно, тем беднее становится общество в целом своим составе. Никакая утончённость барских нравов, никакая выработанность разговорного или книжного языка, никакая философская система, никакая бессмертная поэма, даже никакое естествознание не могут удержать от неминуемого падения такую цивилизацию, которая лежит на плечах беднеющего и тупеющего народа, истощившего свою землю невежественным и нерасчётым трудом. Все цветы погибших цивилизаций росли и распускались в ущерб благосостоянию масс, и поэтому нас не должно удивлять то обстоятельство, что во всех этих цивилизациях упадок с такой ужасающей быстротой следовал именно за эпохой величайшего блеска. Этот блеск сам по себе был сильнейшим выражением общественной болезни, а эпоха упадка была даже сравнительно временем облегчения для масс, потому что этим массам, дошедшем до крайней степени нищеты и бессилия, позволялось тогда по крайней мере сосредоточить своё внимание на устройстве собственных мелких делишек, о которых не заботится политическая история.

Блеск и упадок, цивилизация и варварство, исторический прогресс и исторический застой — все эти слова и понятия совершенно не приложимы к многовековому прозябанию огромного большинства нашей породы, того большинства, от которого безусловно зависит наше существование и которому мы, в награду за пропитание, с такою благосклонною улыбкою бросаем трогательное название наших младших братьев. Эти младшие братья везде и всегда стояли вне истории, по зато отсутствие их везде и всегда налагало печать бесплодия на все цивилизации, сооружавшиеся старшими братьями для собственного обихода. Везде и всегда эти цивилизации оказывались таким пустоцветом, о котором невозможно сказать ни одного доброго слова. Везде и всегда эти цивилизации, подобно роковому камню Сизифа, срывались с самой верхушки горы и скатывались в бездну в ту самую минуту, когда старшие братья считали своё дело почти законченным и собирались праздновать полную победу человека над дикими силами окружающего мира и над противообщественными стремлениями своей собственной породы. Победа никогда не оказывалась полной и прочной, и триумф

всегда приходилось откладывать до другого, более удобного времени.

Разнообразные опыты многих веков говорят, наконец, старшим братьям, что крепка, прочна и богата благодетельными последствиями будет только та цивилизация, которая будет улучшать быт и развивать умственные силы всех людей, составляющих данное общество. Неизбежным спутником такой прочной цивилизации и вернейшим ручательством её живучести будет развитие рационального земледелия, развитие именно той отрасли деятельности, которая была запущена и заброшена всеми исчезнувшими цивилизациями. Рациональное земледелие будет в одно и то же время самым величественным продуктом и самой непоколебимой опорой той бессмертной цивилизации, которой выпадает на долю задача сгладить навсегда позорное различие между старшими и младшими братьями.

Если мы рассмотрим те условия, при которых становится возможным существование и всеобщее распространение рационального земледелия, то мы увидим, что этот род деятельности неразрывно связан с богатством, просвещением и всесторонним благодеянием тех масс, которые до сих пор везде и всегда трудились через силу и, несмотря на то, постоянно оставались впроголодь. Мы уже видели, как много должен знать тот земледелец, который желает заниматься своим делом не как азартной игрой, а как выгодным и верным ремеслом. К этому можно прибавить, что ни одно ремесло не имеет перед собою такой широкой будущности, как земледелие; ни одно ремесло не способно к такому бесконечному совершенствованию, как обработка земли, потому что в основании этой обработки лежит самое разностороннее изучение природы, постоянно обогащающееся новыми фактами, опытами и наблюдениями. Все знания, необходимые земледельцу, лежат в области естественных наук, а всем известно, что естественные науки самым радикальным образом уничтожают предрассудки и очищают засорившиеся мозги. Следовательно, земледелец, сознательно занимающийся своей работой, незаметно и нечувствительно для самого себя выметет из своего домашнего быта и из своего мироозерцания ту безобразную паутину суеверия, которая до сих пор повсеместно застилает младшим братьям свет божий Бэкона, Галилея, Коперника и всех других светил человечества, светящих только для старших братьев.

Но для возвращения рационального земледелия недостаточно одного распространения полезных знаний. Этого мало, если земледелец будет знать, что ему следует делать; необ-

ходимо, кроме того, чтобы он имел возможность действительно выполнять то, что он справедливо считает полезным. Агрономические сведения наших крестьян чрезвычайно скучны, но и эти скучные сведения большую частью составляют мёртвый капитал, потому что они далеко превышают меры практического могущества земледельцев. Крестьяне знают, что землю следует удобривать, и знают, чем её удобривать, но это полезное сведение в большей части случаев остаётся неприменимым. Удобрения взять неоткуда, когда не на что завести и кормить скотину и когда хлеб приходится возить на продажу или даже отправлять за море, бог знает в какую даль. Самый просвещённый агроном ничего не сделает со всеми своими сведениями, когда ему придётся отсыпать сырой продукт за тысячи вёрст и получать за каждые десять пудов хлеба по фунту сукна или по полфунту обделанной стали. Ни сукна, ни стали не положишь в землю, а сырой продукт уехал за море, и заключавшееся в нём удобрение навсегда потеряно для страны. Очевидно, стало быть, что для развития рационального земледелия, кроме распространения между массами полезных сведений, необходимо ещё повсеместное разнообразие занятий и повсеместное же образование мелких центров притяжения, в которых постоянно перерабатывались, потреблялись и превращались бы в удобрение сырые продукты, добываемые из земли окрестными жителями. Близость рынков к месту производства и непосредственное сближение земледельца с ремесленником, производителем с потребителем — ведут за собою, во-первых, возможность возвращать земле взятый от неё сырой продукт в виде удобрения и, во-вторых, возможность разнообразить посевы и уменьшать таким образом количество неблагоприятных шансов, угрожающих успеху земледельческого труда.

Первое следствие приближения рынков понятно и не нуждается в дальнейших объяснениях. Второе следствие этого приближения также объясняется очень легко и просто. Когда рынок далёк, тогда земледелец принуждён возделывать на своих нивах только такие растительные продукты, которые выдерживают далёкую перевозку, следовательно, такие, которые продаются по дорогой цене, не отличаются особенной громоздкостью и могут быть доставлены на далёкий рынок в неиспорченном виде. Земледелец не может отправлять за тысячу вёрст репу или картофель, потому что цена этих громоздких продуктов не окупит их перевозки; точно так же сельский хозяин не может отправлять за тысячу вёрст яйца или свежие ягоды, потому что первые пере-

бываются в дороге, а вторые непременно загниют и испортятся. Всего удачнее выдерживает перевозку зерновой хлеб, да и цену за него дают такую, которая окупает труды земледельца и перевозочные издержки; поэтому для продажи на далёкие рынки производится исключительно зерновой хлеб разных сортов и достоинств. Земля любит перемену; для земли было бы полезно, чтобы за пшеницей следовал, например, картофель, а за картофелем — кормовые травы; земледелец знает это свойство земли, но он опять-таки не может воспользоваться своим знанием: разводить картофель и кормовые травы невозможно, потому что сбывать их вблизи некуда, а везти на далёкий рынок не стоит; не сеять пшеницы также невозможно, потому что если земледелец не доставит на рынок пшеницы, то земледельцу не на что будет купить себе рубашку и кафтан, не на что будет приобрести новый топор или соху. Поневоле, подчиняясь требованиям далёкого рынка, земледелец сознательно истощает свою ниву постоянно повторяющимися посевами пшеницы, ржи и других зерновых хлебов. Он знает, что следовало бы распоряжаться иначе, он и рад был бы вести своё хозяйство разумнее, но это полезное познание добра и зла и эта добродетельная готовность покаяться в сознанных заблуждениях оказываются совершенно бессильными перед неотразимыми требованиями материальной необходимости. Засеяв все свои поля зерновым хлебом, земледелец поставил на одну карту весь свой годовой заработок. Перемена погоды, неблагоприятная для зернового хлеба, разом губит все законные надежды хозяина. Этого не могло бы случиться, если бы рынок находился под рукой. Тогда хозяин добывал бы с своего участка земли, кроме разных сортов хлеба, всякого рода овощи, фрукты и ягоды, кормовые травы, красильные и лекарственные вещества; близость сбыта и беспрерывность запроса возбудили бы в земледельце предпримчивость и изворотливость, смышлённость и старательность, которые совершенно немыслимы и почти бесполезны в человеке, живущем вдали от всякого промышленного движения. Разделивши свою ниву на мелкие участки, возделывая на каждом из них именно то растение, которое соответствует составу и свойствам данного участка, переменяя каждый год назначение этих участков и, сверх всего этого, заваливая каждый участок удобрением, земледелец, живущий возле самого рынка, может, конечно, уменьшить до самой незначительной величины риск, сопряжённый с его занятиями. Та или другая перемена погоды может быть неблагоприятна только для одной какой-нибудь части его буду-

щего дохода; что повредит, например, овощам, то, может быть, принесёт пользу пшенице и не произведёт никакого влияния на фрукты; потерявши на каком-нибудь одном продукте, хозяин будет всегда в состоянии вознаградить свой убыток на другом, и средний уровень его дохода в большей части случаев останется почти неприкосновенным. Конечно, может случиться такая засуха, которая всё зажарит, или такой град, который перепашет заново все поля, но такого рода случайностям подвержено вообще всякое дело рук человеческих: и фабрика может загореться от грозы, и дом может быть разрушен наводнением, землетрясением или ураганом; против таких случайностей есть одно средство — страхование, и это средство, как всякий согласится, находится также всего больше в ходу и прилагается всего чаще там, где существует разнообразие занятий и где совершается деятельное движение продуктов, капиталов и идей.

Мы видим, таким образом, что для развития рационального земледелия необходимы два условия: распространение полезных сведений между массами и разнообразие занятий, неизбежно ведущее за собой образование местных центров производства и притяжения. Должно заметить здесь, что эти два условия всегда бывают неразлучны между собой и, собственно говоря, составляют только две различные стороны того нормального процесса, который порождает рациональное земледелие. Действительно, полезные сведения никакими искусственными мерами не могут быть привиты к жизни такого населения, которое разбросано по большим пространствам земли, непривычно к промышленному сближению и угнетено бедностью и однообразием занятий. Никакие благотворительные попечения мудрых правительств о земледельческих и реальных школах, никакие заохочивания, поощрения и приневоливания к учению не улучшат приёмов земледельческой рутины и не расширят умственного горизонта трудящихся миллионов. Массы воспитываются не школьною указкой, не крупицами, падающими с умственной трапезы пресытившихся старших братьев, а исключительно только правильным, здоровым, и незадержанным развитием общественной и экономической жизни. Когда устраниются препятствия, лежавшие на пути этого развития, когда появляется свобода труда, когда этому свободному труду открываются разнообразные приложения, тогда каждый отдельный кусочек серой массы начинает чувствовать себя человеком и быстро схватывает себе на лету те сведения, которые необходимы ему для жизни. Тогда, и только тогда, становятся действительно полезными и школы, стоявшие прежде

пустыми, и популярные руководства, которые до сего времени никого не могли научить уму-разуму. Не школа преобразовывает жизнь, а напротив того, жизнь создаёт для себя школу и приспособляет её к своим потребностям и стремлениям.

Пробуждение масс, необходимое для вступления людей в истинную цивилизацию, всегда производится только каким-нибудь решительным поворотом в течении общественной и экономической жизни, а не громкими и гуманными кликами старших братьев, подвзывающих на пользу младших в литературе и на различных кафедрах. Каждый поворот, действующий освежительно на жизнь и самосознание масс, обычно заключается в том, что эти массы освобождаются от какой-нибудь стеснительной опеки и полнее прежнего предоставляются естественному ходу собственных инстинктов и стремлений. Чем больше эта тёмная масса, о которой так соболезнуют просвещённые деятели, получает возможность жить собственным дрянным умишком, тем удобнее она устраивает свой быт, тем быстрее она богатеет, тем рациональнее становится её земледелие и тем человечнее делается каждый из её отдельных кусочков. Если бы масса с самого начала истории была предоставлена собственной горькой участи, то рациональное земледелие давно утвердилось бы во всём мире, и мы бы теперь не имели случая восхищаться тем, что в том или другом государстве большая часть жителей умеет читать и писать. Но зато история была бы совершенчно лишена того удивительного драматизма, который придают ей великие подвиги и кровавые перевороты. История была бы утомительно однообразна, как нравоучительная биография добродетельного семьянина. Старшие братья никак не могли допустить подобного оскорблении законов эстетики, и они начали заботиться о массах с той самой минуты, как сознали своё старшинство и вникли в свои обязанности к младшим. Они тотчас начали вовлекать своих не-эстетических братьев в драматические войны, в эпические торговые предприятия и в трагикомические ошибки по части мануфактурной конкуренции. Усилия просвещённых эстетиков увенчались более или менее полным успехом, и совокупность этих успехов составляет канву той весьма изящной драмы, которая называется всемирной историей. Где не мешаются в дело старшие братья — там мир и богатство; где они мешаются — там драматизм и эффектность. Одно другого стоит, но так как старшие братья более или менее везде болели душой об участи младших, то драматизма и эффектности оказывалось и до сих пор оказывается на белом свете

несравненно больше, чем мира и богатства. Рациональное же земледелие до сих пор принадлежит везде к далёкой области мечты и желания. Правильный прогресс прямо ведёт в эту область, но когда начнётся этот прогресс и когда он дойдёт до своих результатов — эти вопросы интересные, но нерешиённые.

## XXII

На всех материках и островах земного шара, за исключением полярных льдов и песчаных пустынь, человек окружён неисчислимыми и бесконечно разнообразными богатствами. Богатства эти заключаются в тех сырых материалах, которые производит земля или которые она может производить при соответственной обработке. Богатства эти нигде и никогда не даются человеку сразу; человек должен трудиться, чтобы овладеть ими; он должен наблюдать и размышлять, чтобы заметить их существование и оценить их значение. Человек начинает свою борьбу с природой там, где природа слаба и бедна и где она вследствие этого скорее и легче уступает его усилиям. Он обращает в свою пользу мягкую медь прежде, чем твёрдое железо; он покоряет слабую овцу и козу прежде, чем сильного быка; он расчищает и засевает тощую почву холмов прежде, чем тучную землю долин и речных берегов. Пока продолжается борьба человека с слабой и бедной природой, пока одерживаются над ней первые победы, покупаемые дорогой ценой и приносящие мало непосредственных выгод, до тех пор человек сам остаётся слабым и бедным. Он слаб и беден, потому что ему помогает малочисленная горсть людей и потому что он сам, со всеми своими помощниками, неопытен и несведущ. Он слаб и беден, но могущество и богатство его постоянно увеличиваются вместе с каждым новым приобретением опыта и вместе с каждым приращением в числе трудящихся людей. Он слаб и беден, но потомки его непременно будут богаты и могущественны, если только они не будут уклоняться в сторону с пути терпеливого труда и внимательного изучения природы.

Всё богатство человека заключается в сырых материалах, добываемых из земли; всё могущество человека заключается в умении перерабатывать и обращать в свою пользу добываемые материалы.

Эта истина поразительна по своей простоте. Эту истину несчётное число раз вчущали людям, под страхом земных и загробных наказаний, все гражданские и нравственные законочоположения, предписывавшие человеку уважать права чужой

личности и чужого труда. Ни простота этой истины, ни авторитет законов и законодателей не могли предупредить или удержать в, должных границах бесчисленные и гибельные уклонения нашей породы с дороги производительного труда, с той единственной дороги, которая могла привести человечество к богатству и к полноте жизненных наслаждений. Бессилие законов объясняется особенно удовлетворительно тем обстоятельством, что большая часть законодателей, толковавших очень красноречиво и убедительно о необходимости уважать чужое право, — сами, своими же законами, так же красноречиво и убедительно освящали важнейшие и вреднейшие уклонения своих сограждан и современников с пути производительного труда, с того единственного пути, который всегда и везде совпадает с требованиями справедливости. Римское право, освящавшее рабство, превращавшее жену в собственность мужа и сына в собственность отца, проводившее строгое различие между римским гражданином и провинциалом, между патрицием и плебеем, между вольным и вольноотпущенными, — римское право, говорю я, конечно, никому не могло внушить достаточного уважения к тем предписаниям, которыми оно старалось обуздить хищные наклонности бедных и буйных граждан. Другие кодексы также не могли претендовать на особенную чистоту и выдержанность основного принципа. Люди обыкновенно издавали кодексы отчасти для того, чтобы дать определённую и прочную форму своим любимым заблуждениям, отчасти для того, чтобы пугнуть себя и своих современников строгими требованиями одностороннего идеала казённой нравственности. Ни та, ни другая цель не достигалась. Любимые заблуждения отживали свой век и разрушались, несмотря на определённость и дрочность приданной им формы, а застёгнутый на все пуговицы идеал никого не запугивал своими требованиями и решительно никого не обращал на путь истины. Ошибались и падали отдельные личности; безвинно, невольно и бессознательно вовлекались в ошибки и доводились до падения целые народы. Отдельные личности быстро расплачивались за свои ошибки и обыкновенно, согласно букве того или другого кодекса, оканчивали своё земное существование в мучениях, делавших большую часть остроумию изобретателей и усердию исполнителей. Невольные ошибки народов, напротив того, не замечались и не считались ошибками. На них не указывал никакой кодекс. Им обыкновенно сочувствовал, их часто вызывал сам законодатель. Ошибки народов воспевались поэтами, превозносились историками и ставились в пример потомству неподкупленными моралистами. Эти ошибки анали-

зировались холодными мыслителями и оказывались великими проявлениями народного гения. На этих ошибках строились и до сих пор строятся целые политические и экономические теории. Когда ряд великих проявлений народного гения вдруг приводил к резкому падению, которое, повидимому, должно было бы окатить бочками холодной воды всех певцов, мечтателей и спокойно упорных теоретиков, — тогда это падение приписывалось посторонним и случайным причинам; песнопения продолжались, тем более что падение давало им новый эффектный мотив; историки попрежнему что-то пре-возносили и что-то анализировали; теоретики торжествовали, потому что всякая теория одарена удивительной гибкостью и растяжимостью; а в это время массы, о которых пелись дифирамбы, писались исследования и сочинялись победоносные теории, массы несли тяжёлое вековое возмездие за ошибки, привитые к их тихой и тёмной жизни посторонними двигателями событий. Массы доходили до дикого состояния, теряли всякую власть над питающими их силами природы и, умирая от лишений, превращали целые области в дикие и печальные пустыни, в которых всё говорило о бывшей деятельности человека, о его предсмертной борьбе и о его страшной кончине. Такими пустынями покрыты все те места, на которых в былое время кипела историческая жизнь и на которых жизнь эта замерла вследствие непроизвольных, но неисправимых ошибок, совершённых целыми народами и истощивших до последней капли их живые силы.

Ошибка этих в большей или меньшей степени не минует в своём существовании ни один народ. Народ, как дерево,растёт и в ствол и в сук; он, как крепкий организм, может уклоняться от строгого гигиенического образа жизни, он может болеть и выздоравливать; он много испытаний может перенести, не надламываясь и не хирея; но чем сильнее сук перевешивает ствол, чем значительнее делаются уклонения от разумной гигиены, чем продолжительнее и чаще болезненные припадки, тем опаснее становится положение колосального пациента и тем ближе надвигается грозная катастрофа.

Богатство и могущество народа, равносильное благосостоянию всех составляющих его единиц, заключается в добывании и целесообразной переработке различных сырых продуктов, доставляемых землёю. Земледелие и мануфактурная промышленность, взаимно поддерживающие друг друга, составляют естественные и необходимые занятия народа, стремящегося к благоденствию. Всё, что отвлекает народ от этих производительных занятий, всё, что нарушает необходимое равновесие между земледелием и мануфактурами, соста-

вляет ошибку и ведёт к бедности. Наука, расширяющая ум человека, и искусство, обновляющее его силы живым наслаждением, не могут быть названы помехами для производительных занятий; но при этом должно заметить, что наука и искусство не имеют ничего общего со многими современными фокусами праздного ума и дряблой фантазии, несмотря на то что фокусы эти стараются прикрыть себя разными почтенными именами. Кроме того, не мешает помнить, что наука и искусство только тогда будут в состоянии жить естественной и здоровой жизнью, когда будут удовлетворяться насущные и грубые потребности человеческих организмов. Музыкальная консерватория — учреждение очень хорошее, но она доставит мало наслаждения такому народу, у которого не хватает хлеба. Учёное путешествие на берега Тигра для чтения гвоздеобразных надписей — дело очень похвальное, но оно произведёт слабое впечатление на чёрствую душу лапотника, не умеющего разбирать печатные буквы собственного языка. Совсем назвать науку и искусство затеями, отклоняющими силы ума от настоящего дела; в отношении к естественным наукам такое суждение было бы совершенно нелепо и несправедливо; но приходится сознаться, что наука и искусство до сих пор оставались совершенно бессильными и не имели никакого влияния на умственное состояние масс. И наука и искусство были, по меньшей мере, красивым анахронизмом. Это — подснежники, распустившиеся задолго до наступления весны: им приходится ёжиться и дрожать от холода или с похвальным благородствием укрываться в теплицы, построенные и протапливаемые трудами масс и называющиеся музеями, академиями, консерваториями и другими именами, которые для масс столько же новы, сколько вразумительны.

Я вовсе не думаю становиться здесь на славянофильскую точку зрения и декламировать о ложности и чужеземности нашей цивилизации. Наша цивилизация ничем не лучше и ничем не хуже всех остальных; наука и искусство везде прозябают в оранжереях, и массы, оплачивающие эти оранжереи, везде интересуются ими так же сильно, как, например, внутренним содержанием египетских пирамид или вопросом о Железной маске<sup>83</sup>. Какое дело английскому фабричному до Британского музея? Что общего у немецкого работника с Мюнхенскою глиптотекой<sup>84</sup>? Какую точку соприкосновения имеет парижский блузник с Французской академией?

Мы уже так присмотрелись к этим академиям, что нам могут даже показаться наивными и странными подобные вопросы, если только они не покажутся нам лукавыми и безнравственными. Впрочем, как ми смешна кружевная заплата

наук и искусств на изорванной сермяге, составляющей драпировку масс, должно, однако, сознаться, что эта резкая несообразность принадлежит к самым невинным уклонениям от правильного и разумного развития народной жизни. С тех пор как солнце светит и весь мир стоит, учёные и художники не погубили ещё собственными силами ни одной цивилизации; справедливость побуждает нас заметить, что они также ни одной цивилизации не поддержали; они только украшали их, подобно тому как мох украшает стволы вековых деревьев; когда дерево падает, мох продолжает украшать его, и украшает его в то самое время, когда оно лежит на земле, гниёт и истачивается муравьями.

Губителями цивилизаций оказываются два класса людей — воины и купцы, вовлекающие народы в две роковые ошибки: систематизированную войну и в изнурительное развитие торгового паразитизма. Я уже упоминал об этих двух видах присвоения, но теперь мы знаем все средства, находящиеся в их распоряжении, и потому можем проследить шаг за шагом их возрастание и усложнение. Война и торговля появляются сначала на свет в самом простом и бедном виде. Первое генеральное сражение производилось, наверное, кулаками за обладание каким-нибудь кокосовым орехом; первая торговая операция, по всей вероятности, клонилась к тому, чтобы выманить этот же кокосовый орех за гнилой банан, которого гнильность утаивалась тщательно, но неискусно; за горячей схваткой могла следовать торговая сделка, а коммерческие переговоры в свою очередь могли прерываться воинственными демонстрациями. Всякий был и воином, и купцом, и работником; всякий мог заметить, что число наличных бананов увеличивалось не во время драки, но во время торговых совещаний. Сомнительная выгода, извлекавшаяся из единоборств и из мелких мошенничеств, по всей вероятности, подорвала бы во мнении людей этот род занятий, если бы только не открылась возможность образовать коллективные драки и крупные обмены. Опираясь на ассоциацию, война и торговля расширяют круг своих действий и облекаются в новые формы. Предпримчивый юноша собирает вокруг себя других юношей, уступающих ему в изобретательности, но равных ему по отваге. Ассоциация, составляющая верное средство для развития производительного труда, делается, таким образом, орудием войны и является самым сильным средством для разрушения труда, самым серьёзным препятствием на пути его совершенствования. Храбрые витязи удалой дружины тотчас делаются старшими братьями собирателей бананов и тотчас начинают смотреть на вещи такими широкими взглядами, которые со-

вершено недоступны младшим. Затем является настоятельная необходимость кормить ассоциацию, и тогда собирателям бананов вменяется в обязанность приносить в жилище своих старших братьев определённое количество плодов земных. Таким образом, среди населения, собирающего бананы, образовалась сначала небольшая добровольная ассоциация; это ядро привлекло к себе других людей, частью обольстительными обещаниями, частью рассчитанными угрозами, частью скрытой силой. Но вовлечь в воинственную ассоциацию всех собирателей бананов неудобно, потому что тогда некому будет кормить удалую дружину. На этом основании разросшаяся ассоциация прилагает свои силы к тому, чтобы держать всю совокупность собирателей бананов в состоянии недобровольной ассоциации. Эта недобровольная ассоциация и состоит в том, что целые тысячи людей содействуют своими трудами выполнению таких возвышенных замыслов, о которых они не имеют никакого понятия и которые не приносят им ни малейшей выгоды. Мы видели, например, что пути сообщения должны служить к образованию местных центров разнородной деятельности; мы видели также, что количество всяких бананов может увеличиваться только тогда, когда существуют такие местные центры; но система недобровольной ассоциации этого не знает и рассуждает совершенно по-своему. Где есть бананы, думает она, там прежде всего должна чувствовать сила дружины. На основании этого рассуждения все важнейшие дороги прокладываются так, что они увеличивают притяжение центра, усиливают в этом центре искусственное движение и ослабляют естественные проявления жизни во всех далёких оконечностях страны бананов.

Изобретения, относящиеся к механической и химической переработке сырого материала, должны вести к тому, чтобы все люди питались, одевались и жили лучше прежнего, чтобы сберегалось как можно больше человеческого труда и чтобы этот сбережённый труд употреблялся на усиление производительных сил земли и на развитие беспредельных способностей человеческого ума. Но эта цель вовсе не соответствует великим интересам и строгим замыслам той системы, которая выработалась из первобытной дружины. По соображениям системы, добываемые металлы должны превращаться не в застуны, плуги и паровые машины, а в сабли, копья и ружья; строевые деревья должны употребляться не на постройку домов, мельниц и плотин, а на сооружение огромных кораблей; из меди должны делаться не самовары, а пушки; порох должен служить не для истребления хищных зверей, не для добывания мехов и дичи, а для отбивания человеческих рук, ног

и голов; из камня должны строиться не мосты и набережные, а такие стены, которые будут разбиваться чугунными ядрами и взрываться порохом. Таким образом, рабочая сила и изобретательность нашей породы должны направляться не к тому, чтобы увеличивать существующие удобства жизни, а к тому, чтобы руками одних людей как можно быстрее и искуснее разрушать то, что сделано руками других.

Кто следит за современными открытиями Армстронга и Уайтворта<sup>85</sup>, кто помнит происхождение «Мерримака» и «Монитора»<sup>86</sup>, кто слышал о любопытной борьбе английского адмиралтейства, стремящегося создать для кораблей непроницаемую обшивку, с английским артиллерийским ведомством, порывающимся разбить вдребезги всякую обшивку, тот, конечно, скажет, что XIX век в своих нелепостях так же велик и последователен, как в своих общеполезных открытиях и человеческих стремлениях. Но нелепость немедленно получает себе практическое применение, а человеческие стремления, по недостатку материальных сил, останавливаются обыкновенно на одной теоретической последовательности. Можно сказать без преувеличения, что остроумные изобретения Армстронга и подобных ему благодетелей человечества причинили Англии больше вреда, чем длинный ряд сильнейших неурожаев. Если бы не было этих изобретений, то старые корабли, старые укрепления и старые пушки оставались бы совершенно годными для употребления, а теперь благодаря остроумию изобретателей приходится тратить без всякой пользы огромные количества дерева, железа, меди и, главное, человеческого труда. Вред не ограничивается Англией, потому что за нею, волей или неволей, из чувства самосохранения тянутся все остальные державы. Но кому же все эти усилия приносят пользу? Никому. Кто выигрывает от этих всеобщих непроизводительных затрат? Никто. Всем известно, что финансы сильнейших государств Европы обременены страшными долгами и что долги эти произошли от прежних войн; всем известно, далее, что чуть ли не три четверти ежегодных доходов употребляются на уплату процентов и на содержание армий и флотов; все знают, что эти издержки постоянно увеличиваются, потому что каждая держава боится своего соседа и старается превзойти его силою вооружения. Спрашивается, есть ли возможность своротить с этой дороги извращённого и постоянно ускоряющегося прогресса? Ответа на этот вопрос не решится дать ни один глубокий политик, но очевидно, что этот вопрос для всей европейской цивилизации равняется вопросу: быть или не быть?

Дружины, не производящие ничего, подчиняют своей власти работников, производящих пищу, одежду, жилища и инструменты. Торговцы, не производящие также ничего, точно так же подчиняют своему произволу производителей, владеющих продуктами, и потребителей, платящих за эти продукты трудом и другими продуктами. В действиях дружинников преобладает насилие, в распоряжении торговцев на первом плане стоит элемент хитрости и обмана; за исключением этого оттенка различия поступательный ход войны и торговли оказывается тожественным. Подобно войне торговля обращает в свою пользу ассоциацию, пути сообщения и технические открытия, и подобно войне она искаивает всё то, к чему прикасается. Не увеличивая количества продукта, она обирает в пользу торгового посредника трудящиеся классы общества; разоряя производителей, она уменьшает их силу над природою, истощает плодородие земли, перегоняет людей с богатой почвы на бедную и превращает заселённые области в мёртвые пустыни. Торговля овладевает перевозочными средствами и, взимая в пользу торгового посредника большую перевозочную плату, старается увеличивать необходимость в перевозке; таким образом увеличивается ценность продуктов и уменьшается их польза, таким образом отрываются от производительных работ тысячи рук, которые могли бы усиливать плодородие земли.

Когда прокладываются пути сообщения, торговля всегда старается проложить их так, чтобы они усилили притяжение главного центра; централизация выгодна для торгового класса, потому что она поддерживает бедность областного населения, которое, таким образом, остаётся в безответной зависимости от диктатуры купцов, покупающих их продукты и продающих им разные удобства жизни по произвольно назначаемым ценам. Стремления торговли здесь, как и везде, совершенчно сходятся с стремлениями войны и совершенчно расходятся с инстинктивными или сознательными желаниями всех производительных классов. Последние желают непосредственного сближения между собою, а системы, развившиеся из войны и торговли, желают, чтобы производители оставались разъединёнными и чтобы каждый из них поодиноке находился в зависимости от центрального пункта. Война извращает технические открытия. Торговля также извращает их тем, что стремится их монополизировать. Все

люди желают перерабатывать добываемые ими продукты на месте, а это желание вполне естественно и разумно, потому что переработка на месте сберегает время и избавляет от всех хлопот, издержек и опасностей перевозки. Торговец, напротив того, хочет, чтобы сырой продукт был перевезён на его корабле или повозке и чтобы ему за перевозку заплатили побольше денег; потом он хочет, чтобы перевезённый продукт был переработан на его фабрике, его машинами и чтобы за переработку ему опять заплатили; потом он хочет, чтобы переработанный продукт был перевезён на его же корабле к первому производителю и чтобы за эту вторичную перевозку было также заплачено. Очень понятно, что торговец не останавливается на одном желании, его интересы принимаются горячо к сердцу людьми, имеющими в руках действительную силу, и вся политика целых передовых государств направляется к тому, чтобы желания торговца были действительно исполнены. И, разумеется, они исполняются. Результат оказывается тот, что индус или плантатор южных штатов продаёт английскому купцу хлопчатую бумагу по той цене, которую последнему заблагорассудится дать, а потом покупает у того же купца коленкор по той цене, которую достойному джентльмену угодно будет взять. Плантатор и индус беднеют, но английские работники, перерабатывающие в коленкор хлопчатую бумагу большей части земного шара, от этого не богатеют, точно так же как не богатеют матросы тех купеческих кораблей, которые зарабатывают груды золота своим хозяевам. Матросы и фабричные получают жалованье и перебиваются им, как хотят или как могут. Хозяин покупает их труды как можно дешевле и затем берёт себе все результаты их труда, как бы они ни были велики. Труд их не прибавляет в стране ни одного зерна хлеба и только увеличивает силу их хозяина над трудом индуса, негра или английского пролетария. Если бы в стране было только то число фабрик, которое необходимо для превращения сырого материала, производимого местною почвою, если бы индусу и негру была предоставлена возможность перерабатывать свои продукты у себя на месте и если бы всё излишнее количество пролетариев, работающих на теперешних бесчисленных фабриках, получило средство приложить свою рабочую силу к улучшению земли, — то Индия и Южные штаты обогатились бы вследствие учреждения местных центров и введённого разнообразия занятий. Англия обогатилась бы в барышах, потому что капитал, приложенный к развитию сил земли, даёт прочный и постоянно увеличивающийся доход.

Из всего, что было говорено в этом очерке, мы можем вывести довольно важные и плодотворные заключения. Человеческое общество в первоначальной его форме можно представить себе в виде пирамиды, разгороженной на несколько этажей. В самом нижнем этаже работают люди, добывающие сырье материалы; они находятся в непосредственном соприкосновении с землёй, и их этаж составляет основание всего строения, потому что в остальных ярусах люди только перерабатывают или передают друг другу из рук в руки то, что отрывают от земли обитатели нижнего яруса. Во втором этаже совершаются механическая и химическая переработка добытых материалов. В третьем этаже действуют люди, занимающиеся перевозкой и устраивающие пути сообщения. В четвёртом обитают все разнообразные классы людей, живущих производительным трудом нижнего этажа.

Равновесие этой общественной пирамиды будет тем устойчивее, чем обширнее будут нижние два этажа в сравнении с верхними и чем значительнее вес нижних этажей будет превышать тяжесть верхних. Нижние этажи должны быть обширнее, — это значит, что большее число людей должно заниматься добыванием и переработкою сырых продуктов, а не перевозкой с места на место и не разнообразным переливанием из пустого в порожнее. Нижние этажи должны быть тяжелее. Так как специфическая сила человека заключается не в мускулах, а в мозгу, то весом человека в переносном смысле может быть названа сумма его деятельных умственных способностей. История показывает нам, что приобретает и удерживает господство в обществе именно тот класс, или круг людей, который владеет наибольшим количеством развитых умственных сил. Преобладанию аристократии во Франции пришёл конец, когда перевес ума, таланта и образования оказался в рядах достаточной буржуазии, а преобладанию буржуазии также придёт конец, когда тот же перевес перейдёт в ряды трудящегося пролетариата. Следовательно, как мы говорим, «нижние этажи должны быть тяжелее»; это значит, что в массах земледельцев и фабричных должно сосредоточиваться и обращаться больше знаний, чем в кучках людей, занимающихся очень неголоволомным делом исключительного потребления продуктов.

В тех цивилизациях, которые уже погибли, и в тех, которым угрожает погибель, нарушаются самым неосторожным образом оба условия, необходимые для поддержания устойчивого равновесия. В каждой из пирамид, соответствующих этим цивилизациям, устроен очень замысловатый механизм,

посредством которого большая часть продуктов, добываемых и превращаемых в двух нижних этажах, с мгновенною быстротою переносятся в верхний ярус, где они тотчас же и потребляются. Благодаря этому механизму жильцы четвёртого этажа пользуются изобилием и имеют возможность употреблять значительную долю своего вечного досуга на развитие умов и сердец. Обитатели нижних этажей знают, что на антресолях жить очень весело; поэтому во всей пирамиде господствует неистовое желание карабкаться вверху; вверху лезут и гастрономы, и честолюбцы, и тщеславные посредственности, но туда же лезут и замечательные таланты, и люди, безукоризненные в нравственном отношении, потому что только в верхнем этаже можно найти умственную деятельность и некоторую степень нравственной самостоятельности.

Красота, ум, талант, богатство, железная воля — всё, что в каком-нибудь отношении составляет силу человека, все это употребляется на переправу в верхний этаж. Внизу остаются только те, которых природа и обстоятельства лишают всякой возможности подняться. Эти невольные обитатели нижних ярусов бедны, тупы, слабы и забиты. Кто поднялся наверх, тот старается удержаться наверху и упрочивает там квартиры для своих детей. Кто не может быть барином наверху, тот идёт наверх в лакеи, потому что лакеи кормят и одеваются лучше, чем производительного работника. Кроме тех людей, которые попадают наверх по собственной охоте, есть и другие, которых затаскивают туда насилием. Конскрипции Наполеона I<sup>87</sup> затащили в высокие хоромы более миллиона французских граждан, которые предпочли бы оставаться внизу, за союю или за ткацким станком.

Когда, таким образом, всё, что сильно, умно и талантливо, лезет или привлекается наверх, тогда, конечно, производительные работы нижних этажей идут вяло и плохо. Жильцы беднеют, ссорятся между собою за кусок хлеба и производят преступления против личности и собственности. Чтобы разбирать ссоры, необходимы судьи и адвокаты; чтобы предупреждать и преследовать преступления, необходима разнообразная полиция; чем больше ссор и преступлений, тем больше судей, адвокатов и полицейских, которые все также живут в четвёртом этаже и, увеличивая его тяжесть, увеличивают неустойчивость общего равновесия. Чем беднее жильцы нижних этажей, тем более они зависят от произвола верхних капиталистов; чем невыносимее жизнь внизу, тем сильнее и беспокойнее стремление наверх; люди бегут из нижних этажей и вверху и совсем вон из пирамиды,

куда-нибудь в Америку или в Австралию. Камни пирамиды вынимаются, таким образом, из основания и кладутся на вершину или выбрасываются вон. Основание постоянно становится уже, а вершина шире и тяжелее. Вся эта история неминуемо должна кончиться тем, что пирамида рухнет и превратится в безобразную кучу мусора. Это уже дело бывалое. Такие пассажи делаются невозможными только тогда, когда работник будет образован и доволен своим положением. Мы уважаем труд, но этого мало. Надо, чтобы труд был приятен, чтобы результаты его были обильны, чтобы они доставались самому труженику и чтобы физический труд уживался постоянно с обширным умственным развитием. Пока это не будет сделано, всякая цивилизация будет находиться в неустойчивом равновесии перевёрнутой пирамиды. А как же это сделать? Не знаю. Рецептов предлагалось много, но до сих пор ни одно универсальное лекарство не приложено к болезням действительной жизни.

---

# ПРОГРЕСС В МИРЕ ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ

## *Введение*

Человек, совершенно незнакомый с естественными науками, не может даже приблизительно представить себе, до какой степени разнообразны произведения природы. Натуралисты до сих пор не могут справиться с этим разнообразием и до сих пор постоянно строят различные классификации, которые постоянно приходится переделывать то в самом основании, то в многочисленных подробностях.

Во-первых, всю природу нашей планеты делят на три царства: минеральное, растительное и животное; но, с одной стороны, Жоффруа-Сент-Илер и Катрфаж<sup>88</sup> желают, чтобы для человека было отведено четвёртое царство, а, с другой стороны, некоторые учёные утверждают, что между растениями и животными нельзя провести резкую границу, потому что между ними существует множество переходных форм. Разногласие начинается, таким образом, с первого шага; затем царства разделяются на отделы; царство животных, которое я постоянно буду иметь в виду в этом очерке, разделяется на два *отдела* — позвоночные и беспозвоночные. К первому принадлежат четыре класса: млекопитающие, птицы, земноводные и рыбы; ко второму — четырнадцать различных классов, из которых я назову здесь насекомых, моллюсков, полипов и микроскопических инфузорий. Потом классы распадаются на *порядки*, порядки — на *группы*, группы — на *семейства*, семейства — на *роды*, роды — на *виды*, и, наконец, в каждом виде различается по нескольку пород, рас или разновидностей. Вот тут-то, в самом конце классификации, натуралисты-систематики испытывают постоянные огорчения. Возьмём, например, барана. Принадлежит он, по учебнику Григорьева, к царству животных, к отделу позвоночных, к классу млекопитающих, к порядку дву-

копытных, к семейству полорогих, к роду — *ovis*, вид — *ovis aries*.

Пока идёт дело о высших инстанциях, от царства до порядка и даже до семейства, до тех пор всё обстоит благополучно; что баран — животное, что у него есть позвоночный хребет, что его самка питает детей молоком, что у него раздвоенные копыта и полые рога — всё это неопровергимые истины. Но произносится родовое название *ovis*, и начинается ряд недоразумений: вы не знаете, на что указывает это название — на сходство признаков или на единство происхождения. Что за слово *ovis*? Похоже ли оно на слово *блондин* или *брюнет*, или, напротив того, на фамилию *Петров* или *Иванов*? Вы предлагаете этот вопрос натуралисту, и он вам отвечает, что различные члены одного рода соединены между собою только сходством признаков. А члены одного вида? — спрашиваете вы дальше. Это другое дело, отвечает натуралист, те связаны между собою единством происхождения. «Те животные, — говорит вам учебник, — которые сходны между собой во всех своих признаках (в строении своих органов, в наружной форме тела, в образе жизни и проч.) и которые происходят от *совершенно подобных себе родителей*, соединяются при описаниях вместе, в один вид».

Чудесно, думаете вы. Вот у меня *ovis aries*; стало быть, и сын его будет *ovis aries*, и внук, и правнук, и так далее до светопреставления. Если же я обращу взор свой в прошедшее, то увижу за своим *ovis aries* необозримо длинный ряд предков, которые все точь в точь похожи друг на друга и на своего общего родоначальника, на первого *ovis aries*, явившегося на свет без отца и без матери. Понимаю. Успокоившись таким образом, вы продолжаете читать историю о баране, но вдруг оказывается, что вы совсем ничего не понимаете. Вам объявляют, что баран «представляет множество разновидностей, как-то: мериносы из Испании, с тонкой курчавой шерстью; английская овца, безрогая, с тонкой шерстью; венгерский баран со спирально закрученными рогами и грубой шерстью; курдючные и жирнохвостые овцы, замечательные скоплением жира в хвосте и в задней части тела, с хвостом длинным, толстым и с повислыми ушами». А куда же девался настоящий представитель вида? Где ваш *неизменный ovis aries*, на которого вы надеялись, как на каменную гору, п который должен был происходить *«от совершенно подобных себе родителей»*? Он вас обманул, он растаял у вас в руках и превратился во «множество разновидностей», с которыми вы опять не знаете, что делать. Всм представляются два возможных объяснения, и оба они оди-

нако́лько губительны для вида *ovis aries*. Во-первых, вы можете держаться того принципа, что каждое животное проходит «от совершенно подобных себе родителей». Тогда вы должны будете допустить, что все мериносы происходят от мериноса, венгерские бараны — от венгерского барана, курдючные овцы — от курдючной овцы и так далее. Но ведь разновидностей действительно существует великое множество. В одной Англии разводится столько различных пород баранов, что один натуралист печатно высказал предположение, будто эти породы должны происходить от одиннадцати сортов диких баранов. Стало быть, вам придётся вместо одной формы *ovis aries* представить себе бесчисленное множество самостоятельных форм, вышедших из недр земли в полном всеоружии своих оттенков и атрибутов, точно так, как Минерва вышла из головы Зевса. Очевидно, что понятие *ovis aries* окажется совершенно неуловимым мифом. Во-вторых, вы можете отбросить в сторону тот принцип, что дети совершенно подобны родителям. Тогда вы увидите, что и мериносы, и венгерские бараны, и английские, и курдючные могли произойти от одной общей формы, которую, пожалуй, можно будет назвать *ovis aries*. Но если эта общая форма расползлась, таким образом, в разные стороны и испытала на себе множество превращений, то какая же она после этого неизменная? А если *ovis aries* изменялся и вчера, и третьего дня, и в прошлом столетии, и в ~~запрошлом~~, то где же основание думать, что он когда-нибудь был совершенно неизменным? Если мериносы, курдючные, венгерские, английские составляют разветвления одной общей формы, то эта общая форма в свою очередь представляется отростком другой формы, ещё более общей, например такой, которая в глубине веков соединяла в себе всех теперешних представителей рода *ovis*. Если бы вместо барана мы взяли какое-нибудь другое животное, то нам во всяком случае представились бы то же самое затруднение и та же дилемма; встречаясь с разновидностями, нам пришлось бы или предположить, что они существуют от начала веков, или допустить, что они выработались из одной общей формы, способной изменяться.

Большинство натуралистов постоянно уклонялось от прямого разрешения этого неизбежного вопроса. Они отвечали так, что в ответе их всегда заключалось глухое внутреннее противоречие, которого они сами не хотели почувствовать. Они говорили, что земля испытала во время своего существования несколько таких геологических переворотов, которые всякий раз истребляли дотла всю органическую жизнь. Вся

наша планета перепахивалась, таким образом, заново и после каждого подобного пахания засевалась совершенно новыми и небывалыми видами растений и животных. Эти новые виды являлись совершенно готовыми и тотчас принимались за свойственные им занятия. Дуб покрывался зелёными листьями и в надлежащее времяронял свои жолуди, которые в значительном количестве истребляла дикая свинья; баран щипал траву и пережёвывал жвачку; волк съедал барана; щука глотала карасей; кукушка клала свои яйца в чужие гнёзда; словом, после последнего геологического переворота всё пошло тотчас тем самым порядком, каким оно идёт в настоящее время. Но натуралисты никак не решались утверждать, что из недр земли вышли готовыми не виды, а разновидности. Идеальный баран мог выйти готовым; на то он идеальный, на то он представитель неизменного типа, на то он родоначальник всей бараньей породы; но крымский баран, решетиловский, калмыцкий, одиннадцать английских, меринос и так далее — всё это мелкие и частные явления, и о них никак не могло быть речи после такого великого события, как геологический переворот. Это — разновидности, представляющие большие или меньшие уклонения от оригинального и неизменного типа. Это — игра природы, это — случайное явление, а тип всё-таки сохраняется, и баран всё-таки остаётся бараном, и всегда был таковым, с той самой минуты, как он вышел из недр земли. Тут натуралисты попадали, очевидно, в безвыходное противоречие, и такие слова, как игра природы или случайное уклонение, разумеется, ничего не объясняли и даже не представляли решительно никакого ручательства в пользу неизменности основного типа. Поэтому уже в последних годах прошлого столетия некоторые натуралисты стали догадываться, что виды могут перерождаться и что во всей органической природе, по всей вероятности, нет ничего неизменного, кроме тех общих законов, которыми управляет вся материя.

Одним из первых выразил эту мысль поэт Гёте, который, как известно, был очень замечательным естествоиспытателем. Но пока господствовала теория геологических переворотов, до тех пор должна была держаться вера в самостоятельное значение видовых типов. Когда натуралисты думали, что земля несколько раз заселялась заново, тогда трудно было допустить предположение, что органическая жизнь всякий раз начинала своё развитие с самых простых форм и всякий раз путём медленного и естественного совершенствования доходила до более сложных явлений. Если стихии могли

производить геологические перевороты, подобные переменам декораций в волшебном балете, то и все остальные процессы природы могли также совершаться необъяснимым путём мгновенных возникновений, исчезаний и превращений. При таком взгляде на прошедшую жизнь нашей планеты прямые наблюдения над законами природы, как они обнаруживаются в настоящее время, оказывались почти бесполезными для объяснения тех явлений, которые совершались в далёкие геологические эпохи. Почему вы знаете, как действовали эти законы тогда? — можно было сказать такому наблюдателю. Теперь жизнь природы идёт так, а тогда шла совсем иначе. Теперь в природе нет скачков, а тогда были. Рассуждая таким образом, можно было писать великолепнейшие геологические романы, и прошедшая жизнь нашей планеты долго казалась нам длинным рядом чудес и колоссальной борьбой таких титанических сил природы, которые теперь улеглись и успокоились на время или навсегда. Но понемногу в некоторых пытливых умах стало возникать сомнение: нельзя ли, думали они, объяснить все явления различных геологических эпох постоянным действием тех самых причин, которые до сих пор медленно, но безостановочно, каждый день и каждую минуту, изменяют вид земной поверхности. Оказалось, что можно. Теория волшебных переворотов стала ослабевать и клониться к упадку. Наконец, знаменитый английский геолог Чарльз Ляйелль<sup>89</sup>, живущий в наше время, окончательно уложил в могилу эту старую теорию и доказал, что законы, управляющие материяй теперь, управляли ею без малейшего перерыва в течение тех длинных периодов, которых неизмеримый ряд называется прошёлшей жизнью нашей планеты. Море медленно разрушает берега свои; река медленно наносит ил в своём устье; атмосфера медленно разъедает гранитные вершины горных хребтов; остатки мёртвых растений и животных медленно разлагаются и ещё медленнее образуют на земле новые слои почвы; полипы медленно строят коралловые рифы; подземные вулканические силы действуют, правда, мгновенно, но действие их всегда частично и никогда не производит такого переворота, который мог бы распространиться на всю поверхность нашей планеты. Таким образом изменяется вид земли теперь; таким образом формируются новые напластования и точно таким же образом совершилось это дело тогда, когда на земле жили только колоссальные ящеры, и тогда, когда существовали только низшие формы моллюсков. С тех пор как расплавленное ядро земли покрылось твёрдой корой, с тех пор как образовались на нашей планете вода и атмо-

сфера, словом, с тех пор как сделалось возможным существование растительных и животных организмов,— с этих пор земля не испытала ни одного такого переворота, который разом взбудоражил бы всю её поверхность и, следовательно, истребил бы на ней все проявления органической жизни. Когда перевороты удалились, таким образом, в область поэтического творчества, тогда натуралистам представилась необходимость задуматься над решением громаднейшего вопроса.

Если разные трилобиты, белемниты, ихтиозавры, мастодонты и тому подобные исчезнувшие животные не были истреблены мгновенной переменой декораций, то почему же они исчезли? Если хвощи и папоротники каменноугольной эпохи не были выворочены с корнями действием разыгравшихся стихий, то почему же они уступили место другим растительным формам, которые потом в свою очередь были вытеснены новой флорой? Если идеальный баран не вышел из недр земли после последнего геологического переворота, то откуда же взялись крымские, венгерские, английские и всякие другие бараны? Если органическая жизнь не обрвалась на земле с той самой минуты, как она возникла, то, стало быть, нет никакой необходимости предполагать в её истории существование необъяснимых скачков; если нет скачков,—стало быть, есть последовательное развитие; если есть последовательное развитие,—стало быть, есть постоянные законы; а если есть законы, то надобно до них добраться, не удовлетворяя своей любознательности такими удобными выражениями, как игра природы или случайное уклонение от неизменного типа. Если природа играет сегодня, то она, значит, играла и вчера; стало быть, она имеет свойство играть, и натуралистам надо изучить это свойство, как и всякое другое. Случая в природе нет, потому что всё совершается по законам и всякое действие имеет свою причину; когда мы не знаем закона и когда мы не видим причины, тогда мы произносим слово «случай», и произносим его всегда некстати, потому что это слово никогда не выражает ничего, кроме нашего незнания, и притом такого незнания, которого мы сами не сознаём.

Ляйель очистил науку от геологических чудес; другим натуралистам надо было сделать то же самое в отношении к истории органической жизни; надо было, чтобы идеальный баран не изображал собою Венеру, выходящую из морской пены в полном сиянии развитой красоты, и надо было, чтобы простые бараны не делались венгерскими или кудрячными вследствие случайной игры природы. Словом, надо

было понять существующие законы и таким образом устранить, по мере слабых человеческих сил, случай. Исходная точка, самое возникновение органической жизни до сих пор остаётся неразгаданным, потому что до сих пор ни одному натуралисту не удалось приготовить в своей лаборатории из неорганических или органических веществ ни одного, даже самого простейшего живого организма; но процесс развития и перерождения органических форм разъяснён в значительной степени английским натуралистом Чарльзом Дарвином, издавшим в 1859 году знаменитое сочинение: «On the origin of species» («О происхождении видов»). Этот гениальный мыслитель, обладающий колоссальными знаниями, взглянул на всю жизнь природы таким широким взглядом и так глубоко вдумался во все её разрозненные явления, что он сделал открытие, которое, быть может, не имело себе подобного во всей истории естественных наук. Он открывает не единичный факт, не желёзку, не жилку, не отправление того или другого нерва,— он открывает целый ряд тех законов, которыми управляется и видоизменяется вся органическая жизнь нашей планеты. И рассказывает он их так просто, и доказывает так неопровергимо, и выходит при своих рассуждениях из таких очевидных фактов, что вы, простой человек, профан в естественных науках, удивляйтесь постоянно только тому, как это вы сами давным-давно не додумались, до тех же самых выводов.

Да, не велика мудрость Америку открыть, однако всё-таки, кроме Колумба, никто не догадался, как это сделать. Великое открытие и умная загадка всегда просты, когда первое сделано, а вторая разгадана, но чтобы разгадать загадку, надо обладать известной дозой остроумия, а чтобы сделать великое открытие, надо быть гениальным человеком. Для нас, для простых и тёмных людей, открытия Дарвина драгоценны и важны именно тем, что они так обаятельно просты и понятны; они не только обогащают нас новым знанием, но они освежают весь строй наших идей и раздвигают во все стороны наш умственный горизонт. Благодаря им мы понимаем связь таких явлений, которые мы видели каждый день, на которые мы смотрели бессмысленными глазами и которые, однако, так легко было понять и объяснить себе. Почти во всех отраслях естествознания идеи Дарвина производят совершенный переворот; ботаника, зоология, антропология, палеонтология, сравнительная анатомия и физиология и даже опытная психология получают в его открытиях ту общую руководящую нить, которая свяжет между

собою множество сделанных наблюдений и направит умы исследователей к новым плодотворным открытиям.

Значение идей Дарвина так обширно, что в настоящее время даже невозможно предусмотреть и вычислить те последствия, которые разовьются из них, когда они будут приложены к различным областям научного исследования. Лучшие европейские натуралисты давно поняли их важность, и весь учёный мир разделился на две партии: с одной стороны стоят глубоко убеждённые защитники новой теории, с другой стороны — её противники, научные предрассудки которых ожидают себе неизбежной погибели.

Старые методы и старые классификации непременно должны будут сойти со сцены, а так как человеку больно расставаться с заблуждениями целой жизни, то, разумеется, противники Дарвина всеми силами будут защищать свои разбитые позиции. Но светлые умы тотчас становятся горячими приверженцами истины, в каком бы резком противоречии она ни находилась с их прежними понятиями. Карл Фохт в лекциях своих о человеке\*, изданных в 1863 г., объявляет себя последователем Дарвина и признаётся, что он в молодости своей держался теории геологических переворотов, с которой, как мы видели, была связана теория неизменных типов.

Книга Дарвина переведена уже в настоящее время на немецкий, французский и на русский языки; каждому образованному человеку необходимо познакомиться с идеями этого мыслителя, и поэтому я считаю уместным и полезным дать нашим читателям ясное и довольно подробное изложение новой теории. В этой теории читатели найдут и строгую определённость точной науки, и беспредельную ширину философского обобщения, и, наконец, ту высшую и незаменимую красоту, которая кладёт свою печать на все великие проявления сильной и здоровой человеческой мысли. Когда читатели познакомятся с идеями Дарвина, даже по моему слабому и бледному очерку, тогда я спрошу у них, хорошо или дурно мы поступали, отрицая метафизику, осмеивая нашу поэзию и выражая полное презрение к нашей казённой эстетике. Дарвин, Ляйелль и подобные им мыслители — вот философы, вот поэты, вот эстетики нашего времени. Когда человеческий ум в лице своих гениальных представителей сумел подняться на такую высоту, с которой он обозревает основные законы мировой жизни, тогда мы, обыкновенные

---

\* «Человек и место его в природе», лекции К. Фохта (переведены на русский язык). *Прим. автора.*

люди, неспособные быть творцами в области мысли, обязаны перед своим собственным человеческим достоинством возвыситься по крайней мере ~~настолько~~, чтобы понимать передовых гениев, чтобы ценить их великие подвиги, чтобы любить их как украшение и гордость нашей породы, чтобы жить нашей мыслью в той светлой и безграничной области, которую гении открывают для каждого мыслящего существа. Мы богаты и сильны трудами этих великих людей, но мы не знаем нашего богатства и нашей силы, мы ими не пользуемся, мы не умеем даже пересчитать и измерить их, и поэтому, проводя нашу жалкую жизнь в бедности, в глупости и в слабости, мы потешаем своё младенческое неведение разными золочёными грошами вроде диалектических мудрствований, лирических вздоханий и эстетических умилений. И живут люди, и умирают люди, и считают себя развитыми и образованными, и толкуют о музыке и о поэзии, и ни разу, ведь ни одного разу не удаётся этим людям даже мельком взглянуть на то, что составляет и богатство, и силу, и высшее изящество человеческой личности. А то и взглянут, да не поймут. Нечего делать, надо объяснять, разбавлять мысль водой, вдаваться в лирические восторги, чтобы показать, что вещь действительно хорошая и что ею в самом деле можно и должно любоваться. По-настоящему идеи Дарвина следовало бы передавать просто, ровно, спокойно, так, как излагает их сам Дарвин, но для нас это ~~ещё~~ не годится, потому что нашу публику следует заманивать, её следует покуда подкупать в пользу дельных мыслей разными фокусами то комического, то лирического свойства. Поэтому, если кому-нибудь из моих читателей не понравится что-нибудь в изложении моей статьи, то я умоляю его обратить всё его негодование исключительно против меня, а никак не против Дарвина. Я именно того и хочу, чтобы моя статья возбудила в читателе любознательность, но не удовлетворила бы её вполне; пусть он увидит, как умён Дарвин, пусть почувствует, что я не в силах передать то впечатление, которое производит чтение самой книги великого натуралиста, и пусть вследствие этого обругает меня и возьмётся за сочинение самого Дарвина. Цель моя будет в таком случае вполне достигнута. Для того чтобы дать читателю некоторое понятие о личном характере Дарвина, я приведу здесь несколько строк из его введения.

«Я находился, — говорит он, — в качестве натуралиста на корабле её британского величества — «Бигль», когда меня в первый раз сильно поразили некоторые факты в распределении органических существ, населяющих Южную Америку, и геологические отношения, существующие между прежними

и теперешними обитателями этого материка. Эти факты, как видно будет в последних главах этого сочинения, бросают, повидимому, некоторый свет на происхождение видов, «эту тайну тайн», как выражается один из величайших наших философов (Гумбольдт<sup>90</sup> в «Космосе»). После моего возвращения, в 1837 году, мне пришло в голову, что, может быть, есть возможность подвинуть вперёд этот вопрос, если собирать и обдумывать все различные наблюдения, которые так или иначе могут содействовать разрешению задачи. Только после пятилетнего труда я позволил себе сделать некоторые наведения и составил краткие заметки. Не раньше как в 1844 году я набросал те заключения, которые казались мне наиболее правдоподобными. С этого времени до нынешнего дня (т. е. до конца 1859 года) я постоянно занимался тем же самым предметом. Мне извинят эти личные подробности, в которые я пускаюсь только для того, чтобы доказать, что у меня не было излишней поспешности в разрешении вопросов. Моя работа уже далеко подвинулась вперёд; однако мне понадобится ещё года два или три для её окончания, а так как здоровье моё вовсе не отличается крепостью, то я и по-торопился выпустить в свет это извлечение. Меня преимущественно побудило поступить таким образом то обстоятельство, что мистер Уоллес, изучающий в настоящее время природу Малайского архипелага, почти совершенно сошёлся со мною в своих заключениях о происхождении видов. В 1858 году он прислал мне мемуар по этому предмету с просьбой сообщить его сэру Чарльзу Лэйеллю, который послал его Линнеевскому обществу (Linnean Society). Он напечатан в третьем томе журнала этого общества. Сэр Чарльз Лэйелль и доктор Гукер<sup>91</sup>, знаяшие мои работы, сделали мне честь подумать, что было бы хорошо издать в одно время с превосходным мемуаром мистера Уоллеса некоторые отрывки из моих рукописей. Это извлечение, которое я издаю теперь, необходимо оказывается неполным. Я принуждён излагать в нём мои идеи, не подкрепляя их обильным запасом фактов или цитатами писателей, и я поставлен в необходимость рассчитывать на то доверие, которое читателям угодно будет питать к верности моих суждений».

Приведённое мною место заключает в себе много любопытных сведений и характерных подробностей. Во-первых, мы видим, что Дарвин посвятил всю свою жизнь разрешению того вопроса, который заинтересовал его во время кругосветного плавания на корабле «Бигль»; он работает над этим вопросом более 25 лет (с 1837 по 1864) и всё ещё не считает свой труд оконченным; когда гениальный ум соединяется с

таким упорством в преследовании цели и с такой требовательностью и строгостью в отношении к собственному труду, тогда действительно человек совершает чудеса в области мысли и тогда он смело может приниматься за разрешение такой задачи, которая до него считалась «тайною тайн». Вторых, Дарвин называет свою теперешнюю книгу извлечением и очень скромно и добродушно извиняется перед читателем, говоря, что он принуждён был поторопиться и что извлечение, конечно, вышло очень не полное, потому что настоящая книга, капитальная часть труда, ещё впереди. До такой чумительной и совершенно безыскусственной скромности могут возвышаться только очень замечательные люди; поторопился, — а работал двадцать два года (до 1859 года); извлечение, — а в нём больше пятисот страниц; не полное, — а весь учёный мир приходит от него в волнение; извиняется перед читателями, — а сам производит небывалый переворот почти во всех отраслях естествознания. Это было бы просто смешно, это было бы даже неприлично со стороны Дарвина, если бы в этой скромности можно было предположить хоть малейшую тень искусственности. Но так как вся книга Дарвина носит на себе печать глубочайшей искренности и добросовестности и так как от великого до смешного один шаг, то эта скромность, которая при других условиях могла бы сделаться смешной, в настоящем случае остаётся целиком в пределах великого. В-третьих, любопытно заметить, как равнодушно Дарвин относится к своему собственному здоровью; ему остаётся до окончания громадного труда всего два, три года, но он предвидит тот шанс, что ему, может быть, и не удастся дожить до этого времени; и возможность близкой смерти вовсе не смущает его, а только побуждает его выпустить в свет извлечение, в котором заключались бы добытые им результаты. Это спокойствие, это уменье умирать без жалобы и без боязни, это высшее проявление человеческого героизма совершенно понятны со стороны тех людей, которые умели наполнить свою жизнь разумным наслаждением, т. е. умели полюбить полезную деятельность больше собственного существования. Дарвин так слился с своей двадцатипятилетней работой, он так постоянно жил высшими интересами всего человечества, что ему некогда и незачем думать и горевать об упадке собственных сил. Лишь бы работу кончить, лишь бы отдать людям с рук на руки добытые сокровища, а там и умереть не беда. Кто не понимает такого обожания идеи и такой любви к людям, тот говорит, что личности, подобные Дарвину, совершают подвиги самоотвержения, а кто понимает, тот скажет, что это вполне практи-

ческие люди и что они превосходно умеют наслаждаться жизнью. Их расчёт оказывается верным во всяком случае и во всякую данную минуту; как ни прожить жизнь, а умирать всё равно надо; ну, стало быть, всего лучше жить так, чтобы в минуту смерти не было больно и совестно оглянуться назад, приятно подумать перед смертью, что жизнь прожита не даром и что она целиком положена в тот капитал, с которого человечество будет постоянно брать проценты; а если приятно, то и следует жить в том мире мысли и труда, в котором распоряжаются Дарвин, Ляйелль, Фохт, Бокль и другие люди такого же разбора. Наконец, в-четвёртых и в последних, не мешает обратить внимание на те честные, дружеские отношения, которые существуют между лучшими из современных учёных. Ляйелль и Гукер постоянно следят за процессом работы Дарвина; Дарвин советуется с ними, и они ему помогают; Гукер в продолжение пятнадцати лет постоянно сообщает ему то новые факты, то свои критические замечания. Уоллес<sup>92</sup>, близко подошедший к самым выводам Дарвина, с полным доверием присыпает последнему свой мемуар, а Дарвин с своей стороны отзыается об этом мемуаре с полным уважением. Видно, одним словом, что все эти люди заботятся об успехе общего дела, а совсем не о том, чтобы высунуть вперёд собственную личность и подставить ногу опасному сопернику. Вследствие этого, во-первых, их общее дело идёт хорошо, а во-вторых, каждому из них достаётся на долю столько учёной знаменитости, сколько они не могли бы приобрести, если бы работали врассыпную, завистливо скрывая друг от друга добываемые факты и не обмениваясь между собою мыслями и замечаниями.

Широкое умственное развитие этих превосходных людей делает их особенно способными к свободной ассоциации, а ассоциация с своей стороны придаёт им новые силы и ещё более расширяет горизонт их мысли. До сих пор добровольная и совершенно естественная ассоциация нашла себе приложение только в высших сферах научной деятельности. Там нет истребительной войны между конкурентами; там все честные люди идут к одной цели и дружелюбно опираются друг на друга; зато мы и видим, что высшие сферы научной деятельности до сих пор представляют единственное место, в котором человек может развернуть, сохранить и облагородить все свои истинно человеческие качества и способности; зато мы видим также, что наука, в настоящем значении этого слова, развивается с невероятной быстротой и оставляет далеко позади себя все остальные отрасли человеческой

лчательности. Но если люди, развернувшие, сохранившие и облагородившие свои человеческие способности, оказываются особенно расположенными к коллективному труду, если у них образуется ассоциация совершенно естественно, помимо всяких предвзятых теорий, то, мне кажется, нетрудно понять, что добровольная ассоциация и развитие индивидуальности не только не представляют собою двух непримиримых крайностей, а, напротив того, совершенно необходимы друг для друга и не могут существовать без взаимной поддержки. А теперь пора кончить это длинное введение и от личности мыслителя перейти к его теории.

### *Заключение*

Работа моя окончена, и я могу сказать по чистой совести, что она стоила мне очень много труда и что, несмотря на то, она всё-таки очень неудовлетворительна. Если бы я обладал литературным талантом Вольтера и знаниями Александра Гумбольдта, то эти громадные средства были бы только что достаточными для того, чтобы вполне удовлетворительно изложить теорию Дарвина для русской публики, не имеющей никакого понятия о естественных науках. Но разве же у нас на Руси есть люди с талантами Вольтера, с знаниями Гумбольдта и с добросовестным стремлением посвятить все свои силы на умственную пользу во тьме ходящих сограждан? А если нет таких образцовых популяризаторов, то, стало быть, идеи европейских гениев должны оставаться для нашей публики тарабарской грамотой? Так что ли? Или, может быть, не следует есть деревянной ложкой, когда не на что купить серебряную? Мне кажется, что благоразумнее обратиться к деревянной, чем голодать в тщетном ожидании серебряной. Поэтому я и решился изобразить своей особой такую деревянную ложку, которую немедленно можно и даже должно бросить под стол, когда на этот стол явится благородный металл. В моей статье о Дарвина есть, по всей вероятности, недомолвки, неясности, неудачные выражения, может быть, есть даже и фактические промахи. Что же делать? Я не специалист, и читал я до сих пор очень мало по естественным наукам. Стаяясь выразиться яснее, я, может быть, впадал в ошибки. Но я всё-таки повторяю: что же делать? Вы посмотрите, как поступают с нашей публикой наши специалисты. Такого невнимания к потребностям публики, такого неуважения к самым скромным, законным и неизбежным желаниям чита-

телей вы не встретите нигде за пределами любезного нашего отечества. Подумаешь, что специалист живёт где-нибудь на звезде Ориона и оттуда ведёт свою речь в пространство эфира, вовсе не заботясь о том, услышит ли его кто-нибудь, или поймёт ли его тот несчастный слушатель, до которого случайно долетят эти блуждающие звуки. По моему мнению, полезнее прочитать статью вполне понятную, хотя и с некоторыми ошибками, чем набивать себе голову совершенно безукоризненными диссертациями, недоступными человеческому пониманию.

Чтобы получить понятие о подвигах наших специалистов, нам не надо далеко ходить за примерами. Достаточно взглянуть на то, в каком виде книга Дарвина явилась перед русской публикой. Эту книгу «перевёл с английского профессор Московского университета С. А. Рачинский»<sup>93</sup>. Значит, специалист! Раскрываете книгу — ни одного слова от переводчика. Дарвин вводится без рекомендации. Зачем переведена эта книга, какое значение она имеет в науке, как смотрит на неё «профессор Московского университета» — всё это остаётся для русского читателя глубокой тайной. Читаете далее — ни одного пояснительного примечания: должно полагать, что мы, русские читатели, отлично знаем ботанику и зоологию, так что можем на лету ловить и понимать все мимоходные указания, которыми переполнена книга Дарвина. При этом г. профессор выражается таким языком, который может показаться русским только истинному специалисту. Далее, перевод наполнен такими плоскими ошибками, которые непростительны профессору университета. Приведу три примера. На стр. 178 говорится о рабовладельческом инстинкте муравьёв: «рабы черны и на половину мельче своих красных господ», а на стр. 180 уже оказывается, что эти чёрные рабы сделались бурыми. Эта нелепость создана русским переводчиком. У Дарвича говорится, что рыжеватый муравей (*Formica rufescens*) захватывает в плен бурого (*Fr. fusca*), а кровавый (*Fr. sanguinea*) — чёрного. Рачинский всё это заблагорассудил перепутать. На стр. 228 Дарвин рассказывает, будто он «извлёк из лапы куропатки двадцать два зёрнышка сухоглинистой земли». Что за неслыханная чепуха! Кто же это измеряет глину зёрнышками? Загадка объясняется просто: в подлиннике стояло слово *grain*, и надо было перевести *двадцать два грана*; тогда всякий антикарский ученик поймёт, что это значит. А г. профессор хватил *двадцать два зёрнышка* и вложил своё остроумное изобретение в уста несчастного Дарвина. На стр. 290 говорится, что «горы Шотландии и Уэльса с их

исчерченными склонами, отполированными поверхностями и шатающимися валунами свидетельствуют о ледяных потоках, некогда наполнявших их долины». В двух строках две нелепости. Что это за *шатающиеся* валуны? *Шатающиеся*—это, видите ли, перевод слова *эрратические*. Еггаге — значит бродить, шататься; ну, и чудесно! Пускай валуны *шатаются!* А *ледяные потоки* — это что такое? Это красивое выражение, заменяющее, по мнению г. специалиста, слово *ледники*. Но последний курьёз в русском переводе Дарвина лучше всех остальных. В этой книге много опечаток, и притом таких, которые искажают смысл, например «метафорических» вместо «метаморфических» (стр. 284), «Старого Света» вместо «Нового Света» (стр. 275) и другие в том же роде. Но это ещё ничего. Опечатки везде бывают, а любопытно вот что. К книге приложен список опечаток. В этом списке я не нашёл *ни одной* из тех опечаток, которые бросались мне в глаза во время чтения. Тогда я полюбопытствовал посмотреть, есть ли в книге те опечатки, которые изобличают список. Оказалось, что нет, и притом ни одной. К книге приложен интересный список опечаток, заключающихся в какой-то другой книге. И даже нельзя сослаться на ошибку переплётчика. Список напечатан на одном печатном листе с текстом и с алфавитным указателем. Вот у нас какие чудеса делаются, и вот в каком наряде появляется перед русской публикой великое творение гениальнейшего из современных мыслителей.

После этого, любезные соотечественники, вы, ей богу, даже к *деревянной ложке* должны отнестись с снисходительной нежностью. А впрочем, мне совсем не нужна ваша снисходительность. Я совсем не хочу, чтобы вы по моим статьям учились естествознанию; я хочу только, чтобы мои статьи не ввели вашу любознательность, доводили до вашего сведения слабый отголосок великих движений европейской мысли и разгоняли хоть немного вашу умственную дремоту. А теперь довольно говорить о деревянной ложке. Обратимся ещё раз к Дарвину и скажем несколько слов о том впечатлении, которое произвели его идеи на Европу. Впечатление сильное, и, вероятно, оно ещё долго будет усиливаться, по мере того как защитники различных оттенков мысли будут пристальное вглядываться в громадное мировое значение этих идей. Немецкие филисты уже пустили в ход слово «*дарвинисты*», придали этому слову ругательное значение и усиливаются доказать, что теория Дарвина, во-первых, — пустая мечта, а во-вторых, — самая безнравственная штука. Главные доводы этих милашек давно известны, и их могли бы

высказать с нарочитым успехом Пульхерия Ивановна и купчиха Кабанова. Иногда тенденции этих почтенных русских женщин, проходя через уста немецких филистёров, прикрываются благообразной мантией: мы, дескать, ратуем за строгую точность науки и требуем от неё, чтобы она не пускалась в обаятельные мечтания и красивые гипотезы. Такими филистёрскими тенденциями пропитана речь доктора Шписа, читанная в прошлом году в каком-то Зинкенберговском обществе естествоиспытателей. Эта речь, напечатанная отдельной брошюrou, называется «О границах естествоиспытания». Таких речей будет говорено много, а таких брошюру будет писано по поводу Дарвина ещё больше, и всё это будет читаться и слушаться с удовольствием такими людьми, которые пресеръёзно считают себя мыслителями и естествоиспытателями. Я думаю даже, что и у нас, в России, великий естествоиспытатель Страхов прочтёт эти творения с наслаждением и сам произведёт нечто в таком же роде. Но в Западной Европе есть люди и другого закала. В Англии творец новейшей геологии Чарльз Ляйелль склонился к теории Дарвина. Гексли<sup>94</sup> работает в том же направлении. Гукер, Уоллес, Батст пришли к тем же результатам. Из немцев Карл Фохт, бывший прежде приверженцем Агассиза<sup>95</sup>, перешёл решительно на сторону Дарвина. Фохт — пожилой человек, известный учёный — отказывается от всего своего прошедшего и прямо сознаётся, что аргументы Дарвина перебудили его. Во втором томе своих лекций о человеке, вышедших в конце прошлого года, он отводит слишком тридцать страниц на рассмотрение идей Дарвина и высказывает на этих страницах много дельных фактических замечаний, которые могут служить превосходным подтверждением новой теории. В введении ко второму тому Фохт замечает между прочим, что два первоклассных ботаника, Альфонс де Кандоль и Ноден<sup>96</sup>, в последнее время двумя совершенно самостоятельными путями пришли к одинаковым выводам, чрезвычайно благоприятным для идей Дарвина. Де Кандоль изучал различные виды дуба, а Ноден занимался скрещиваниями видов и разновидностей растительного царства. Оба убедились в том, что различные виды возникли и до сих пор возникают один из другого посредством медленных изменений.

Фохт совершенно согласен с той мыслью Дарвина, что геология при теперешней бедности своих наличных материалов не имеет ни малейшей возможности произносить окончательный приговор над теорией перерождения видов. Фохт сам приводит несколько любопытных примеров, доказывающих, как преждевременны были попытки геологов построить

систему мироздания из немногих собранных ими обломков. Теория Дарвина сильна именно тем, что она может существовать помимо геологических доказательств, опираясь на факты *живой* природы.

В 1863 году известный филолог Шлейхер издал небольшую брошюру под заглавием «Теория Дарвина и языкоzнание»<sup>97</sup>. Он доказывает, что идеи Дарвина могут быть применены к историческому изучению языков. Языки также расходятся в различные стороны от немногих коренных родоначальников; они также дробятся на наречия, или говоры, соответствующие разновидностям органического мира; эти говоры обособляются и превращаются в отдельные языки — это виды органического мира. Языки опять дробятся и порождают новые языки, причём многие из старых говоров и языков вымирают, как вымерли, например, санскритский, греческий, латинский и древнееврейский. Для нас брошюра Шлейхера особенно любопытна как разумное слово постороннего человека, не имеющего личного пристрастия ни к одному из двух лагерей современных натуралистов. Глубокое уважение Шлейхера к естественным наукам заслуживает полного внимания. «Я горячо желаю, — говорит он, — чтобы метода естественных наук постоянно более и более прививалась к исследованию языков. Быть может, следующие строки убедят кого-нибудь из начинающих филологов пойти в учение кдельным ботаникам и зоологам для усвоения надлежащей методы. Даю ему слово, что он в этом не раскается. Я, по крайней мере, знаю очень хорошо, чём я обязан изучению таких произведений, как научная ботаника Шлейдена, физиологические письма Карла Фокта и др. Я знаю, как они помогли мне почтить сущность и жизнь языка. Ведь из этих книг я узнал впервые, что такое *история развития* (*Entwickelungsgeschichte*)».

Далее, Шлейхер с замечательной верностью взгляда определяет настоящий смысл той неразрывной связи, в которой идеи Дарвина находятся с общим движением человеческой мысли нашего времечки.

«Наблюдение, — говорит он, — составляет фундамент современного знания. Кроме наблюдения допускается только неизбежный вывод, основанный на том же наблюдении. Всё, что построено на одних гадательных соображениях, всё, что создано мыслью в пустом пространстве, считается в лучшем случае остроумной забавой, но для науки всё это — бесполезный хлам. Наблюдение учит нас, что все живые организмы, вообще входящие в круг удовлетворительного исследования, изменяются по определённым законам. Эти измене-

ния их, эта жизнь составляют их настоящую сущность. Мы знаем их только тогда, когда знаем сумму этих изменений, когда знаем всю их сущность. Другими словами, если мы не знаем, как вещь образовалась, то мы совсем не знаем этой вещи. Положивши наблюдение в основу нашего знания, мы тем самым упрочили за историей развития и за научным исследованием жизни организмов то важное значение, которое они имеют теперь для современного естествознания. Важность истории развития (эмбриологии) для изучения индивидуального организма не подлежит уже возражениям. Сначала история развития проникла в зоологию и в ботанику. Ляйелль, как известно, изобразил также жизнь нашей планеты как ряд постепенно совершившихся видоизменений; он доказал, что и здесь, как в жизни других естественных организмов, не существует скачков. И Ляйелль также ссылается прежде всего на наблюдение. Так как наблюдение новейшего периода земной жизни—периода, правда, очень короткого — показывает только постепенные изменения, то мы и не имеем решительно никакого права предполагать для прошедшего другой порядок жизненных явлений. Той же точки зрения держался и я при исследовании жизни языков, которая также доступна непосредственному наблюдению только в своих последних, новейших и сравнительно очень коротких периодах. Этот короткий период в несколько тысячелетий доказывает нам с неопровергимой достоверностью, что жизнь словесных организмов идёт вообще по определённым законам, подвергаясь постепенным изменениям, и что мы не имеем ни малейшего права предполагать, чтобы когда-нибудь это дело совершилось иначе. Дарвин и его предшественники\* сделали шаг вперёд в сравнении с другими ботаниками и зоологами; не только неделимые имеют жизнь, но и виды и роды; и они также образовались постепенно, и они также подвергаются постоянным видоизменениям по определённым законам. Подобно всем современным исследователям, Дарвин также опирается на наблюдение, хотя оно, по самой сущности дела, распространяется только на короткий период времени, так же как и наблюдение над жизнью земли и над жизнью языков. Так как мы действительно можем заметить, что виды не совсем неизменны, то изменяемость их, хотя и в незначительных размерах, может считаться доказанной. Обстоятельство, само по себе случайное, именно краткость периода, подлежащего достоверным наблюдениям,

\* Окен, Гёте, Ламарк, Этьен и Жоффруа-Сент-Илер<sup>98</sup>. — Прим. автора.

составляет причину, почему изменения видов вообще представляются незначительными. Надо только, согласно с результатами других наблюдений, допустить, что живые существа населяли нашу планету в течение очень многих тысячелетий, и тогда мы успеем постигнуть, каким образом постоянные медленные видоизменения, подобные тем, которые действительно подлежат наблюдению, привели за собой существование теперешних видов и родов. Вследствие этого учение Дарвина действительно представляется мне как необходимый результат тех основных положений, которые признаны современным естествознанием. Это учение основано на наблюдении и составляет попытку изобразить историю развития. Чтоб Ляйелль сделал для истории земли, то выполнил Дарвин для истории обитателей земного шара. Следовательно, учение Дарвина — не случайное явление, не порождение прихотливого личного ума, а, напротив того, это законное и естественное дитя нашего столетия. Теория Дарвина была настоятельной потребностью времени».

Вот какими глазами смотрят на произведение Дарвина люди умные и совершенно беспристрастные.

1864 г.

---

# ПОПУЛЯРИЗАТОРЫ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ДОКТРИН

## I

В статье «Времена метафизической аргументации»<sup>99</sup> было брошено несколько отрывочных замечаний о французской литературе XVIII века. Чтобы выяснить и дополнить эти замечания, я постараюсь теперь определить общий характер того великого умственного движения, которое положило конец средневековому порядку вещей.

Во время продолжительного царствования Людовика XIV<sup>100</sup> французы совершенно разучились сопротивляться королевской власти; волнения Фронды<sup>101</sup> были забыты; дворянство служило при дворе и танцевало менуэты; парламенту было объяснено раз навсегда, что Людовик XIV — не король, а государство; галликанская церковь в лице своего величайшего светила, Боссюэта<sup>102</sup>, провозглашала торжественно, что пассивное повиновение королю, наперекор всему и всем, наперекор папе, наперекор здравому смыслу, составляет самую священную обязанность настоящего христианина. Людовик XIV в продолжение пятидесяти лет с лишком делал всё, что ему было угодно. Хотел тратить миллионы на постройку версальских дворцов — и тратил; хотел вести бесстолковые войны — и вёл; хотел опустошать в своём собственном королевстве целые области, населённые мирными и трудолюбивыми протестантами, — и опустошал. Словом, запрету не было ни в чём, и удовольствия получались самые разнообразные. Дело короля состояло в том, чтобы выдумывать затеи и требовать денег: это значило, что король заботится о своей славе, поощряет промышленность и кормит бедняков, доставляя им возможность строить фонтанчики и павильончики, плести кружева, делать огромные парики и вышивать золотом атласные жилеты и бархатные кафтаны.

Счастливая Франция, осыпаемая в продолжение многих десятков лет такими истинно королевскими благодеяниями, преуспела до того, что дальше преуспевать было уже невозможно. Дальше оставалась одна только голодная смерть. Те люди, на которых лежала обязанность представлять королю деньги по первому востребованию, видели, что с каждым годом сбиение доходов становится более затруднительным и что этому горю не помогают никакие военные экзекуции. Эти люди занимали сами очень тёплые места, и поэтому они вовсе не были расположены ни к вольнодумству, ни к сентиментальности; но и этим людям нельзя было не заметить, что всё государственное хозяйство идёт из рук вон дурно и что рабочие силы нации находятся при последнем изыхании. Министры, интенданты, епископы, генеральные откупщики — все чувствовали более или менее смутно, что так нельзя продолжать. Бедность была так широко распространена, что она мозолила глаза всем, кроме короля, который ограждался от непристойных зрелищ постоянными стараниями раззолочённой и улыбающейся придворной толпы. Когда какая-нибудь печальная истина упёрно выглядывает на свет из каждой прорехи существующего порядка, когда эту истину нельзя замазать никакой штукатуркой, ни официальными софизмами, ни бюрократическими пальпациями, ни величественным игнорированием, ни внушительной строгостью, тогда, рано или поздно, эта истина высказывается во всеуслышание и овладевает всеми умами. Чтобы высказать то, что ощущается всеми, не надо обладать особенной гениальностью; но чтобы заговорить о таком предмете, о котором все думают и о котором никто не смеет произнести ни одного слова, надо отличаться от других недюжинной любовью к истине или к тем интересам, которые страдают от общего молчания.

При Людовике XIV общеобязательное молчание было нарушено тремя тихими и почтительными голосами. О несовершенствах господствующей системы заговорили архиепископ Фенелон, маршал Франции Вобан и чиновник руанского суда Буагильбер. Всем троим демократические тенденции были совершенно не по чину, да и не по темпераменту. Все трое хлопотали не о каких-нибудь размашистых теориях, а только о том, чтобы у народа не совсем были отняты средства питаться, плодиться, работать и платить подати. Самым дерзновенным сочинением Фенелона были «Приключения Телемака». Но это сочинение, уносящее читателя в Грецию и в глубокую древность, казалось столь дерзновенным самому автору, что он вовсе не считал возможным выпускать